

— ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ —



НЕРОН



Зверь из бездны том I (Книга первая: Династия при смерти) //Алгоритм,
Москва, 1996
ISBN: 5-7287-0092-6
FB2: Aglazir, 2017-06-03, version 2.4
FB2: 1000oceans, 2017-06-03, version 2.4
UUID: E06692A1-BE67-4DD7-A0FD-DC40FBFED64A
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Валентинович
Амфитеатров

Зверь из бездны том I (Книга первая: Династия при смерти)

(История и личность #01)

Амфитеатров А.В. Собрание сочинений, Спб., 1911-1916
г. ISBN5-88878-001-4

Историческое сочинение А. В. Амфитеатрова (1862-1938) “Зверь из бездны” прослеживает жизненный путь Нерона - последнего римского императора из династии Цезарей. Подробное воспроизведение родословной Нерона, натуралистическое описание дворцовых оргий, масштабное изображение великих исторических событий и личностей, использование неожиданных исторических параллелей и, наконец, прекрасный слог делают книгу интересной как для любителей приятного чтения, так и для тонких ценителей интеллектуальной литературы. Прочитав эту книгу, возможно, Вы согласитесь с нами: “Сейчас так уже никто не напишет”.

Содержание

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ том I (Книга первая: Династия при смерти)	0005
От автора	0012
ГЛАВА ПЕРВАЯ	0053
РОДОСЛОВИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ	0053
ГЛАВА ВТОРАЯ	0124
ЛЮЦИЙ ДОМИЦИЙ АЭНОБАРЬ	0124
* * *	0126
* * *	0138
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	0203
РАБЫ РАБОВ СВОИХ	0203
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	0331
PRINCEPS JUVENTUTIS	0331
ГЛАВА ПЯТАЯ	0405
ЗВЕЗДНАЯ НАУКА	0405
ГЛАВА ШЕСТАЯ	0492
ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ	0492
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	0556
САТИРА НА СМЕРТЬ КЛАВДИЯ	0556
* * *	0560
II	0596
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	0636
КТО ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ?	0636
Таблица семейных отношений дома Цезарей Юлио-Клавдианской династии	0707

Список некоторых книг, читанных автором при сочинении этого тома	0709
Издания античных писателей, которыми пользовался автор	0725

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ том I
(Книга первая: Династия при
смерти)

—≡ ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ ≡—



НЕРОН



А. В. АМФИТЕАТРОВ

ЗВЕРЬ
ИЗ
БЕЗДНЫ

Историческое сочинение
в 4-х книгах

Москва
АЛГОРИТМ
1996

А.В.АМФИТЕАТРОВ

ЗВЕРЬ
ИЗ
БЕЗДНЫ

I ТОМ

1 и 2 книга

Москва
АЛГОРИТМ
1996

ББК 84 Р1 А16

Редакционный совет, составители серии:

Булатов С.М., Васильев М.Н., Николаев С.В.,

Романенко К.П.

Художник:

Школьник Ю.К.

Амфитеатров А. В.

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ том I (Книга первая: Династия при смерти)

(Книга вторая: Золотое пятилетие)

Серия “История и личность”, М, “Алгоритм”, 1996. Печатается по изданию:

Амфитеатров А.В. Собрание сочинений, Спб., 1911-1916 г. ISBN5-88878-001-4

Историческое сочинение А. В. Амфитеатрова (1862-1938) “Зверь из бездны” прослеживает жизненный путь Нерона - последнего римского императора из династии Цезарей. Подробное воспроизведение родословной Нерона, натуралистическое описание дворцовых оргий, масштабное изображение великих исторических событий и личностей, использование неожиданных исторических параллелей и, наконец, прекрасный слог делают кни-

гу интересной как для любителей приятного чтения, так и для тонких ценителей интеллектуальной литературы. Прочитав эту книгу, возможно, Вы согласитесь с нами: “Сейчас так уже никто не напишет”.

© Разработка серии, “Алгоритм”, 1996 © Худож. оформ., “Алгоритм”, 1996

Все права на распространение книги принадлежат ТОО “Алгоритм (факс: 197-35-97, тел: 197-35-97, 978-10-64)

Зверь из бездны, несущий на себе Великую Блудницу

Рисунок из рукописного латинского комментария на Апокалипсис XII века, приписываемого св. Беату, испанскому монаху бенедиктинского ордена, аббату монастыря Валь-Габадо в Астурии. Найден в библиотеке графа д'Альтамира и описан А. Башеленом.





КНИГА ПЕРВАЯ
ДИНАСТИЯ
ПРИ СМЕРТИ



От автора

Первому тому «Зверя из бездны» я намеревался предпослать обширное введение, с подробным обзором всех четырех частей сочинения, с схематическим рисунком его тезисов, идейного движения и выводов. Основой такого введения должна была служить вступительная лекция к курсу истории Римской империи, который я читал в 1905—1906 годах в Парижской Высшей Школе общественных Наук, находившейся тогда под дирекцией М.М. Ковалевского. Но я уже не мог добыть из России печатного экземпляра этой лекции, и редактор, который поместил ее в «Вестнике Самообразования», В.А. Фаусек, умер, а черновика у меня не осталось. А заново писать то, что однажды было написано и закончено, и печатным станком закреплено, — есть ли на свете занятие, более скучное и мучительное для литератора, и когда кому оно хорошо удавалось? К тому же, когда свел я весь материал воедино, первый том оказался гораздо толще, чем я ожидал, и увеличивать его девятою обширную главою слишком уж нарушало тех-

нический план издания. Поэтому я изменил первоначальное намерение и решил дать, вместо введения, междусловие в одном из будущих томов или послесловие по окончании всего сочинения.

Хотелось бы мне, однако, рассказать читателю, хоть в нескольких словах, о происхождении и истории этого моего труда, — не смею сказать: наполнившего, — но неотступно пронизавшего почти двадцать лет моей жизни.

В одну бессонную ночь 1893 года, я снял с полки над кроватью первый, попавший под руку, том и начал читать с первой открывшейся страницы. Том был «Летопись» Тацита в переводе Кронеберга, а место, где она открылась, — 44-я глава XIII книги:

«Около этого времени народный трибун Октавий Сагитта, страстно влюбленный в Понцию, замужнюю женщину, склонил ее огромными подарками к преступной связи, потом убедил ее оставить мужа, обещав жениться на ней, и она дала слово. Она овдовела, но стала откладывать свадьбу, говоря, что не хочет противиться воле отца, и наконец

совершенно отказалась от своего обещания, надеясь найти мужа богаче. Тщетно Октавий умолял ее, угрожая ей, говоря, что она погубила его доброе имя, разорила его, просил отнять у него лучше и жизнь, последнее его достояние. Видя, что просьбы его не действуют, он вымолил у нее одну только ночь, которая уменьшит его страдания и поможет терпеть лишения в будущем. Ночь назначена. Понция приказывает своей доверенной служанке охранять дверь в спальню. Октавий входит с отпущенником, скрыв кинжал под платьем. Свидание началось, как водится между ссорящимися любовниками, спором, мольбами, укоризнами, кончилось примирением, и остальная часть ночи посвящена наслаждению. Внезапно Октавий, в порыве бешеной страсти, поражает кинжалом Понцию, которая ничего подобного не ожидала, ранит прибежавшую на шум служанку и выбегает из спальни. На другой день узнали о преступлении; убийца был всем известен, потому что знали, что он провел ночь с Понцией. Но отпущенник взял это преступление на себя, говоря, что он отомстил за оскорбление патро-

на. Многие тронулись прекрасным подвигом, как служанка, оправившись от раны, открыла истину. Отец убитой потребовал убийцу к консулам, и когда он сложил с себя трибунство, его осудили по Корнелианскому закону» {1}.

Этот античный эпизод поразил меня сходством с очень шумным в начале девяностых годов уголовным делом в Варшаве — об убийстве артистки Висновской корнетом Бартеневым. Я невольно задумался:

— Какой благодарный сюжет для драмы.

И решил написать драму «Понция».

Нет ничего легче и нет ничего труднее, чем написать драму из античной жизни. Все зависит от того, как подойти к делу. Я знал на своем веку драматургов, которые не умели просклонять «mensa» и думали, что Квинт Курций — автор греческой грамматики, но, тем не менее, очень успешно сочиняли драмы и трагедии из истории Афин, Рима, Карфагена, ставили их на сцену и стяжали лавры и гонорар. Секрет тут очень простой. В списке действующих лиц, вместо Ивана Ивановича, Аграфены Кирилловны и тому подобных ме-

щан, ставятся Юлий Цезарь, Кальпурния, либо Перикл, Аспазия; место действия определяется, вместо «богатой гостиной», жупельными словами вроде «атриум», «перистиль», «портик»; а затем — актеры должны ходить с голыми ногами и излагать белыми стихами то, что Иван Иванович и Аграфена Кирилловна отлично сказали бы друг другу домашней прозой. Для *couleur locale* читается руководство Зиновьева, Коппа или даже Уэлькенса, а с тех пор, как однажды календарь А.С. Суворина дал список ходячих латинских цитат, у драматургов появилось даже щегольство такими премудростями, как «*Mercurule!*» либо «Отложим это *ad calaendas graecas*».

Другой путь, мудреный и неблагодарный, — когда автор занесется гордою мыслью написать античную драму в духе и строе цивилизации той эпохи, в образы, типы и нравы которой хочет он облечь свою идею. Это так страшно трудно, что, правду сказать, на русском языке я не знаю ни одного драматического произведения, сколько нибудь удовлетворительного в осуществлении сказанной задачи. Дело в том, что такие авторы

непрерывно желают подставить под ноги статуям, которые они творят, пьедесталы некоего исторического изучения. А когда берутся за таковое, то, вдруг, с изумлением открывают, что они не имеют права мастерить и самую статую. Потому что — о людях, быте, психологии века, ими избранного, они имели до сих пор лишь представление обывательское, научного же понятия — никакого. Впечатления музеев, художественной литературы и, может быть, путешествия по классическим развалинам смешались в неопределенность, очень, пожалуй, красивую, иногда даже очаровательную, но — красотой театра, очарованием балета. И это принимается за знание, так как полно имен, терминов, хронологических дат и даже, может быть, кое-каких обобщающих исторических гипотез и правовых воспоминаний из старых университетских, если не лекций, то экзаменов.

Искренно, но бесполезно рекомендую таким авторам не простираť своей пытливости к избранному предмету дальше Ренана и французов, стоящих на его романтическом уровне. Искренно — потому, что собственным

опытом постиг опасность более глубоких проникновений. А бесполезно — потому, что такие авторы меня не слушают. Кто сказал а, скажет и бе. Ум реалистического склада и аналитических наклонностей, раз уже начал серьезно интересоваться античным миром, на Ренане не остановится. А раз уже не удовлетворяет его Ренан, раз перешагнул он этот порог, — значит, кончено: прощай, драма! прощай, красота и поза! прощай, сверхчеловеческий ужас и великолепие воображенной загадочной жизни! прощай, весь романтический самообман, которым бодрилось художественное вдохновение! прощай, культ приподнятых величий и искусственных кумиров! прощай, весь театральный музей древности — безразлично — в залах ли под потолками дворцов Лувра, Уффици, Ватикана, Неаполитанского Nazionale, Эрмитажа, или под открытым небом — в виде руин, облупленных стен сетчатой стройки, акведуков, мостов!.. Вам захочется разбить то «облагораживающее» увеличительное стекло, которое создает, чрез отдаление времени, условность поз, легенды слов и прочие атрибуты театрального

величия. Вас потянет рассмотреть под ними действительность, как она была, и сравнить ее с действительностью, как она есть. И сперва покажутся вам глупыми белые стихи, а потом и многое другое. В тот день и час, когда однажды, сидя в Термах Каракаллы, я услышал мысленно русские слова «предбанник», «раздевальня», «каменка», я понял очень хорошо, что не написать мне своей «Понции» дальше того первого акта, который успел родиться в тот блаженный срок, когда я бредил Ренаном и «Антихриста» его имел настольной книгой. Счастливый Сенкевич! Он удержался на роковой черте и сочинил таки свое «Quo vadis?» — произведение, «интересность» которого захватывает дух у обывателя и зачастую очень смешит историка. Совершенно безумный успех этого романа (1896) произвел на меня странное впечатление. Вместо того, чтобы воодушевиться им, я потерял решительно всякий аппетит продолжать свою «Понцию» и забросил ее навсегда. Первый акт, под названием «Via Sacra», был напечатан в «Пушкинском сборнике» 1899 года.

Вместо того, зарылся я в книги. Французов

сменили немцы, а там потянуло к прямым источникам. Первые же авторы, за которых я взялся, утешили меня счастливым открытием: восемь лет классической зубрежки в нелепой гимназии нелепой эпохи графа Д.А. Толстого исчезли из памяти, словно их не бывало никогда. И стоял я, тридцатипятилетний человек, пред Тацитом, Светонием и Ксифилином в такой же латинской и греческой невинности, как гимназист первого класса. Пришлось снова взяться за Ходобая и Курциуса. Выучился, — и куда легче, проще и толковее, чем в первый раз. Какое несчастье классики, когда ими насильно и непосильно засоряют юные детские мозги! Какая радость и прелесть те же классики, когда их изучает добровольно взрослый человек, развивший общим образованием и житейским опытом свою логическую способность и эстетическое чутье!

Чем больше изучал я классиков, тем чаще и ярче смущали меня, публициста по профессии, параллели вечно старых и вечно новых общественно-психологических и бытовых явлений, столь ярко повторенных в империализме XIX века из империализма первых ве-

ков нашей эры. Еще не изучая немецких историков-империалистов, я уже пробовал обобщать психологию, этику и социологический сумбур «конца века» (1890—1900) аналогиями с переломною эпохою римской цивилизации около 800 года римской эры. Чем дальше вглядывался я в эти параллели, тем решительнее исчезало во мне прежнее представление прогресса, как прямой линии, тянущейся в бесконечность. И, наоборот, все чаще и чаще представлял я его себе кривою, которая загибается вокруг недвижимого центра в дугу, покуда не встретится сама с собою в окружности, определяющей площадь известного человеческого коллектива. Но когда такой исторический круг прогресса свершен и замкнулся, тут всегда оказывается, что, тем временем, радиус круга вырос и вышел далеко за старую окружность. И от той точки, где он остановился, уже побежала новая окружность, огибающая площадь несравненно большую, чем была площадь старого круга. Если центр — индивидуальная сила человека, то радиус определяет деятельность последнего, как «животного социального»: вы-

ражает его способность к созданию коллектива. А создаваемый им коллектив выразится площадью круга, очерчиваемого, на расстоянии радиуса, дугою цивилизации. Индивидуальная сила человека не тронулась или почти не тронулась с места не только с I века христианской эры, но вряд ли и с тех пор, как первая искра Прометеева огня зажгла первый на земле костер. Рост индивидуального интеллекта — не самопричинное явление, но результат распределения интеллектуальных накоплений в коллективе. Но общественная способность человека растет непрерывно, и непрерывно же ею расширяется площадь социального коллектива, и расширение это определяет собой культурный рост человечества. Прогресс никогда не индивидуален, всегда коллективен, хотя бы был наглядно выражен только в индивидууме, а коллектив мнимо казался бы стоящим на гораздо низшей культурной ступени и даже враждебным прогрессу. В этом глубокий историко- философский смысл известных слов, требующих от высшего интеллекта снисхождения к грубости и вражде интеллекта низшего: «отпусти

им, не ведят бо, что творят».

Цивилизации рождаются, созревают, стареют, умирают, — очередной круг прогресса замыкается. Но неутомимый радиус уже выбежал вперед, чтобы дать исходную точку для новой цивилизации, которая начинает жить в то время, как старая умирает, и которая обязательно будет шире старой и охватит собою в человечестве гораздо более численный коллектив. Этот круговой концентрический рост цивилизованного коллектива и выражает собою прогресс. Как читатель видит, взгляд мой соприкасается с исторической теорией Вико (1688—1744), — однако, только соприкасается, но не следует ей. Вико был прав, когда заставил свои три «возраста народов» вращаться круговым движением, но он ошибался в том, что замкнул свой круг в непреложность вечной повторности и вообразил его в одной плоскости. Это осуждает прогресс на роль великой исторической белки в мировом колесе. Я же принимаю непрерывный рост круга вширь и ввысь, то есть, собственно говоря, вижу пред собою восходящую и расширяющуюся спираль, развивающуюся от первобыт-

ной точки к охвату бесконечных широт.

Прогресс почти не изменяет существа человеческой индивидуальности, но изменяет условия, в которых она проявляется, — всегда к новому и лучшему. Застойные и реакционные, попятные эпохи — только оптические обманы истории. Они чрезвычайно мучительны для современников, но прогресса остановить не в состоянии. Мало того, бессознательно для своих исторических факторов, они сами работают на прогресс. Век Тиберия, Клавдия, Нерона подготавливает век ап. Павла; из тьмы средних веков занимается заря Возрождения; Александр VI Борджиа необходим для того, чтобы восторжествовала реформация; величайшие строители монархий — Людовик XI, Иоанн III, прусские Фридрихи — не подозревали будущих форм государств, которые они выработали; без Наполеонов не созрел бы столь быстро в государственную практику буржуазно-республиканский принцип; социализм обязан своим ростом Меттерниху (беру его имя здесь, как последнего типического вождя «старого режима», которому суждено было дожить до первых раскатов мо-

лодой социалистической грозы и узнать в ее младенческом богатырстве будущего Геркулеса), Бисмарку, Александру III и Плеве — заклятым практическим врагам своим — не в меньшей мере, чем своим теоретическим апостолам, — Лассалю, Марксу, Энгельсу. Ибо все, кто когда-либо сказал прогрессу — «нет», уподоблялись библейскому Валааму, который, будучи приглашен, чтобы изречь слова проклятия, противовольно произнес слова благословения. Если бы реакционные эпохи были фатальны, то не имела бы никакого смысла и борьба с ними: достаточно было пережидания, как указал Н.К. Михайловский в полемике со Строниным, заблудившимся в непонятых им круговращениях Вико. Коллектив борется с реакцией не из страха, что она задушит прогресс навсегда: нет человека, которому инстинкт не говорил бы, что это невозможно. Суть борьбы — в том, чтобы реакционные эпохи отбывали свой срок быстрее и с меньшей жестокостью к современности, по уровню, достигнутому прогрессом эпохи. Мы, русские, переживаем сейчас одну из наиболее реакционных политических полос,

какие только знала новейшая история Европы. И, однако, даже эта реакционная полоса совершается орудиями и формами, которые являются победами мирового прогресса, и без которых эта наша частная реакция была бы совершенно бессильна, ибо сразу потеряла бы всякий кредит — и материальный, и моральный — у прогресса общего, мирового, единственно компромиссами с которым она может поддерживать свое существование. Всякая частная реакция сильна лишь постольку, поскольку ей удастся пред лицом общего прогресса выдавать себя за его охранительницу, и лишь до тех пор, покуда общий прогресс, сводя свои плюсы и минусы, согласен терпеть ее, почитая ее наличность за свою печальную, но необходимую сторону. Реакции самодовлеющей, собственно говоря, не бывает. Никогда ни один реакционер, если он не сумасшедший, не выступал с проповедью реакции ради реакции; каждый, напротив, пропагандирует меры реакции, как «спасительный тормоз» прогресса. Когда политический романтизм зовет народы к понятным движениям, указывая свои идеалы далеко позади на

пройденном уже историческом пути (иезуиты, Священный союз, наши русские славянофилы, московские панслависты, победоносцевцы, мистики-декаденты, дворяне-крепостники и т.п.), он мечтательно обманывает и жертвы свои, и самого себя, потому что самым большим для таких «романтиков» несчастьем оказалось бы исполнение идеала, которым они бредят. Неронические деяния повторялись в разные века многими позднейшими просвещенными деспотами. Но ни один позднейший деспот не смел и не мог открыто сказать своей современности: «Мой идеал — Нерон, и я буду править по программе Нерона». Если бы самого заклятого нынешнего русского реакционера перенести в эпоху Петра I, Екатерины II, Аракчеева, Николая I, он почувствовал бы себя в обществе, лишенном всех прав состояния, и пришел бы в то совершенное гражданское отчаяние, что создавало декабристов и петрашевцев. Да и не за чем ходить так далеко за предположительными примерами. Каждый из нас, переживавших восьмидесятые и девяностые годы, наглядно видит осуществление множе-

ства гражданских прав и нарождение таких же ожиданий естественным ходом времени, тогда как, двадцать лет тому назад, самый передовой боец не ожидал, чтобы они могли быть достигнуты иначе, как путем насильственного переворота. Между тем, мы переживаем несомненно реакционную эпоху, совершившую ужасы, пред которыми бледнеют многие жестокие легенды прошлых веков. В каютах и на палубах парохода, когда он плывет вниз по реке, могут происходить очень скверные и страшные деяния, но они не задержат общего движения парохода вперед, и даже если его машина сломается, так он будет идти по течению, а не против течения, и если самый пароход расшибется в куски, то и обломки его поплывут вперед, а не назад. Если бы это постоянное передовое стремление не было законом, то ни одно прогрессивное движение человечества не имело бы смысла, так как единственное, чего может достигнуть в нем человек, это — ускорение темпа, развитие интенсивности прогресса. И в нем-то, в ускорении-то этом, в развитии-то интенсивности, и заключается задача так на-

зываемых передовых людей каждой эпохи. Когда веку кажется, что такие люди идут против течения, это — оптический обман, потому что, в действительности, они — лишь одни из немногих, которые угадали великое общее течение, влекущее человечество вперед. Против течения плывет то близорукое большинство, не способное глядеть дальше собственного порога и завтрашнего дня, которое прилагает усилия, чтобы недвижно стоять на месте или плыть по кажущемуся, частному течению, не подозревая о существовании великого общего. Если понятен будет мой парадокс, я позволю себе сказать, что реакция есть тот же прогресс, но постигнутый умопомешательством, стремлением к самоискажению и самоуничтожению. Все, что в ней произвольно, обращается больной волей в тормозы прогресса; но непроизвольная сила всей субстанции века влечет ее, все-таки, куда тянет прогресс. И нет, и не было такой реакционной эпохи, по окончании которой общая сумма прогрессивных накоплений оказалась бы меньше, чем при ее начале. Реакция властна только над пространством, но никогда не над

временем. Она может только перемешать накопления прогресса, временно оттесняя их от той или другой группы людей, но ни уничтожить их, ни остановиться в их накоплении она не в состоянии.

В кругообразном движении своем цивилизации знают свое детство, юношество, зрелость, старость, но, собственно говоря, не знают смерти. Ни одна из отживших цивилизаций старого света не умерла бесследно, не перелившись в другую всем, что было в ней полезно и нужно для человечества. Что касается отживших цивилизаций Нового Света, они еще не заговорили вполне понятной речью, но движение науки, наверное, развяжет косный язык их, и тогда они скажут, быть может, даже больше, чем обещают первые их намеки. Когда окружность культурного круга смыкается, точка ее пересечения с радиусом всегда богата необыкновенно типичными бунтами против коллектива в сторону индивидуальности: людьми, разочарованными в своей цивилизации, конец которой они инстинктивно чувствуют в существовании и росте социальности, в самой человеческой природе. Эти лю-

ди — верное знамение упадка цивилизации — создают, на сказанных пересечениях, усиленный культ личности. Последний может принять или окраску высшего реакционного эгоизма, когда личность объявляет себя божественною, а всю окружающую современность — областью служения своему божеству. Или, наоборот, форму высшего стремления к идеалу, когда обожествляется не субъективно-конкретная величина, не свое чье-либо «я», но воображаемая, отвлеченная идея облекается в символ и воплощает собою задачу и мечту отжившей цивилизации — с тем, чтобы перейти в новую, религиозным ли мифом, философским ли образом, легендами ли, облекшими то или другое историческое лицо. Словом, эти роковые для цивилизации пункты замкнутой и пересечения характеризуются тем, что с одной стороны в них — по прямой радиуса, как по кратчайшему расстоянию между двумя точками — пробуждается и усиленно заявляет свои права древний исходный центр, первобытное индивидуальное человекозверство; а с другой — новый порыв социального радиуса за предел свершившегося

круга облекается в индивидуальную иллюзию коллективного идеала. Первым процессом распложаются человекобоги: культ живых идолов; второй — весь сплошь — тоска по богочеловеку, мессианизм. Разумеется, оба процесса редко свершаются в чистоте. Идеальные комбинации их смешения и путаницы сплетают тот сумеречный хаос, которым характеризуются упадочные эпохи, периоды «декаданса».

Людям, пережившим и переживающим наследия контрастного века Ницше и Толстого, Маркса и Льва XIII, Достоевского и Рескина, Ибсена и Тьера, Бисмарка и Гладстона, Вагнера и Дарвина, Шопенгауэра и Оффенбаха, Зола и Бодлера, не удивительно было почувствовать кризис своей цивилизации. Конец XIX века открыто признал и провозгласил себя «эпохой декаданса». Это — голос инстинкта. Очень может быть, что декаданс этот протянется не один еще десяток лет и даже не одно столетие, как были уже тому примеры в ранее отживших цивилизациях. Но инстинкт не обманывает: круг великой пятнадцативековой цивилизации, которой дается не пра-

вильное имя христианской, замкнулся, и социальный радиус уже завоевывает новую площадь для коллективов новой цивилизации... Как определит эту новую цивилизацию история? Мы можем только гадать и мечтать. Все, без исключения, утопии будущих веков намечают для новой цивилизации пути социалистические. Но судьба всех утопий быть жалкими и слабыми сравнительно с полетом действительности. Последние двадцать-тридцать лет технического и научного прогресса осуществили множество успехов, которые, еще в 60-х годах прошлого века, мечтались, как *ria desideria* лет этак через 200—300.

Кризис цивилизации, выдвинувшей на сцену человекобогов и сверхчеловеков, эпидемию ликующего зверства и эпидемию экстатических мессианизмов (ибо в наше время они необычайно пестры и разнообразны), потянул меня в изучение таких же критических эпох в цивилизациях отживших и, в особенности, в ближайшей к нам — цивилизации греко-латинской, осуществленной в стройной громаде Римской империи и растаявшей вместе с нею. Вот почему «Царство Зверя», как я

сперва хотел назвать мой труд, носило подзаголовок «Культурно-исторические параллели».

Эпоха Нерона захватила мое внимание, и, мало-помалу, «Царство Зверя» пришлось переименовать в «Зверя из бездны», в силу центрального положения, которое заняла в моем сочинении фигура последнего Цезаря Юлио-Клавдианской династии. Мне часто приходилось слышать и, вероятно, еще придется, что, для вышеозначенной цели «культурно-исторических параллелей», я мог бы выбрать удачнее какую-либо позднейшую эпоху Римской империи, более близкую к фактическому концу ее. То есть — когда роковая болезнь декаданса обозначилась ярче и уже выдала смертельную опасность, разрушающую великое государство и воплощенную в нем одряхлевшую цивилизацию. Одни указывали на Юлиана Отступника, которым так эффектно воспользовался впоследствии г. Мережковский для своего романа «Умершие боги», другим казались более критическими гранями Миланский эдикт Константина, государственная реформа Диоклетиана, религиозное бро-

жение эпохи Северов.

Все эти даты имеют за себя много, но все они говорят об умирании, о государстве сознательно больном, о цивилизации наглядно истощенной, растерявшей свои идеи и людей, живущей только традицией, разрабатывающей формы без содержания, переведшей человеческие отношения в ту страшную внешность, когда господствующими в мире силами становятся — международно — война, а внутри народов — *ratio scripta* римского гражданского права. Словом: цивилизации, давно уже толкущейся на одном месте в замкнутом и как бы заколдованном кругу, где она и обречена сваянуть. Все, что в эти эпохи здорово, сильно, жизнеспособно и производительно, принадлежит уже к новой цивилизации, протянувшей свой радиус далеко за окружность умирающей римской идеи.

Я предпочел эпоху Нерона за бессознательность ее декаданса. Это — век еще очень самодовольный, гордый, заносчивый, сильный, полагающий себя чрезвычайно здоровым и творческим и отнюдь не чувствующий в себе роковой трещины, которая его должна разва-

лить и уничтожить. Пять первых лет правления Нерона, как известно, даже сто лет спустя вспоминали, как счастливейшее и благополучнейшее время римского государства. Наполеон указывал на эту эпоху, как на образец того, что в награду за хорошие и прочные государственные учреждения народы легко примиряются с личными пороками государей. Римская идея стояла почти на вершине своего счастья и охвата и в такой мощной прочности, что отлитых ею форм демагогического принципата не в состоянии была разрушить даже пестрая и страшно воинственная революция, окружившая падение последнего потомка Августа и смену династии рядом кровавых *pronunciamentos*. Это эпоха в высшей степени ликующая. Ее верховный представитель сам говорил, что до него государи не отдавали себе отчета, что значит власть, — сказать на языке нынешнего декаданса: не уметь желать. А один из ближайших его предшественников не нашел возможным принять титул царя потому, что охотно принял доказательства, будто титул этот для него низок. Собственно говоря, изучив век Калигулы,

Клавдия, Нерона, историк не может не расстаться с ними печальной прощальной мыслью:

— Вот все — и в хорошем, и в дурном — что в состоянии дать так называемый просвещенный абсолютизм.

В 70 году по Р. Х. римская идея совершила один из самых блистательных и самых роковых своих подвигов. Тит Веспасиан, после долгой осады, взял штурмом Иерусалим, и *Iudaea capta et devicta* сделалась римской провинцией. Священный союз Иерусалимского храма потерял свой вещественный символ, державший его своим единством, как вино в сосуде, и разлился в мире ферментом новых идей, положивших начало новой цивилизации. Христианская идея была в числе их, и так как со временем ей выпало на долю наиболее крупное торжество, выразившееся в политическом союзе сперва с дряхлеющим римским государством, затем с государствами, его наследниками, — то и новая цивилизация получила название христианской. Собственно говоря, это название неверное и узкое, *pars pro toto*. Вернее было бы назвать эту цивили-

защиту иудео-европейскую: первая половина обозначения указывает место ее происхождения, вторая — пространственный круг, который она очертила своим радиусом, а полнота выражает победный союз семитического идеализма с арийской реальностью. Арка Тита на Священной дороге античного Рима — последняя ступень Библии и первая ступень заветов нового человечества. До этого порога и я намерен довести свою работу: картину «бездны», откуда поднялся великий римский «зверь», чтобы поглотить роковую добычу, которая, быв вне его слабее его, оказалась внутри его сильнее его. И сделалась госпожей зверя, и стала его характером, и переработала его, и поработила его себе Евангелием, Талмудом, Кораном. А сама тоже переработалась в нем и обрела то, чего ранее никак не могла найти в течение почти тысячи лет: государственную форму и, в форме, сильную власть. «Царство Зверя», оживленное новым духом, встало из мертвых — именем Евангелия — на Западе в виде папского престола и конгломератных государств, в пределах которых не заходило солнце; на Востоке в виде Византии и,

надышавшейся ею, Москвы, откровенно провозгласившей себя «третьим Римом» еще в XV веке. В XIX веке «Царство Зверя», благодаря Наполеоновским войнам, разбудившим в Европе великую идею объединения народов в национальные государства-колоссы, воскресло в империализме французском, германском, британском. Если первый выяснил свое родство с Римом древних Цезарей устами и пером обоих новых цезарей — Наполеонов Первого и Третьего, то для второго нашелся высший научный авторитет, в лице таких ученых как Т. Моммсен, Эрнст Герцог, Герман Шиллер и др.; а третий, даже в наши дни, проповеданный Чарльзом Дильком, воодушевляет на англо-римские сближения престарелого Брайса, как, полвека тому назад, воодушевлял Мериваля, и, перекинувшись через океан, поднимает свою голову даже в Сев.-Американских Штатах. Так в странах Евангелия. Мне скажут: почему же вы как будто оставляете в стороне империализм русский, который, укрепив воспринятую от царской Москвы идею «третьего Рима» мнимым завещанием Петра Великого, вот уже два столе-

тия работает, не покладая рук? Во-первых, потому, что с наглядностями этого империализма читателю предстоит встречаться в «Звере из бездны» чаще, чем с примерами других. Во-вторых, русский империализм, как смешанное создание Византии, татарщины и немецкой канцелярско-вахт-парадной дисциплины, хаотической практикой своей говорит уму не столько о цезарях, сколько о древних восточных деспотиях, с их сатрапиями, либо о великих империях средневековых монголов.

Коран облекся формой «царства зверя» в Османской империи, для государственных людей которой традиция древних «руми» еще в конце прошлого века была высочайшим государственным авторитетом, и провинциальная система которой, под гадким мусором наносной азиатчины, сохранила много и хорошего, что умела сберечь от римского наследия развалившаяся Византия. Талмуд не нашел для выражения своей государственной формы территориальных условий, но зато содействовал повсеместному сосредоточению одной из грознейших сил «царства зверя» —

власти денежной — в сплоченных им недрах европеизированного Иудейства. Все изменилось — и ничто не изменилось. Если в Лассале, Марксе, Энгельсе пришел в XIX веке, чтобы овладеть веком XX-м, тот же великий социалистический дух, что смутно и утопически лепетал первые слова своего сознания устами Исайи и подложного «Второзакония», то в Биконсфильде говорил тот же дух, что Иеремию сделал сторонником Навуходоносора, а Иосифа бен Матафию превратил в Иосифа Флавия и заставил видеть в Римской империи символ и таинственное воплощение Провидения на земле.

В одну из своих поездок в Италию, которые во второй половине девяностых годов я совершал ежегодно, я имел счастье познакомиться в Риме с Моммсенем. Он произвел на меня глубочайшее, благоговейное впечатление. И в то же время, — странное дело! — коротким, всего в три свидания, знакомством, освободил меня от подчинения своему давящему полубожественному авторитету. Как сейчас помню его маленькую седовласую фигурку, на Форуме Римском, у новых раскопок

Бони, и слова, которые он сказал тогда в разговоре и повторил потом, несколько лет спустя в письме, полученном мною от него в ответ на просьбу мою о некоторых указаниях и советах. Я огласил это письмо в 1904 году, по смерти Моммсена. Но так как я в то время был уже человек ссыльный и опальный, и швыряла меня судьба из Минусинска в Вологду, из Вологды в Петербург, из Петербурга опять в Вологду, из Вологды в Рим и Париж, то архив мой растрепался по этим этапам совершенно. Ни оригинала письма, ни №№ газет, в которых оно было напечатано, я сейчас не имею (хотя они целы) и потому должен передать то место, которое меня в нем поразило, не дословно, но лишь идейно, в приближительных выражениях.

— До 1848 года, — писал Моммсен, — публицистика шла на поводу у истории. После 1848 года история пошла на поводу у публицистики. А в XX веке они сольются. Публицист будет иметь общественный вес постольку, поскольку его проповедь исторически обоснована, а историк будет признаваться постольку, поскольку его знание может дать

публицистике источники и фундаменты идей.

Собственно говоря, ничего нового в словах этих нет — кроме разве интересного хронологического разграничения публицистического и исторического преобладания в науке XIX века. Но, из уст величайшего историка минувшего столетия, они прозвучали для меня твердою, еще раз новою санкцией того вечно живучего, публицистического духа, силою которого связывали римскую древность со своей современностью в XVI веке Николо Маккиавели («Замечания на Тита Ливия», 1516), на границе XVII и XVIII веков Бэйль, Монтескье («Размышления о причинах величия и падения римлян», 1734), затем энциклопедисты, Вольтер, писатели и деятели первой французской революции, консулата и империи, — силой которого и сам Моммсен, юрист по образованию и пламенный германский патриот-объединитель, отдал жизнь свою и всю мощь своего гения изучению учреждений римского народа.

Слов Моммсена я никогда не забывал, работая над «Зверем из бездны». Другие слова,

которые остались мне очень памятливы и полезно повлияли на мою работу, были сказаны случайно — не ученым и не историком, а товарищем моим по журналистике, известным литератором, остроумнейшим из русских фельетонистов, В.М. Дорошевичем. Когда он прочитал тот небольшой отрывок из моего труда, который, тоже под заглавием «Зверь из бездны», печатался в покойной газете «Россия» (умерла 13 января 1903) и был ему посвящен мною в знак нашего сотрудничества и дружбы, — он с удивлением увидал, что римские императоры, легендарные всесторонним негодяйством своим, далеко не такие страшные черти, как их малюют, — по крайней мере в сравнении со светскими и духовными владыками последующих веков новой «христианской» цивилизации.

— Послушайте, — сказал — и очень хорошо сказал — Дорошевич. — Но ведь, оказывается, это просто правители, о которых истории удалось узнать все до конца, тогда как о позднейших мы знаем только легенду и сплетню, дифирамб или памфлет.

Сейчас, после одиннадцатилетней новой

работы, я уже не подпишусь под этим мнением, так как отравлен скептицизмом ко множеству источников и авторитетных комментариев, которые прежде принимал на веру. Но это мнение указало мне на наличие в моем труде того публицистического духа, ради которого я работал свои «культурно-исторические параллели». Теперь этот маленький подзаголовок приходится снять, так как частная точность его исчезла в росте труда моего из коротенького, довольно голословного, прямолинейного этюда в четырехтомное историческое исследование.

Профессия журналиста — неблагоприятный фон для научной сосредоточенности. Я мог заниматься любимым трудом своим лишь в промежутках публицистических статей, фельетонов, газетной полемики, редакционных занятий, приемов и разговоров. Тем не менее «Зверь из бездны» был почти готов и объявлен к выходу еще в 1902 году. Но — вместо того, чтобы заняться этим изданием, — мне пришлось отправиться в ссылку, а два года спустя — переселиться за границу. Целый год рукопись и материалы к ней даже

не были в моих руках, так как бумаги мои были зачем-то забраны, при обыске, в департамент государственной полиции. Манускрипт «Зверя из бездны» с курьезными отметками чьего-то «там» внимательного чтения я и сейчас храню, как своеобразную достопримечательность. Восточная Сибирь и кочевой быт эмиграции вынудили меня надолго забыть свои тетради. Когда же я получил возможность заняться ими снова, то убедился, что, за пятилетний перерыв общения с западной наукой, невольно пережитый моим трудом, исследование эпохи, которой посвящены мои «культурно-исторические параллели», шагнуло значительно вперед и требует от меня для «Зверя из бездны» очень серьезной редакционной переработки. Многие, что в конце девяностых годов я имел право считать новой мыслью, оригинальным взглядом, успело стать широко известным общим местом, уже не нуждающимся в доказательствах и выяснениях. Многие устарело, обстоятельно опровергнуто и, следовательно, подлежит устранению или исправлению. А многое, наоборот, открывало новые пути, горизонты и светлы,

которыми было бы грешно не воспользоваться, как исходными точками к новым далям. Огромное впечатление произвел на меня в свое время (1907) великолепный труд Ферреро — «Величие и упадок Рима» (вышло пять томов — до Августа включительно^{2}). Работа итальянского историка кончается, покуда, как раз там, где «Зверь из бездны» начинается: в эпохе принципата Юлиев-Клавдиев. Грандиозное творение Ферреро поразило меня общностью во множестве взглядов, а главное, в самом типе публицистической обработки исторических данных, которую создался мой собственный труд и которую Моммсен предрекал, как характерную и необходимую для XX века. Поэтому я снова решил было отложить печатание «Зверя из бездны» на неопределенное время, а сперва выпустить в свет перевод труда Ферреро. Это — казалось мне еще в 1908 году — избавит меня, кстати, и от огромного труда писать введение о римской государственной эволюции до принципата, то есть опять таки, пожалуй, добрый том. Я организовал было группу переводчиков, в сотрудничестве с которой и надеялся

выпустить в свет русское издание «Величия и упадка Рима». Но работники мои перевели Ферреро плохо, редакция потребовалась долгая и большая, а тем временем и я во многом у Ферреро разочаровался, да и сам Ферреро в своей последней, много нашумевшей речи *Roma nella cultura moderna*, уже далеко не тот, каким являлся он в первом итальянском издании своего капитального труда. По всему этому, вопрос об издании Ферреро затянулся даже и по сие время. К тому же, тем временем, появилось на русском языке несколько прекрасных самостоятельных работ о той же эпохе (назову хотя бы «Очерки истории Римской империи» проф. Виппера), которые даже имеют пред Ферреро — несколько расплывчатым, слишком красноречивым и иногда произвольным в допущениях — преимущество стройной сжатости и более обоснованной доказательности.

Одержимый вечными сомнениями и чтениями новых и новых чужих работ, я, вероятно, и сейчас не решился бы выпустить в свет «Зверя из бездны», если бы не потребовали нового издания мои «Антики» — вышедший

в 1909 году сборник этюдов и подмалевков к «Зверю из бездны». Все эти бытовые популяризации, появляясь в разных периодических изданиях, были встречаемы публикой дружелюбно, перепечатывались частями и полностью в провинции, частенько я получал читательские запросы, где можно найти ту или другую статью. Это и побудило меня соединить их в сборник. Сейчас, когда потребовалось второе издание «Антиков», я подумал, что уж лучше, вместо отрывочных статей, дать наконец систему, к которой они относятся и из которой извлечены. Каковы бы ни были недостатки и несовершенства моего труда, очень хорошо мною признаваемые, но — не полотно же он Пенелопы, чтобы сотканное утром вечно распускалось ночью. Да и Пенелопа проделывала этот фокус всего только десять лет, а ведь с тех пор, как я серьезно за «Зверя» принялся (1896), вот уже скоро 15.

Есть в «Звере» сторона, в недостатках которой я заранее так уверен, что не могу не извиниться за нее. Живя очень далеко от Петербурга, где «Просвещение» печатает мои книги, я не могу читать больше одной корректу-

ры. При моем слабом зрении этого мало. Как бы ни была добросовестна и хороша типографская корректура «Просвещения», она не исключает возможности ошибок, перешедших из оригинала, воспроизведенного с моих черновиков при помощи пишущей машинки, ибо за описками слепые глаза мои решительно не в состоянии уследить. Это причина, по которой, быть может, читатель встретит кое-где разнообразное чтение собственных имен, напр. Домитий и Домиций, Агенобарб, Аэнобарб, Паллас и Паллант, Кней и Гней и т.п., что объясняется разными эпохами, когда я писал сочинение. Точно так же хронологические даты, может быть, не всюду проставлены по обеим эрам — римской *ab urbe condita* и обычной от Р. X. Могли возникнуть ошибки при переписывании цитат, в особенности греческих, так как переписчица моя этого языка не знает, и приходилось ей их просто так срисовывать.

Работа моя, хотя замкнутая и одинокая, не могла обойтись без сотрудников в технической ее части. Считаю священной обязанностью помянуть с чувством искренней призна-

тельности покойную М.Г. Деденеву (ум. 1909), сделавшую для «Зверя из бездны» довольно много переводных работ с разных языков, а также поблагодарить КА. Лигского, взявшего на себя чертежи планов, больших родословных и хронологических таблиц, и Е.П. Бураго, оказавшую мне огромную услугу, переписав всего «Зверя из бездны» с его ужасных черновиков для оригинала к типографскому набору.

Александр Амфитеатров.

Fezzano.

1911. II.21 /8.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РОДОСЛОВИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

I

Л. Домиций Аэнобарб, впоследствии император Нерон Цезарь, сын Кн. Домиция Аэнобарба и Юлии Агриппины Младшей, родился в кампанском городе Антии, ныне Анцио, ранним утром 15 декабря (XVII Kal. Januar.) 790 года от основания Рима, то есть 37-го по Рождестве Христовом.

Короткая, бурным смерчем, в громе и блеске пролетевшая, жизнь этого государя, — а еще вернее будет сказать, — легенда об его жизни, не похожа на действительность. Это — сон, бред, кошмар: волшебная феерия, полная нелепых недоразумений, роковых неожиданностей, сказочных превращений, балаганных фарсов, адских ужасов и страстных живых картин. Тридцатилетний хаос лихорадочных грез и впечатлений, вспыхивающих и пропадающих с быстротою и си-

лою молний. Падают дожди из белых роз, ручьи текут вином, фонтаны брызжут алою кровью. Вьются хороводы красавиц, добрых и злых фей, торжественно выступают мудрецы-кудесники, чудотворцы, философы, герои, — и дико хохочут, кривляясь в геенских огнях, свирепые демоны — палачи и шуты князя века сего, великолепного апокалипсического «Зверя из Бездны». Высшие красоты любви сверкают нетленной прелестью — над «сатанинскими глубинами» ее извращений и пороков. Из-под священного пурпура владыки вселенной сквозят пестрый колпак и лоскутная хламида площадного скомороха. Вверху прекрасный, как солнце, беломраморный лик Аполлона Кифарэда; внизу, у ног его, — обезглавленные трупы, ванны, дымящиеся кровью, выпущенной невольными самоубийцами из перерезанных вен. Веселье вечного праздника, звуки мечтательной лиры, радужный мираж сцены и кулис, красивые стихи, изящные куртизанки, — и Вечный Город в огне, и пламя «живых факелов» пожирает людей, завернутых в смоляные рубахи.

В таком романтическом свете рисовался

Нерон историкам, поэтам, литераторам, артистам и художникам почти пять столетий, отделяющих нас от эпохи, когда великое открытие или гениальная подделка Тацитовых летописей воскресили трагический Рим века цезарей пред родственными ему глазами итальянского Возрождения. Критический анализ XIX века снял с этого стихийного образа много невероятных украшений и выбледнил его сказочный колорит. Поблекло и отвергнуто значительное количество легенд, принимавшихся прежде как неоспоримые факты; аморальные поступки и увлечения, считавшиеся прежде исключительной редкостью индивидуальной порочности или даже демонической одержимости, освещены трудами невропатологов и психиатров как органические недуги, распространяемые наследственностью во всех вырождающихся обществах. Словом, Нерон-демон, Нерон — сверхчеловеческое воплощение и полубожество «царствующего зла», Нерон-Антихрист, живой противоположник жизни, этики и учения Христа, властитель, пророк и жрец «глубин сатанинских», Нерон романтиков от Гамерлинга до

Сенкевича, от Пьетро Косса до Рубинштейна и Семирадского, Нерон историков-риторов, в числе их и Ренана, — такой Нерон, к нашему времени, изрядно вылинял и упростился. Но и за всем тем, как центральный человек своей эпохи, как царственный двигатель и выразитель античной культуры в весьма решительный и переломный ее момент, Нерон — фигура громадно-показательная и, в своем особом роде, действительно, романтическая. Переместилась лишь, если понятно будет так выразиться, исходная точка романтической его интересности: романтизм личности затмился, в своем индивидуальном эффекте, романтизмом коллектива, которого личность была фокусом. Изумление и ужас, воспитанные в Европе традициями сперва римско-республиканской, аристократически — философской, затем церковно-государственной и христиански-бытовой этики, даже не веками, а десятками веков видели в Нероне своеобразное «чудо истории», демонического выроodka цивилизации, небывалого раньше и не повторенного историей потом. Взгляд этот слегка поколебался в конце XVII столетия, потер-

пел резкие поправки в пересмотре его энциклопедистами XVIII века и империалистами XIX-го и мало-помалу сменился скептическим доказательством, что не один Нерон был выродком цивилизации, но вся цивилизация его века, свершив сужденный ей эволюционный круг, сошла на уровень истощенного выродка, склонилась к «упадку». Нерон явился в ней только тем человеком и таким государем, каким лишь и мог естественно явиться, каким лишь и должен был логически сформироваться владычный центр и символ великого упадочного коллектива, в котором изжитое прошлое пышно разрушалось и, в жирном зловонии, разлагалось, а будущее, среди тлена этого, еще не мерцало хотя бы даже блуждающим огоньком. Настоящего не было. Старый идеал умер — новый идеал еще не родился. По середине была пустота — идейный провал, бездна гниения, разочарования и безнадежности. В ней копошились странные человекообразные существа, презирующие свое вчера и глубоко равнодушные к своему завтра. Это были люди, потому что были они человечески умны, образованы, общительны,

храбры, имели законы, литературу, искусство и были настолько сильны эстетическим чувством, что оно стало в них даже как бы физиологическим, и бывали среди них уже такие, которые, без наглядной красоты в жизни, страдали едва ли не столько же, как без пищи и питья. Но они же были и скоты, потому что были они зверски эгоистичны и страстны, жестоки, жадны, свирепы и сытость всех плотских инстинктов обожали до такой животной наивности, что даже самым грязным и пошлым физиологическим потребностям спокойно отводили почетные места не только на красивых ступенях своего эстетизма, но и в религии. Во главе этой удивительной бездны людо-зверей, как ее последнее слово, поднялся и стоял тот, кому и естественно было стоять: ее избранник и любимец, — собирательный результат ее вырождения и самый типический из вырожденцев, — эстет над эстетам и скот над скотами, — великолепный и чудовищный, утонченный и первобытный, — воистину «Зверь из бездны», — цезарь Нерон.

Фантастический склад жизни Нерона и

безалаберная неопределенность личного его характера, почти во всех эпизодах его биографии противоречивого и двусмысленного, дали исследователям эпохи основание признать последнего цезаря Юлио-Клавдианской династии душевнобольным. Одни настаивают видеть в нем прирожденного изверга, существо из расы людей-преступников, с почти сверхъестественным развитием всех инстинктов и способностей животного порядка при полной атрофии начала нравственного. Другие почитают Нерона сумасшедшим, различно квалифицируя его предполагаемое безумие. Третьи — только человеком с дурной наследственностью и сильно потрясенной нервной системой: несчастным вырожденком нескольких знатных и развратных фамилий, невропатом, который всю жизнь свою скользил по границам безумия, время от времени переступая их в буйных эксцессах тщеславия, жестокости и сладострастия. Не перечисляю покуда остальных гипотез и догадок в том же направлении: сейчас важно установить не разветвление и подробности этого взгляда — ими со временем придется мне по-

дробно заняться в заключительной поверке и критике своих собственных выводов, — важно установить только общее правило, что все, кто в последние два века писали о Нероне и его эпохе, по данным древних источников, — все, и его хулители и его немногочисленные апологеты, дружно сходятся в признании некоторой психической недужности этого цезаря. Авторы разногласят лишь в определениях ее форм, сроков, интенсивности: спорят — что в нравственных аномалиях Нерона было прирожденного, что приобретенного жизнью и воспитанием, высока ли была их повелительная энергия, каких достигали они степеней развития и напряжения, и, наконец, были ли они постоянным и неперменным злом его жизни или только случайным и перемежающимся.

В виду крайней психической сомнительности Нерона, вопрос о его наследственности должен быть рассмотрен с особенно тщательным вниманием, в особенно последовательной подробности. Проверяя родословие цезаря в четырех поколениях, нельзя не вынести заключения, что природа и культура, по

крайней мере, сто лет неумолимо работали, чтобы создать из него последний роковой фокус одновременного вырождения четырех могущественных фамилий, — Юлиев-Октавиев, Антониев, Клавдиев и Домициев Аэнобарбов, — переродившихся между собою до близости почти — а в иных случаях и совершенно — кровосмесительной.

Собственно говоря, даже не четырех, но пяти фамилий, но считаю четырех потому, что, хотя Октавии утопили свою фамилию в более блестящем и завидном имени Юлиев, последние имеют к Юлио-Клавдианской династии кровное отношение только по женской линии. Основатель династии — Октавий Август — сын последней женщины-Юлии, сестры Юлия Цезаря Диктатора, который был последним мужчиной-Юлием. Племянника своего, Октавиана, он сделал Юлием через усыновление. Кровь истинных Юлиев истребилась за 124 года до гибели последнего Юлия-Клавдия, т.е. цезаря Нерона.

Кровная наследственность Нерона в прямых степенях родства с материнской стороны выражается нижеследующей таблицей.

Из таблицы этой явствует, что император Нерон был

ПРАПРАВНУКОМ:

Октавия Августа Цезаря, жен его: Скрибонии и Ливии, сестры его Октавии, триумвира Марка Антония и Тиберия Клавдия Нерона, происходивших из пяти фамилий по имени, из четырех по крови;

ПРАВНУКОМ:

Юлии Старшей, Антонии Младшей, Нерона Клавдия Друза и (новая, привходящая кровь) М. Випсания Агриппы, происходивших из трех фамилий;

ВНУКОМ:

Юлии Агриппины Старшей (смешанная кровь Юлиев и Випсаниев) и Германика Цезаря (смешанная кровь Юлиев—Антониев—Клавдиев);

СЫНОМ:

Юлии Агриппины Младшей (второе поколение смешанной Юлио-Клавдианской крови) и Кн. Домиция Аэнобарба, принца, связанного с потомством Августа тоже весьма близким родством.

Среди названных имен, большинство при-

надлежит людям, высоко одаренным умственными способностями, талантливыми, а в некоторых случаях даже нравственной силой.

II

Из прапрадедов Нерона, Юлий, то есть принцепс Кай Октавий Цезарь Август (р. 23 сентября 691 г., ум. 19 августа 767 г.), создал конституцию римского принципата и диархическое правительство. Подвиг колоссальный, деятельность гениальная. Однако, Август, казалось бы, не принадлежит к числу тех экстатических, вдохновенных гениев, чей необычайный нервный подъем и напряжение мыслительной энергии Ломброзо и его школа провозгласили счастливо изнанкою безумия, и наследственность от которых, как многократно доказано историческими примерами, действительно, небезопасна для их потомства, обязанного расплачиваться за блестящую одаренность своего предка быстрым вырождением. Август — деятель ума обширного, плоского, твердого, но холодного, души умеренной и аккуратной. Практическая житейская логика здравого смысла заменяла

ему богатство идей и широту взглядов. Отлично управляя самим собою, счастливый на дружбы с талантливыми людьми, мастер приспособляться, он выработал из себя великого человека с будничной физиономией. Фаталист и суевер по настроению, буржуа по наклонностям, редкий талант «чувства меры», он не заносился на фантастические высоты ни в государственных планах, ни в личных страстях. Легенды о его половых пороках и даже о кровосмешении с дочерью, с злорадным удовольствием поддержанные Вольтером, весьма маловероятны. Август — не буйный строптивый грешник, вроде хотя бы своего главного политического врага и соперника, знаменитого триумвира Марка Антония. Он — разве, втихомолку, греховодник. Открыто же Август всегда являл себя ревностным поклонником и суровым блюстителем самой узкой буржуазной морали и вряд ли притворно ханжил. Жестокости Августа едва ли можно приписать природной кровожадности; скорее они были плодами трусости: сын провинциального ростовщика, неожиданно попавший в повелители вселенной, в трепете

самоохранения, старался укрепить свое величие и оградить спокойствие, сокращая, как можно усерднее, ряды опасных ему и подозрительных лиц. По меткому определению Белэ (Beule), Август — Нерон в обратном порядке: начал тем, чем Нерон кончил, и кончил тем, чем Нерон начал. Чем тверже становилось положение Августа, тем мягче делался его режим, и, в конце концов, он не только остался в памяти народной с именем доброго и желанного государя, но еще имя его сделалось священным эпитетом высшей государственной власти, привязалось, как титул, ко всем царственным фамилиям европейского мира. Когда мы читаем в придворной хронике: «августейшие дети», «августейшая супруга», «августейшая вдова», либо в министерском отчете: «августейшие намерения», «августейшие предначертания», — мы так же далеки от воспоминаний о счастливом римском узурпаторе, как не дает их нам и месяц август, которым, тоже в честь его, сменился в календаре латинском прежний *Sextilis*. Некоторое лицемерие запоздалой благости Августа не могло укрыться от современников. Из-

вестно, как смело сдерживал злые порывы Августа Меценат. В близком поколении потомков, философ Сенека, с откровенной резкостью, объяснял милосердие Августа переутомлением его в жестокости. Физически Август был человек малорослый, слабый, часто болел, припадал на левую ногу, выдержал два тифа и множество горловых болезней, по малокровию не терпел ни жары, ни холода, мучился лишаями и, как остроумно доказывает Якоби, нервным поражением руки, известным под именем писцовой болезни, *chorea scriptorum*, *la crampe des écrivains*.

О личном характере Тиберия Клавдия Нерона (ум. в 719) мы не имеем подробных сведений. Веллей Патеркул называет его «человеком остроумным и ученым». В течение междоусобий — от Фарсальской битвы до Акциума — этот Клавдий успел послужить едва ли не всем политическим партиям, а когда Октавиан остался победителем, купил его милость, уступив ему свою жену, Ливию Друзиллу (в 716). Семейный же характер Клавдиев, древнего сабинского рода, знаменитого своей исконной борьбой с демократическими тече-

ниями республики, был не из приятных. Анний Клавдий, децемвир, прославленный известным эпизодом бесчестия и смерти Виргинии, фигура типическая для всего рода. Большинство Клавдиев — люди мрачные, жестокие, надменные своим родословием, влиянием, богатством, хотя, вместе с тем, очень даровитые. Аристократические роды римской республики были, вообще, не бедны крепкими и жестокими характерами, но даже в их суровой среде Клавдии выдавались стойкостью и силой воли и, однажды намеченные себе, честолюбивые цели преследовали с упрямством фанатическим. «Фамилия необычайно гордая и лютая ненавистница простого народа» — определяет Клавдиев Тит Ливий. «Исконное и закоренелое свойство фамилии Клавдиев — гордость», подтверждает, слишком сто лет спустя, Тацит. Жена Тиберия Клавдия Нерона, Ливия Друзилла, которую он уступил Августу, по крови, должна считаться принадлежащей также к Gens Claudia, потому что отец ее был рождением Клавдий, а Ливием Друзом стал через усыновление. Женщина эта — впоследствии, в качестве вдовствующей государыни,

почтенная титулом Юлии Августы — открывает собой ряд женщин-политиков, столь многозначительных в дальнейшей истории принципата. Она отличалась необычайно острым умом, редким супружеским и государственным тактом и тончайшим талантом к дворцовой интриге. «Улисс в юбке» — *Ulixes stolatus*, — называл ее, много лет спустя, лукавый безумец, Кай Цезарь (Калигула). Ливии удалось выйти победительницей из династической борьбы за принципат против такого властного, хитрого и ловкого политика, как муж ее, принцепс Август. Исключительно ее усилиями и вопреки личным симпатиям Августа, наследие римского принципата пошло, по смерти его основателя, не в кровную прямую линию нисходящих Юлиев, но по линии усыновленных Клавдиев, детей Ливии от Тиберия Клавдия Нерона. Выполняя свои планы, Ливии, по-видимому, пришлось перешагнуть через много преступлений. Ей приписывают тайные убиения нескольких принцев Юлиев и, в том числе, даже самого Августа. Преступность Ливии во всех этих случаях не доказана и даже всегда или мало вероятна, или вовсе

невероятна. Но уже самое упорство, с каким народная молва обвиняла Ливию в каждом несчастий Юлиев, — характерное свидетельство всеобщей антипатии к ней, как к типичной клавдианке, со всеми недостатками ее чванного, угрюмого, свирепобезнравственного дома. Но, опять таки, и эта великая интриганка — не из тех пылких, своенравных, отчаянных и в преступлении, и в сладострастии, грешниц, которых поведение должно требовать объяснений психической аномальностью. Ливия — не Мессалина, не Лукреция Борджиа. Ливия славилась как женщина холодного темперамента и в обоих браках, очень покладистая и равнодушная супруга, совершенно лишенная порока ревности. Очень красивая смолоду и здоровая весь век, она прожила до глубокой старости, скончавшись в 782 г. (29 по Р. Х.), восьмидесяти шести лет от роду.

Из остальных женщин того же поколения, Октавия, сестра Августа, известна как образец семейных и личных добродетелей, светлого и кроткого ума, твердого и выносливого характера. Сенека ставит ей в упрек чересчур уж

сильное огорчение потерей любимого сына, Марцелла, от К. Клавдия Марцелла: отчаянием своим Октавия даже оскорбила несколько и оттолкнула от себя других детей. Конечно, скорбь матери, утратившей своего первенца, естественна и священна, с какой бы страстью она ни изливалась. Однако, мастерское изображение отчаянной Октавии у Сенеки дает картину какого-то даже не-человеческого, стихийного горя. Конец жизни Октавия провела в ожесточенном одиночестве, ненавидя людей, а в особенности матерей, окруженная ручными зверями и садками с драгоценной, ручной же, рыбой. Любопытно, что, по смерти Октавии, явился самозванец, выдавший себя за ее сына, якобы подмененного, «по причине его слабого здоровья», чужим младенцем, но тайно воспитанного добрыми людьми: обычная схема подобного самозванства. Повидимому, он имел некоторый успех. «Эта ложь единовременно угрожала зачеркнуть в наиболее священной из фамилий римских память об одном из истинных кровных членов ее и осквернить ее священный очаг нечистой примесью чуждой крови» (Валерий

Максим). Август сослал самозванца в каторгу, на галеры. Наказание до странности мягкое, в веке, когда по пустякам летели прочь головы, — особенно если принять во внимание щекотливость преступления для молодой династии. Притом, по свидетельству Валерия Максима, приказ об аресте самозванца был выдан лишь, когда «его дерзость не знала более границ». Кто был самозванец, — осталось неизвестным.

Скрибонию, дав ей развод, Август обвинил в разврате. Но, кажется, вина ее заключалась только в том, что она, — хотя замужем за Августом уже по третьему браку, — не была терпелива, как ее преемница Ливия, и не желала смотреть сквозь пальцы на любовные шашни супруга. Известны два-три очень хороших и сердечных поступка Скрибонии. Когда Август сослал свою и ее дочь Юлию на остров Пандатарю, Скрибония добровольно последовала за изгнанницей. Она же выкупила из рабства и отпустила на волю одного почтенного литератора, по имени Афродизия. Судя по этим данным, первая супруга Августа была совсем не дурная женщина, и поэт Проперций не

льстил ей, назвав ее в молодости «милой личностью», *dulce carut*, а философ Сенека, в старости, «почтенной особой», *gravis femina*. Двоюродный внук Скрибонии, Друз Либон, заговорщик против Тиберия-Цезаря, советовался с бабкой, ожидать ему приговора или покончить самоубийством. — «Э! что за радость брать на себя чужую работу!» — возразила внуку скептическая бабка. Для века Скрибонии, здравомыслие — не совсем обыкновенное.

Остается в поколении прапрадедов триумвир Марк Антоний: едва ли не самая романтическая фигура всей римской истории, потомок Геркулеса, сам мощный и неистовый, как Геркулес. Характер его, гениально освещенный Плутархом и Шекспиром, слишком хорошо известен, чтобы надобно было много о нем распространяться. Великий воин и великий развратник, алчный грабитель и бессчетный мот, хитрейший дипломат и грубый пьяница, то герой, то шут, то рыцарь несравненного великодушия, то свирепый палач, — Антоний — образец природы высокодаровитой, часто вдохновенной, но зыбкой в нравствен-

ных устоях и не способной к этической дисциплине. От юности тщеславный, самодур, фантазер, эксцентрик, всегда готовый среди самого серьезного и важного дела вдруг прорваться каким-либо детски взбалмошным дурачеством, он искупал свои пороки огромной политической и военной талантливостью. К старости он спился с круга, обабился под башмаком пресловутой Клеопатры, царицы Египетской, и потерял всякое подобие характера. Таланты померкли, — остался старый деспот-алкоголик, одержимый бешеными капризами, безвольная и опасная игрушка в руках дрянной женщины, умевшей заставить его проиграть мировую ставку в битве при Акциуме. Красивое и трогательное самоубийство Антония (724) явилось логическим исходом его бурной и, в конце концов, бесплодно для него и вредно для государства разменявшейся жизни. Вопреки всем пятнам на исторической репутации Антония, этот грешный богатырь остался симпатичен потомству, как широкая, титаническая натура, в которой и зло, и добро, и порок, и доблесть, и гений, и безумие били одинаково искренним и могучим

ключом. Любопытно, что свое жизнеописание Антония Плутарх включает указанием на прямую родословную связь между триумвиром и принцепсом Нероном: великий историк-психолог как будто хотел намекнуть, что буйная, неугомонная кровь древнего Антония не без греха в странностях потомка, «безумие которого едва не погубило римского государства».

III

Следующее поколение предков, то есть прадеды и прабабки Нерона, считает в числе своих представителей М. Випсания Агриппу (ум. около 19 марта 742 г., 51 года от рождения), — замечательного полководца и администратора, которому город Рим был обязан своим благоустройством, а принципат римский своим укреплением, — чуть ли не в той же мере, как самому Августу. Человек невысокого происхождения, новичок в знати, Агриппа, конечно, мог бы «освежить породу», когда Август призвал его (733 г.) стать супругом своей единственной дочери Юлии (Старшей, на медалях, Юлии Афродиты), — женщины очень острого, живого, литературно образо-

ванного ума, но легкомысленной и распутной. Историческая клевета долго приписывала Юлии любовную связь даже с родным отцом — Августом Цезарем. Нынешние историки, опровергая эту сплетню, предполагают источник ее в полоумном чванстве императора Кая (Калигулы): демократический дедушка, солдат Агриппа, был не по вкусу тщеславному живому богу Палатина, и он объявил себя дважды правнуком Августа — и по отцу Германику, и по матери Агриппине, предпочитая обвинить своих прадеда и бабуку в самом тяжком кровосмешении, чем слыть законным внуком выскочки. Но, даже отрицая сказку о кровосмешении, необходимо признать, что разврат Юлии, засвидетельствованный древними историками, отличался каким-то нагло-вычурным характером, вызывающей страстью к огласке, жаждой скандала, болезненным задором посмеяться над общественным мнением и приличием. Кощунственная прихоть выбрать местом для любовных свиданий ростру — государственную трибуну римского Форума — вряд ли могла бы придти в голову женщине, которая не пьяница и не

истеричка. По энергической характеристике Веллея Патеркула, Юлия «измеряла высоту своего положения своевољством делать мерзости, почитая позволительным для себя все, что только подсказывал ей каприз». Тем не менее дети Юлии — не только законные, но и действительные плоды ее брака с Агриппою. Своим сходством с отцом они поражали любопытных, знавших нравы принцессы. У Макробия сохранился анекдот, будто Юлия однажды, на вопрос о том, цинически состригла:

— Я — как корабли: не принимаю пассажиров, покуда не взяла балласта.

То есть — распутничаю, только застрахованная супружеской беременностью от возможности плода со стороны. Обычная система нынешних парижских веселящихся буржуазок. Дам, распутничающих по правилам Юлии, в Париже считают даже не развратницами, но просто милыми шалуньями, «почти верными» супружескому долгу. Юлия Старшая имела много детей, но мало их выжило до взрослости, а остальные были жестоко несчастны в жизни и не только от людей, но и как жертвы вырождения, сказавшегося в

одних ужасными характерами, в других слабоумием. «Чрево этой женщины не принесло ничего доброго ни для нее самой, ни для республики», выразительно характеризует Юлию историк Веллей Патеркул.

Сообщником скандалов Юлии Старшей был сын Марка Антония Триумвира, Марк Юлий Антоний, от первого брака триумвира с пресловутой «злой» Фульвией, героиней гражданских войн, солдат-бабой, дочерью взбалмошного и свирепого Клодия, ненавистницей Цицерона. М.Ю. Антоний — бесшабашный прожигатель жизни, талантливый поэт, мечтатель, — портрет отца и, как отец, вынужденный самоубийца. Сводные сестры его — от Октавии — Антония Старшая (р. 715) и Антония Младшая (р. 718), на медалях Антония Августа, — наследовали больше нравственных черт от матери, чем от отца. Обе — женщины порядочные, благовоспитанные и очень взыскательные в вопросах семейной чести. Вторая из них — замужем за Нероном Клавдием Друзом — была как бы приемницей Ливии по репутации, а отчасти и по влиянию, — по значению и авторитету «женщины

с государственным умом». Она — родоначальница «крови Германика», много способствовала его возвышению и умерла семидесятишестилетней старухой (792), имев перед смертью удовольствие и несчастье видеть Германика-сына, Кая Цезаря Калигулу, принцепсом римской республики.

Нерон Клавдий Друз Германик — сын Ливии от Тиберия Клавдия Нерона, рожденный ей три месяца спустя после того, как Август отнял ее, беременную, у первого мужа. Якоби считает его сыном Августа, что очень облегчает ученому этому дальнейший разбор наследственных передач в династии Цезарей. Оно соблазнительно и не совсем невероятно, но сильных и прямых доказательств за себя не имеет. Друз Старший — опять большой военный талант и очень хороший, всеми любимый человек, достойный супруги Антонии Младшей, о которой только что шла речь, не в обычай Клавдиям, либерал, чуть ли не тайный республиканец. Думали, что только ранняя смерть помешала ему «восстановить республику». Необходимо отметить, что он был галлюцинат, и из многочисленных детей его

достигло зрелого возраста только трое: блестящий полубог Тацита, Германик, divus Germanicus, болезненно развратная Юлия Ливилла и полудиот Клавдий. Старший брат Друза, также усыновленный Августом (род. 16 ноября 712 г.), открывает собой печальную и грозную галерею типов быстрого вырождения, последовательной сменой которых полна отныне вся, почти без исключений, история рода Клавдиев. Государственная и военная талантливость Тиберия, острый ум, полный какого-то особого скептического здравого смысла, глубокое знание людей, аристократическое презрение к внешним формам власти при поразительном умении выгодно распорядиться ее действительными прерогативами, давно уже поколебали старинный исторический взгляд, издавший в наследнике Августа, с слепым доверием к Тациту и Светонию, мелодраматического злодея ради злодейства, адскую смесь Людовика Одиннадцатого с маркизом де Сад. Почин тому положил Вольтер, вообще нанесший не мало ударов непреложному авторитету Тацита. Следы их не позабылись до сих пор и время от времени

откликаются появлением во Франции таких, например, скептиков, как П. Гошар. Он, путем экзегезы, дошел до отрицания подлинности самой летописи Тацитовой и объявил ее романом XVI века, принадлежащим перу известного гуманиста Поджио Браччиолини. Наш всегда проникновенный Пушкин, один из первых в Европе, подверг критике памфлетическое отношение Тацита к Тиберию и, со свойственной ему художественной прозорливостью, усмотрел, сквозь черные отрицательные краски античного портрета, много положительных и даже симпатичных черт. За последние 30—40 лет историческим оправданием Тиберия усердно занимаются немцы: Штар, Сивере, Фрейтаг, из французов Дюрюи. Однако, положительные стороны в личности Тиберия только ярче оттеняют его общую психическую аномальность. Уже смолоду мизантроп, ипохондрик, — к тому же запуганный и утомленный интригами двора Августа и Ливии почти до мании преследования, — оскорбленный муж распутной Юлии Старшей, которую ему навязали насильно и которую он ненавидел настолько, что объ-

явил голодовку, если не выпустят его из ка-
торги брака этого, — суеверный эгоист и пота-
енный развратник, — Тиберий сделался стра-
шен в старости. Ехидной, мелочно-язвитель-
ной, холодно-расчетливой свирепости его по-
священы ужаснейшие страницы Тацита; от-
кровенногрязному, извращенному развра-
ту — ужаснейшие страницы Светония. Бога-
тырское телосложение позволило Тиберию,
вопреки болезням и излишествам, дожить до
77 лет (ум. 16 марта 790 г.), но последние свои
годы он провел несомненно душевноболь-
ным, изжив и огромный ум свой, и тело,
пройдя чрез мытарства самых разнообразных
нервных и психических поражений.

IV

Перейдем в следующее поколение, то есть к
детям Агриппины от Юлии, Друза от Анто-
нии, Тиберия от Випсании: к родным, двою-
родным и т.д. дедам и бабкам императора
Нерона.

Потомство Агриппины и Юлии Старшей, в
мужской половине его, не успело вызреть. Це-
зари Кай (734—757) и Люций (737—755) скон-
чались слишком молодыми, — как ходила

молва, умерщвленные агентами Ливии. Оба юноши, однако, успели получить репутацию молодых людей «с опасным настроением ума», то есть с дурным психическим предрасположением или, как доказывает Якоби анализом биографии Кая, с склонностью к нравственному помешательству (*l'Idiotie morale, moral insanity*). Третьего брата их, Агриппу Постума (742—767), отстраненного от наследства в принципате в пользу Тиберия, Тацит рисует человеком диким, невеждой и глупцом, непомерно кичившимся своей богатой силой. Из женского потомства, Юлия Младшая (ум. 781) повторила распутства своей матери. Наоборот Агриппина Старшая, супруга Германика Цезаря, родная бабка императора Нерона, искони прославляется, со слов Тацита, как христоматический образец всех семейных и гражданских добродетелей, приличествующих честной женщине и высокорожденной принцессе. Но едва ли добродетелей и доблестей не было у нее уж чересчур много. Пред нами — женщина болезненно-гордая, честолюбивая, властная, заносчивая, со строптивым характером вспыльчивого

мужчины, с вызывающей храбростью ветерана, закаленного в боях, с умом политика, хотя и не слишком острого и глубокого, но все-таки лишь ошибкой природы одетого в юбку. Суровый пуризм ее, по-видимому, не был естественным, но сложился как плод энергической борьбы нравственных убеждений с темпераментом, чрезвычайно страстным по природе, но нашедшим себе счастливый выход в привязанностях супружеской и материнской. Неудивительно быть верной женой, — справедливо отмечает Якоби, — женщине, которая к 26 годам успела народить 9 человек детей. Тацит, панегирист Агриппины и создатель ее славы, не скрывает, что принцесса далеко не всегда легко сносила благородное бремя своего вдовьего воздержания. Что касается высокой репутации Агриппины, как примерной матери, удивительно, как могла она сложиться в поколениях, имевших горе знать ее свирепых и безнравственных детей, между которыми не было ни одного сколько-нибудь приличного человека, ни одной, хотя бы относительно, честной женщины. Ранняя утрата мужа, свирепая вражда Ти-

берия, многолетняя борьба за свое и детей своих существование, завершенная трагической гибелью двух любимых сыновей Агриппины и тяжелой ссылкой ее самой, довели несчастную принцессу, уже по природе мнительную, до преувеличенной подозрительности, отдалившей от нее друзей, озлобившей оскорблениями ее властных врагов и весьма похожей на манию преследования. Она умерла в ссылке на острове Пандатарии (18 октября 786 г.), страшно несчастная, совершенно одинокая и, по-видимому, сама оборвала опостылевшую жизнь, уморив себя голодом.

В потомстве Друза и Антонии блестяще удался родной дед императора Нерона, знаменитый полководец Германик Цезарь (*divus Germanicus*): прекрасная душа в прекрасном теле, любимец и надежда народа, слишком рано погубленный придворной интригой (ум. в 772 г.). Якоби подверг панегирические страницы Тацита строгой критике, в результате которой доблести Германика значительно блекнут, и оказывается он вполне плотью от плоти и костью от кости жестокого рода своего. Это так, но Якоби не учел относительной

исторической морали, в области которой должны мы жить, изучая Цезарей, — и, следовательно, ею, а не уровнем нынешних этических требований мерить их характеры. Нет никакого сомнения, что, как солдат и государственный человек, Германик мог быть и коварен, и жесток, и жаден, и нет никаких причин, чтобы внук триумвира Антония, — а, может быть, и другого триумвира Октавиана (как подозревает Якоби), — сын и потомок Клавдиев, вышел ни с того, ни с сего каким-то ангелоподобным вырожденком. Но дело-то в том, — и этого никак нельзя отрицать, — что, при всех своих недостатках, плодах своего происхождения и века, Германик носил на себе редкую тогда печать природы истинно этической: склонной к самопознанию, самовоспитанию, к борьбе с собой и победе над собой в пользу интересов общества и человечества. Это был человек, в котором его современность инстинктом чувствовала гнездо силы, может быть, смутной, но лучшей и наиболее прогрессивной, какую она смогла породить. Человек, на которого век имел право показывать с гордостью и надеждой: вот кого я выра-

ботал, в чьи руки перейдет руководство мировым государством. Германик, повторяю, мог иметь множество пороков, да еще и не обладал сильным характером, попадал под влияния, способен был теряться в трудные минуты и т.п. Но этот человек, по крайней мере, знал, что существует на свете понятия общественного блага и человеческого достоинства; пожалуй, даже знал, как должны они проявляться в современном ему обществе, как могут быть согласованы с господствующим государственным строем; знал — и уважал их силу и благо. И общество тоже знало, что он и знает их и хочет их, и, в благодарность за то, обожало Германика, так сказать, в кредит. Настолько, что мало сказать, — не хотело замечать недостатков его, — просто, они современникам и в мысль не приходили, — пятна исчезали в сиянии солнца. Насколько твердое этическое самосознание и уверенная теория морали были дороги веку, нам вскоре покажет другая фигура, очень схожая с Германиком, — Германик штатский, Германик в тоге: Л. Аннэй Сенека. Если век не заметил, не хотел заметить в принце Германике природной

жестокости и прочих пороков, которые легко открывает, через объектив девятнадцати веков, Якоби, то философу и моралисту Сенеке век простил безобразную холопскую покладливость придворного, трусость и зыбкость политического борца, жадное корыстолюбие, двуличность, — множество пороков и грехов личности, хотя все их прекрасно видел, замечал и порой едко бичевал. Простил, потому что чувствовал, что пороки и грехи Сенеки — от него, от века; но есть в Сенеке нечто особое, прекрасное, что тоже из него, века, выделилось, но уже будущему принадлежит, в будущее ведет и является пред судом будущего защитительным словом и искупительной жертвой за него, страшный век свой, — почти единственным словом, почти единственной жертвой. Подобно Сенеке, Германик — воплощение этического начала эпохи своей, напоминание и воображение этического идеала. Недаром же, когда умер Германик, многие, совершенно чуждые ему, люди в Риме убивали себя, находя, что дальше жить не стоит — не во что жить!

Но сестра Германика, Ливилла, — типиче-

ская принцесса- проститутка, каких во множестве выращивал тогдашний Палатин, — отравила своего мужа. А брат, впоследствии Клавдий Цезарь (р. 1 августа 744 г., ум. 13 октября 807 г.), даже материнскому глазу был противен, как некое «недоконченное чудовище»: заика, косолапый, вечное и всеобщее посмешище. «Глуп, как мой сын Клавдий», — такова была сравнительная мерка- поговорка у Антонии. Мнения современной исторической критики о Клавдии расходятся между собой довольно пестро. Одни считают его дураком от рождения и злейшим срамом всей истории принципата, доставшегося ему насмешкой счастливого случая. Другие, как Мишле, основываясь на многих дельных политических и административных мероприятиях его правления, склоняются к предположению, что Клавдий тенденциозно оклеветан летописями и историками, ближайшего к нему и враждебного ему, Неронова принципата, а в действительности был гораздо лучше своей трагикомической репутации. Особенно усердны в оправдании Клавдия французские историки, что показывает в них благодарную па-

мять. «Клавдий, — говорит Амедей Тьерри, — был воистину отцом провинций». Рожденный в Лионе (Lugdunum), воспитанный среди народов Галлии, он с ранних лет возлюбил край этот, который он впоследствии облагодетельствовал столькими доказательствами своего расположения, и который, как можно думать, значительно повлиял на его отношения к провинциям вообще. Не пренебрегая Грецией и восточной частью государства, Клавдий, главным образом, занялся Западом — тем Западом, который справедливо казался ему наиболее способным принять вглубь свою быструю и мирную романизацию, и вскоре стал новым, все-европейским Римом. Он усовершенствовал организацию гальских провинций, замершую было после кончины Августа. Он насадил в Британии, западный и южный берег которой он же, Клавдий, завоевал, первые начатки цивилизации и римской речи. Историки хвалят Клавдия за его усердие к распространению общегосударственного языка. Дион Кассий рассказывает, что он считал знание латинского языка обязательным для римских граждан и лишал зва-

ния тех из них, кто не умел отвечать ему полатыни. «Нельзя быть римским гражданином, — говорил он, — не зная языка, на котором говорят в Риме». Но, в то же время, этот романизатор открыл инородцам, в представительстве Галлии Косматой (Gallia Comata), право доступа к высшим государственным должностям в Риме и, проводя этот закон, умел одолеть сильнейшую оппозицию не только сената, но даже и своей дворцовой камарильи, у которой вообще-то он ходил на поводу, как послушная, замундштученная лошадка. Речь Клавдия по этому поводу полна здравых мыслей, многие из которых, даже и в наш век, не потеряли своего значения и не лишними прозвучали бы с иных, парламентских или поддельных под парламент, трибун. Клавдий говорил:

— Я буду руководиться в управлении государством примером предков. Родоначальник мой Атт Клавз был сабинского происхождения. Однако, он был единовременно принят и в римское гражданство, и в семью патрициев. Юлии вышли из Альбы, Корункации из Камерия, Порции из Тускулума. Да — что нам

рыться в древности? — одним словом: древний сенат принимал в среду свою вельмож Этрурии, Лукании и других итальянских земель по мере того, как римский народ раздвигал Италию до Альп, покуда не объединил ее всю. Это убеждает меня подражать старине, привлекая в нашу корпорацию всех лучших людей, которых на пути своем встретит растущий Рим. Разве нам приходится сожалеть о том, что стали нашими испанцы Бальбы и знать Нарбонской Галлии? Потомки их — римляне, как и мы, не уступят нам в патриотизме. Отчего погибли Лакедемон и Афины? Оттого, что, будучи достаточно сильными, чтобы побеждать, они не умели обращаться с побежденными и оставляли их на положении чужеземцев. Не так поступал основатель нашего государства, мудрый Ромул: многие народы, которые поутру были врагами Рима, к вечеру, замирившись, становились его гражданами. Мне напоминают галльские войны: сенноны — Рим брали, галлы — наши вчерашние враги. Как будто мы никогда не сражались ни с вольсками, ни с эквами, не давали заложников тускам и не сдавались на ка-

питуляцию самнитам! «Уже соединенные с нами нравами, искусством, родством, пусть они (галлы) лучше принесут к нам свое золото и богатство, чем пользуются им отдельно от нас! Все, почтенные сенаторы, что теперь считается очень старым, было ново: после патрицийских магистратов явились плебейские; после плебейских латинские, после латинских магистраты из других народов Италии. И это (предлагаемое дарование магистратных прав галлам) со временем сделается старым, и то, что мы сегодня подкрепляем примерами, само будет в числе примеров».

(Тацит. Летопись. XI. 24. Пер. В.И. Модестова.)

Идиотическую репутацию, несомненно сопровождающую Клавдия в летописях трех основных историков, А. Тьерри относит на счет памфлетов, которыми мстила Клавдию аристократия, оскорбленная его симпатиями к провинциям, либеральным взглядом на иностранцев и корыстными злоупотреблениями на этой почве дворцовой камарильи: Мессалины и вольноотпущенников. «Я не имею намерения оправдывать все, что творилось вокруг этого государя, часто слишком слабого и

как бы слепого, но полагаю, что обвинения, на него взводимые, громадно преувеличены. Ведь ни один из цезарей не был так суров, когда дело шло об охране чести римского гражданства». Действительно, Светоний свидетельствует, что за самозванство римским гражданством, Клавдий рубил peregrinam головы на лобном месте Эсквилинского холма.

Как бы то ни было, нельзя не поверить слишком дружному летописному свидетельству, что у плачевного государя этого было в голове не все благополучно, и, что, за исключением немногих случаев жизни, он, и в домашнем своем быту, и в общественном представительстве, являл собой фигуру не только жалкую, но и противную. Слабохарактерный и свирепый, чудака-педант, буквоед-археолог и горький пьяница, редкий образец хорошей памяти научной и справочной адвокатской, но в то же время прямо чудовище житейской рассеянности, — Клавдий прожил жизнь невольным шутком, клоуном на троне, неистощимым источником насмешек и пикантных анекдотов для подданных, двора и собственной семьи. Как государь, Клавдий, по картин-

ному выражению Шампаньи, всегда и неизменно играл роль ручного слона, которого корнаки-вольноотпущенники направляли, куда хотели. Последние годы Клавдия достойны занять место в клинической летописи душевных болезней, как замечательно точный и последовательный пример старческого слабоумия.

Наконец должно упомянуть здесь, — хотя и в отдаленной степени Неронова родства, — Друза Цезаря (Младшего), кузена и друга Германикова, сына Тиберия от Випсании (739—776). Обладая блестящими способностями как воина, так и государственного человека, Друз отличался, однако, зверской жестокостью, чересчур увлекался гладиаторскими боями, любил видеть кровь, текущую из ран, высокомерно обращался с сенатом и, в свободное время, кутил в Риме так разнузданно, что отец нарочно придумывал для него дипломатические и военные поручения, чтобы занять сына делом и сбить из столицы. Якоби защищает репутацию Друза, как оклеветанную в интересах Германика, но, правду сказать, усердствует без особой к тому нужды,

так как яркой талантливости и сравнительной общественной порядочности этого принца историки не отрицают, а буйства и распутства его не представляются невероятными и необычайными, ни в общественности, ни в наследственности, которых он был результатом.

V

Брак Германика и Агриппины Старшей был благословлен детьми весьма обильно, но более чем несчастно. Из сыновей их, родных дядей императора Нерона, двое лучших были погублены кознями Сеяна, знаменитого Тибериева временщика. Однако, из них двоих, нравственно здоровым человеком можно считать, пожалуй, лишь старшего, — честолюбивого красавца Нерона Цезаря (ум. 784). Младший, Друз Цезарь (ум. 786), содействовал интригам Сеяна против старшего брата, по зависти к его положению в семье и к успехам в государственной карьере. Ходили слухи, будто он осквернил свое тело противоестественным развратом, играя роль женщины. Правда, обвинение это, исходя из уст заклятого врага Друза, Тиберия Цезаря, могло быть и

клеветою; но третий брат его, Кай Цезарь, потом император, более известный под кличкой Калигулы, действительно, был предан подобному же пороку и гласно в том обличен. Историческая репутация Калигулы слишком хорошо известна. Из числа, прославленных жестокостями и развратом, государей Рима, едва ли не все, не исключая Тиберия, Нерона, Домициана, нашли себе защитников и апологетов в конце девятнадцатого века, когда веяния империализма последовательно овладевали Францией Наполеона Третьего, Германией Бисмарка, Англией престарелой Виктории. Объединительный процесс германской империи особенно внушительно влиял на работников исторического знания, искушая их к реабилитации цезарей мотивами не столько научными, сколько политическими: тенденцией отстоять цезаризм, как союз и слияние демократии с монархией. Но, кажется, даже между историками-цезаристами не нашлось покуда ни одного охотника очистить память Кая Цезаря (р. 31 августа 765 г., ум. 24 января 794 г.) от тяготеющих на ней обвинений. Напротив, еще лет пятнадцать тому на-

зад, память римского безумца послужила в Германии материалом для научного памфлета «Калигула», быстро исчезнувшего из продажи, так как в герое брошюры этой кайзер Вильгельм II имел наивность узнать самого себя. Кай Цезарь был несомненно сумасшедший, одержимый маниями величия и преследования, меланхолик с буйными припадками, и очень хитрый и остроумный в светлые промежутки. Страдал он и падучей болезнью.

Дочери Германика Юлия Друзилла (770—791) и Юлия Ливилла (771—796) жили открыто в кровосмесительной связи с братом своим Каем Калигулой, в чем, по всей вероятности, не безгрешна осталась и третья сестра, то есть Агриппина, мать императора Нерона. По крайней мере, Светоний, обвиняя Калигулу в сожителстве с сестрами не делает в пользу Агриппины выключаящей оговорки. Впрочем, что касается Агриппины, то, даже помимо постыдного подозрения, брошенного на нее Светонием, она наполнила свою сравнительно недолгую жизнь (769—812) таким трагическим хаосом властолюбивых интриг, кровавых преступлений и расчетливого раз-

врата, что наследственность от нее не могла сулить сыну ее Нерону ничего доброго.

В заключение не лишним будет указать, что, уже в самом поколении императора Нерона и после его рождения, зловещий список его порочной родни увеличился еще двумя именами — эпилептика Британика (794—808) и меланхолички Октавии (795—815), — детей, в ту пору уже бесспорно слабоумного, пьяницы Клавдия и пресловутой Валерии Мессалины (ум. 801), безудержной нимфоманки, имя которой, обратясь в исторический синоним бесстыжей развратницы, стяжало незавидную вечную память.

В числе переименованных выше лиц, как мужчин, так и женщин, не насчитать и десяти умерших, несомненно, естественной смертью. Жизнь остальных прекратили кинжал, яд, веревка, голодная и холодная тюрьма, тяжелая ссылка, вынужденные и добровольные самоубийства. Всего же фамилия Цезарей, от Кая Юлия Цезаря Диктатора (ум. 719) до конечного пресечения рода в лице маленькой Клавдии Августы, дочери Нерона (ум. 816), имела в родстве и ближайшем свойстве сто

девять членов. Насильственная смерть постигла из них тридцать девять — более одной трети.

Несмотря на множество признаков психического вырождения, жизненная энергия расы Цезарей еще не иссякла. Из трех основных фамилий, слившихся в доме Августа, угасла совершенно одна — Антонии; последний представитель, Люций Антоний, сын М. Юлия Антония, умер изгнанником в 26 г. по Р. Х. Другая фамилия, Юлии-Октавии, в мужских своих представителях, была малодетна. Но третья, Клавдии, взявшая верх над двумя предыдущими, оказалась еще сильна и плодита, в особенности же ветвь ее, именуемая «домом Германика». У Агриппины и Германика было девять человек детей. Сестра Германика Ливилла, замужем за Друзом Цезарем, принесла близнецов (772). Бездетность и малодетность, свидетели конечного вырождения, стали сказываться только в детях Германика, в предпоследнем поколении Цезарей, полном, как мы видели, кровосмешении чуть не повального. В огромном большинстве, члены расы Цезарей — или очень сильные физи-

чески, или, по крайней мере, чрезвычайно выносливые, живучие люди. Те из них, кому не суждена была насильственная или случайная смерть в молодых годах от руки своей или вражеской, доживали до глубочайшей старости. Август, вопреки своему слабому здоровью, умер 76 лет, Ливия — 86, Антония Младшая — 76, Тиберий Цезарь, буквально изъеденный болезнями, — 77, да и то, в последнем случае, выйти из тела душе императора помог постельными подушками временщик Макрон, иначе старик пожил бы еще, быть может, долго.

VI

Обратимся к предкам императора Нерона со стороны отцовской. Какие свойства мог привить к отравленной крови Юлиев — Клавдиев — Антониев Кней Домиций Аэнобарб?

Наследственность Нерона в род отца была замечена и подчеркнута еще Светонием. Он прямо называет Нерона дегенератом фамилии Домициев Аэнобарбов, в котором вылиняли доблести предков, но уцелели наследственные и врожденные пороки.

Домиции, Gens Domitia — древний плебей-

ский род, славный в Риме чуть еще не с царей, аристократы самой чистой «голубой крови», настоящая «белая кость». Уже на заре римской республики, в начале пятого века до Р. Х., родословное дерево Домициев разделилось на две ветви, самостоятельных одна от другой, — на Домициев Аэнобарбов, то есть Меднобородых, и Домициев Кальвинов, то есть Лысых. В корне первой ветви, от которой, по прямой, ни разу не прерванной линии, произошел император Нерон, стоит Люций Домиций, легендарный боговидец, возвестивший народу и сенату римскому о победе диктатора Авла Постумия над латинами при Регильском озере (258 г. Рима, 496 до Р. Х.). Кастор и Поллукс, божественные близнецы Диоскуры, открыли Домицию это благое событие, нетерпеливо ожидаемое всем Римом, в сверхъестественном видении. Когда он им не поверил, то они, в знамение и в наказание, возложили длани на лицо Домиция, и, ранее черная, борода его покраснела, как огонь, и стала отливать медью. Отсюда и прозвище Аэнобарба, Меднобородого. Оно укрепилось в народе за потомками Люция, было сохранено

ими, когда род вошел в патрицианскую среду, и затем, наследственно, из поколения в поколение, переходило к мужским представителям фамилии. Со временем чуда рыжие бороды не переводились в фамилии Домициев Аэнобарбов, сделавшись их отличительной приметой. Кровных Домициев узнавали в Риме по типически рыжим бородам, как в новых веках Бурбонов — по изогнутому в орлиный клюв, хищному носу, Габсбургов — по тяжелому подбородку, потомство Павла I — по «виртембергским» сероголубым глазам супруги его императрицы Марии Федоровны и т.д. Чудо превращения брюнета Домиция в рыжего Аэнобарба одно из самых громких в ряду религиозных преданий Рима, хотя сказка эта — греческого происхождения. Память чуда надолго пережила саму фамилию Аэнобарбов. Еще в начале третьего века по Р. Х. о нем говорит с насмешкой Тертуллиан. «Но к чему приводить чудеса и обаяния сих лживых духов, описывать призраки под личиною Кастора и Поллукса, выставлять за диво воду, носимую весталкою в сите, корабль, влекомый поясом, бороду, вдруг делающуюся рыжею? За-

чем изобретены все подобные чудесничества? Затем, чтобы заставить поклоняться камню в предосуждение истинному Богу». (Апология, XXII.)

О храме, воздвигнутом Диоскурам, в память их явления, — конечно, затем много раз перестроенном, — и сейчас напоминают посетителям Рима три прелестные колонны у подножия Палатинского холма, одно из лучших украшений панорамы Форума.

Летопись фамилии Домициев Аэнобарбов блистательна. Семь консульств, два триумфа и две цензуры соединены в истории республиканского Рима с именами Аэнобарбов, а настоящая сила их была еще впереди — им дал ход Август. «Достопримечательна особенность в роду Домициев, — говорит, в эпоху Тиберия, историк Веллей Патеркул: — насколько фамилия эта знатна происхождением и славными карьерами, настолько же она бедна числом членов своих. Включая сюда и нынешнего Кн. Домиция (это будущий отец Нерона), юношу благороднейшей обходительности (*nobilissimas simplicietatis*), все Домиции (почти всегда) были в семьях своих един-

ственными сыновьями. Зато все выслуживались кто до консульства, кто до высоких жреческих степеней, и почти все удостоены были знаками триумфальных отличий». Следя за историческим движением рода, нельзя не заметить, что, упорно передавая по наследству физический тип, поколения единственных сыновей оказались не менее упорными и цельными передатчиками наследственности психической. Уже отдаленные предки цезаря Нерона проявляли из ряда вон выходящие высокомерие, дерзость, самодурство, тщеславие, склонность к скоморошеству, любострастие и жизнелюбие, столь властно расцветавшие потом в самом Нероне, последнем и наиболее законченном из Аэнобарбов.

Пращур Нерона, консул 632 г., Кн. Домиций Аэнобарб, — в этой фамилии Кней и Люций чередовались в поколениях, как излюбленные личные имена, хотя и не всегда в правильной последовательности от отца к сыну, — пращур Нерона, герой галльских войн, победитель аллоброгов и арвернов, устроил себе нечто вроде самовольного триумфа: проехал свою провинцию, восседая на военном

слоне, окруженный почетным караулом. Должно быть, эта выходка произвела в свое время большой соблазн, потому что, даже два с половиной века спустя, Светоний отметил ее в своем родословии Нерона с явным неодобрением. Это был человек коварный. Царя арвернов он захватил в мирное время, с нарушением всех приличий гостеприимства, так что даже сконфузил тем римский сенат. Практический результат его действий, т.е. пленного вождя, приняли: уж слишком был выгоден, — но без благодарности, — и образца действий Домиция не одобрили. Будучи назначен цензором, Кн. Домиций исключил из сенатского сословия сто пятнадцать человек. Валерий Максим рассказывает об этом Домиции, что, когда он, в бытность свою трибуном, враждовал с знаменитым «принцепсом сената», М. Эмилием Скавром, один из рабов последнего предложил Домицию купить компрометирующие Скавра сведения. Гордый магнат, поколебавшись немного, арестовал изменника раба и отослал в распоряжение господина: так единство классового интереса победило в рабовладельце чувство личной

вражды и азарт политической борьбы. Поступок этот послужил Домицию хорошей рекламой, создал ему громадную популярность и укрепил его дальнейшую карьеру. Он последовательно был консулом, цензором и великим жрецом (*pontifex maximus*). См. родосл. табл. на стр. 40.

О сыне его, либеральном преобразователе выборов римского жречества (впрочем, либерализм Домиция родился из личных счетов с жреческой корпорацией), но нетерпимом гонителе латинских школ красноречия, товарищ его по цензуре (662 г.) и политический противник, оратор Лициний Красс, пустил знаменитую остроту, что не диво, если растет медная борода у того, кому природой отпущены чугунный лоб и свинцовое сердце. Злой каламбур, метко попав в цель, пережил полтора столетия и, снова войдя в моду, повторялся при цезаре Нероне.

Умеренный, деликатный писатель-обыватель, Плиний Старший характеризует чугунолобого Домиция как человека бешеного по природе (*vehemens natura*), да еще обозленного ревнивой ненавистью к блестящему и ост-

роумному Лицинию Крассу. Они вечно ругались «по несходству характеров». Однажды Кн. Домиций вообразил поддеть ненавистного коллегу, обвинив его в безумной роскоши, несогласной с саном цензора. Анекдот этот одинаково, с незначительными вариантами, рассказывают Валерий Максим и Плиний Старший. Домиций придрался к колоннам из греческого Гиметского мрамора, которыми Л. Красс, первый в Риме, украсил дворец свой. Л. Красс, выслушав речь своего противника, хладнокровно спрашивает:

— Во сколько ты ценишь дворец мой?

— В шесть миллионов сестерциев (600,000 рублей){3}.

— Хорошо. А если я срублю лотосовые деревья перед ним?

— Даю половину. (По Плинию: не дам ни единого динария).

— Граждане! — обращается Л. Красс к публике, — смотрите: кто из нас более годится в цензоры? Я ли — заплативший сто тысяч сестерций (10,000 рублей) за мраморные колонны, или

— этот господин, который согласен пла-

тить три миллиона сестерций (300,000 рублей) за тень от маленьких деревьев?..

Брат «чугунолобого» Кнея, претор Люций Д.А. отличился, в звании генерал-губернатора Сицилии, таким удивительным деянием. Какой-то пастух принес ему в дар гигантского вепря. Домиций, изумленный величиной чудовищного зверя, спрашивает: чем ты его убил? Пастух отвечает: рогатиной. Тогда Домиций приказывает казнить пастуха чрез распятие на кресте. Потому что незадолго пред тем он, под предлогом борьбы с разбойничеством, в действительности же в страхе пред восстанием рабов, опубликовал приказ, которым населению Сицилии воспрещалось хранить какое бы то ни было оружие. «Может быть, — оговаривается Валерий Максим, сообщая этот любопытный административный анекдот, — иные скажут, что это уже не строгость, а свирепость; да, правду сказать, в деле есть за что определить его и тем, и другим именем; но соображения государственные никак не позволяют нам обвинять претора Домиция в исключительной жестокости».

Сын К. Домиция с чугунным лбом, Люций,

консул 700 года, один из самых важных и влиятельных деятелей аристократической партии, имевшей во главе Помпея Великого против Юлия Цезаря. К последнему Домиций пылал не только политической, но и неукротимой личной враждой, на которую Цезарь, кажется, отвечал презрением. По крайней мере, взяв Домиция в плен при капитуляции Корфиниума, Цезарь не позаботился даже обезопасить себя от него в дальнейшем и отпустил его на все четыре стороны. В случае победы аристократов, предполагалось сделать Домиция наместником обеих Галлий, с теми же правами и с той же долгосрочностью проконсульских полномочий, какие имел Юлий Цезарь.

Домиций слыл за человека непостоянного характера, бурного нрава и строптивого ума. То есть был честолюбцем высокого о себе мнения, но на самом деле далеко не орлиного полета, с умом поверхностным и легкомысленным, руководимый свирепыми сословными предрассудками, вместо политической программы, личными злобами и предубеждениями, вместо государственных принципов,

лишенный всякого благородства и великодушия в приемах борьбы и, вдобавок ко всем недостаткам, одержимый духом бестолкового противоречия, жаждой своего особого мнения и несноснейшим упрямством. При столь незавидных качествах, Л. Домиций был для дела Помпея другом опаснее врага.

Его военной бездарности и нежеланию считаться с дисциплиной по высшей команде обязаны Помпей и сенат бесславной потерей Корфиниума, решившей проигрыш помпеянами войны с Цезарем в Италии. Сдача Корфиниума отдала в руки Цезаря сильнейшую стратегическую базу и совершенно свежий корпус неприятельских резервов. Неудачный комендант и полководец, Домиций не сумел сохранить в этой некрасивой капитуляции и человеческого своего достоинства. Сначала он вошел было в заговор с офицерами своего штаба бежать от вверенного ему гарнизона, оставив, таким образом, на суровую расправу победителя бескомандную и ни в какой политике не повинную массу нижних чинов. Однако солдаты не дались в обман и, проведав замыслы начальства, открытым военным

бунтом заставили недобросовестных вождей разделить участь общего плена. Тогда Домиций попробовал отравиться. Врач его, раб, умышленно дал господину, вместо яда, сонный порошок. Узнав о том, самоубийца, уже помилованный Цезарем, обнаружил восторг совсем не римского жизнелюбия и, в порыве благодарности, даже отпустил догадливого врача на волю. Нежный к себе, жизнелюбец этот мало церемонился, когда дело шло о других. В македонской эмиграции, когда помпеянцы, заранее уверенные в победе над Цезарем, проектировали способы дальнейшего возмездия и подавления демократии, Домиций явился оратором крайних террористических требований: настаивал на поголовном истреблении не только всех, явно стоявших за Цезаря и демократию, но и тех, которые, воздержавшись примкнуть к какой-либо партии междоусобия, оставались нейтральными зрителями войны. Редко принцип «кто не с нами, тот против нас» провозглашался с большей наглостью и жестокостью. К счастью, террористические намерения помпеянцев были быстро и решительно рассеяны страш-

ным фарсальским разгромом. Домиций погиб в этой битве (6 июня 708), изрубленный конницей Марка Антония, от натиска которой бежал со своим отрядом.

Совершенной противоположностью и отцу своему, сицилианскому проконсулу, суллианцу Люцию, и кузену, плачевному герою Корфиниума, является вождь народной партии, Кней, зять Цинны, изгнанный в 82 году Суллой в качестве энергического марианца. В Африке он успел собрать рассеянных членов партии и, во главе значительной армии, угрожал, по примеру Мария, но еще серьезнее, переправиться в Италию для новой междоусобной войны. Высланному против него с громадным флотом Помпею удалось быстро разбить Домиция при Утике благодаря измене части его солдат и нападению врасплох, в ужасную бурю. По Плутарху — Домиций пал в битве, сражаясь в первых рядах. По Валерию Максиму — казнен Помпеем. Валерий Максим называет Домиция человеком «знатнейшего рода, безупречной жизни, искренно приверженным к отечеству» и с видимым неодобрением относится к Помпею, жестоко

и несправедливо казнившему Кнея Домиция Аэнобарба «во цвете его лет».

Не лучшим корфиниотского героя вышел и следующий отпрыск рода, участник заговора на смерть Юлия Цезаря, прадед императора Нерона. Это перебежчик по натуре. Во время гражданских войн, вызванных убийством диктатора, Домиций успел послужить всем лагерям. Сперва стоял за Брута и, командуя республиканским флотом, очистил Ионическое море от кораблей триумвиров. После роковой битвы при Филиппах, где пали на мечи свои «последние римляне», подчинился триумвиру Антонию, стал его другом и адмиралом его флота. Но когда битва при Акциуме склонила солнце Антония к закату, Домиций, с той же развязной легкостью, перешел на сторону победителя Октавиана. Выгод от последнего своего переметничества он не успел получить, так как вскоре умер от малярии. Римские историки хвалят его строптивость против Клеопатры, которой он упорно отказывал в титуле царицы, но с отвращением говорят об измене Антонию — тем более позорной, что Аэнобарб решился на нее в угоду сво-

ей любовнице, некой Сервилии Наиде. Читателям, знакомым с Шекспиром, Аэнобарб этот должен быть памятен из трагедии «Антоний и Клеопатра». В лице его великий поэт, с поразительной художественной прозорливостью, создал собирательный фамильный тип Домициев Аэнобарбов, одинаково и одновременно способных и на гнуснейшие подлости, и на величайшие, истинно героические дела.

Дед императора Нерона, консул 738 года, ученый стратег, прославленный и талантом и счастьем, завоевал себе триумф в германской войне, проникнув в земли за Эльбой дальше, чем кто-либо из прежних полководцев. Но его не любили за хвастливую надменность, вызывающее мотовство, а главное, за в высшей степени недоброжелательный и наглый характер. Любопытно, что в деде оказывалась склонность к артистическим чудачествам, нелестно прославившим впоследствии внука. В бытность свою претором и консулом, Домиций понуждал всадников и благородных дам к участию в театральных представлениях. Он устраивал звериные травли не только в цирке, но завел для них арены во всех кварталах

города; игры же гладиаторов обратил в такую безмерную бойню, что император Август был вынужден сдержать их свирепость нарочным указом, так как частные замечания и увещания его оставались бесплодными. Тем не менее, несомненна дружба этого грубого и необузданного магната с его укротителем Августом. Под духовным завещанием Августа значится подпись Люция Домиция, триумфатора, как душеприказчика, и он, первый из Аэнобарбов, вошел в родство с домом Цезарей, через женитьбу на Антонии (Старшей), дочери Октавии, любимой сестры Августа, от несчастного брака ее с М. Антонием, триумвиром.

VII

Плод союза Л. Домиция (ум. 778) и добродетельной Антонии, Кней Домиций, отец Нерона, приходится, таким образом, Августу двоюродным внуком, Антонию родным, — что устанавливает для Нерона вторичную родственную связь с обоими соперниками-триумвирами, даже одним коленом ближайшую, чем по материнской линии: через Аэнобарбов Нерон Антонию — родной правнук, Августу —

двоюродный.

Светоний называет отца Неронова вырожденком, противным во всех отношениях, *omni parte vitae detestabilem*, изображая его как дикого самодура, существо ненавистное, свирепое, грубое, низкое. Еще юношей, Домиций компрометировал себя зверским убийством одного вольноотпущенника, который отказался выпить, в угоду ему, какую-то чудовищную меру вина. Он же, катаясь по Аппиевой дороге, нарочно раздавил прохожего мальчика. Он же, среди бела дня, заспорив на форуме с одним всадником, вышиб ему глаз кулаком. Он надувал банкиров, ловко увертывался от кредиторов, ухитрялся даже, заведя бегами, не платить наездникам взятых ими призов. Характеристика Кн. Домиция Светонием получила твердые права гражданства в позднейшей исторической литературе. Однако, не позволяя себе сомневаться в общей справедливости этой характеристики, можно предположить в то же время, что она почерпнута Светонием из какого-нибудь очень враждебного Цезарям источника, и оттого краски ее слишком сгущены. Современный Кн. Доми-

цию историк Веллей Патеркул называет его «юношей благороднейшей порядочности», *nobilissimae simplicitatis juvenis*. Еще более примечательно, что Тацит, которому все подобные анекдоты о родителе ненавистного ему Нерона были бы очень кстати для его полемической против цезаризма летописи, ни разу не обмолвился дурным словом о Домиции и его похождениях. При Тиберии, в последний год его правления (790), Домиций попал в государственную тюрьму, как политический преступник, по доносу об оскорблении величества и прикосновенности к заговору на жизнь государя, и как уголовный, по обвинению в кровосмешении с сестрой своей Домицией Лепидой. С ней читателю случится встретиться еще неоднократно. В данном месте важно лишь отметить, что она родная мать Валерии Мессалины, прижитой Лепидою в браке с Валерием Мессалою Бородатым. Хороша семья, где брат дает жизнь Нерону, а сестра рождает Мессалину!.. Последняя, таким образом, приходится Нерону двоюродной сестрой. Родственное сходство характеров между ними очень заметно. Другая сестра

Аэнобарба, тетка Нерона, Домиция, оставила в истории след только яркой и весьма неразборчивой в средствах, ненавистью, которую она питала к своей невестке, Агриппине Младшей, в чем, впрочем, не уступала ей и сестра Лепида. (См. родосл. табл, на стр. 50.)

От неминуемой казни Кн. Домиция спасла смерть старого императора Тиберия, которую Аэнобарб счастливо выждал, оттянув суд под предлогом будто готовится к защите.

Брак Домиция с Агриппиной, заключенный, по воле Тиберия, в 781 г., оставался бездетным слишком восемь лет. Оно и не удивительно, если принять во внимание огромную разницу возраста между старым пятидесятилетним мужем, к тому же истощенным всяческими распутствами, и молоденькой женой, едва вышедшей из детства. Впрочем, как видно, будущая змея давала чувствовать себя уже в юном змееныше. По крайней мере, Домиций хорошо знал цену своей супруге и находил, что они друг друга стоят. — Уж если от меня с Агриппиной родится что-нибудь, — говорил он с цинической откровенностью, — то, наверное, такое чудовище, что не поздоро-

вится от него обществу (negavit quidquam ex se et Agrippina nisi detestabile et malo publico nasci potuisse).

Некоторым исследователям, охочим до романтических гипотез, непременно желательно, чтобы брак Домиция и Агриппины был очень несчастлив. Можно, однако, весьма сомневаться в том, хотя и не на таком шатком и наивном основании, как берет Герман Шиллер, который любовь Домиция к жене доказывает тем пикантным расчетом, что Нерон родился у этой сомнительной четы 15 декабря 790 г., а Кн. Домиций был выпущен из тюрьмы аккуратно за девять месяцев перед тем, 16 марта, и, следовательно, немедленно по освобождении отправился к Агриппине и привел ее в беременное состояние. Эта подробность является интересной разве лишь в том отношении, что через нее мы получаем право рассматривать зачатие Нерона, как результат вынужденного тюремного воздержания и, к прочим факторам вырождения, влиявшим на несчастного ребенка, прибавить еще нравственные и телесные страдания, которыми измучила отца его суровая римская тюрьма.

Более серьезное указание, что брак не был тяжел Агриппине, следует видеть в том, что супруги не развелись, хотя имели к тому много удобных случаев и предлогов: долгое неплодие Агриппины, политический и противонравственный процесс Домиция при Тиберии, фавор и потом ссылка Агриппины при Кае Цезаре. А ведь дело происходило в веке, когда взять и дать развод не почиталось ни трудным делом, ни предосудительным, и, по сатирической гиперболе, многие дамы считали своих мужей по консулам.

Итак, ровно девять месяцев спустя после освобождения Кн. Домиция из тюрьмы, родился у него от Агриппины единственный сын, нареченный, в обычном порядке фамильного чередования, Люцием Домицием. Существует легенда, будто, приняв младенца на руки, нежный родитель напутствовал дитя в свет следующей пророческой насмешкой:

— Ну, сынок, если ты удашься в меня, твоего отца, и в Агриппину, твою мать, то быть тебе пугалом и палачом вселенной!

Другая легенда уверяет, и не без вероятности, что имя Люция наречено новорожденно-

му Каем Цезарем. Немецкий биограф Агриппины, Штар полагает, будто Калигула назвал мальчика не Люцием, но Клавдием. Это возможно, потому что в роду Клавдиев не любили имени Люций и почитали его несчастным, так как один из двух Люциев Клавдиева рода был осужден за разбой, а другой за убийство. Именно в замену несчастного имени и ввели Клавдии в свой фамильный календарь сабинское имя Нерон, которое обозначает «храбрый», «отважный». Однако утверждение Штара голословно и одиноко в литературе.

Возникло же оно из рассказа Светония (Nero, VI, 25), будто на девятый день после родов, в день очищения (*die lustrico*), Агриппина, представляясь ко двору, получила еще наглядное предзнаменование будущих недобрых судеб своего детища. К. Цезарь, побуждаемый сестрой дать ребенку имя по его, государеву, выбору, шутовал, как всегда: вызвал из свиты дядю своего Клавдия (впоследствии принцепса, который женился на Агриппине и усыновил Нерона) и предложил: вот, бери его имя! Все поняли, что это — не серьезно, а только, чтобы подразнить Агриппину злой

шуткой, потому что в то время Клавдий был посмешищем всего дворца (*inter ludibria aulae erat*). Агриппина с презрением отказалась, но безумный Калигула оказался пророком, сам того не желая. Анекдот настолько в духе эпохи и в характере Кая Цезаря, что его можно считать вероятным. Во французской литературе скользили иногда намеки, что Нерон легко мог быть сыном державного дяди своего, Кая Цезаря. Но в пользу такой гипотезы — весьма соблазнительной для заключительного аккорда тяжелой наследственности — нет решительно никаких данных, кроме беспредельной половой распущенности Калигулы и, засвидетельствованной Тацитом, готовности Агриппины проституировать тело свое, не стесняясь ни саном, ни родством, во всех случаях, когда ей было выгодно. Полагаю, что если бы подобные догадки, выращенные фривольным воображением XVIII и XIX веков, приходили в голову людям древности, то они оставили бы след у Светония, Ювенала, Плиния Старшего и др., как оставили его — в сплетнях, сатирах, эпиграммах — другие кривосмещения и семейные безобразия тех же

самых лиц.

Роды достались Агриппине тяжело: ребенок вышел ногами вперед. Восходящее солнце, хотя лик его стоял еще за горизонтом, озарило новорожденного лучами, прежде чем его, по римскому обычаю, положили наземь. Придворный астролог Фразилл Младший составил гороскоп младенца. Он обещал, что мальчик достигнет верховной власти, но убьет свою мать. Агриппина возразила классической фразой:

— Пусть убьет, лишь бы государем был.

Если этот анекдот — басня, то очень хорошо выдуманная. Молоденькой роженице, будто бы произнесшей, в порыве фантастического властолюбия, гордые слова столь огромной и зрелой страсти, шел тогда всего двадцать третий год.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛЮЦИЙ ДОМИЦИЙ АЭНОБАРБ

Детство будущего императора сложилось тяжело и безрадостно. Мать, родив Люция, немедленно о нем позабыла, — сдала на руки двум кормилицам-гречанкам, Эклоге и Александрии. Об этих женщинах можно сказать, что они служили своему господину, с буквальнойностью, от первого часа его пребывания на земле до последнего, потому что, со временем, их старые руки зажгли погребальный костер Нерона. Агриппина, — сестра и, может быть, любовница нового принцепса Кая Цезаря, — вся ушла в придворную жизнь и дворцовые интриги. Муж ее, старый и уже с разрушенным здоровьем человек, по-видимому, от нее отступился. Он покинул Рим и поселился в этрурийском курорте Пиргах (порт древнего Цере, ныне развалины близ деревни Черветри), на берегу Средиземного моря, чтобы лечиться от водяной болезни, а может быть, чтобы, под предлогом лечения, избавиться от

унизительного присутствия при дворе, где Агрипина так дерзко и его, и себя компрометировала. В Пиргах и умер последний из Аэнобарбов в 792 г., задушенный водянкой. Люцию тогда только что исполнилось три года. Смерть отца, к тому же заочная для сына, разумеется, не могла остаться в памяти такого маленького мальчика и не составила для него особого несчастья. Впоследствии, усыновленный Клавдием Цезарем, Нерон обижался, если его называли по старой, кровной фамилии, Аэнобарбов. Но, став государем, он проявил, очень неожиданно для всех, а может быть и для самого себя, какую-то особую, романтическую привязанность к памяти своего родного отца: выпросил для него у сената статую и настоял, чтобы день его рождения, 11 декабря, был включен в поминание Арвальских братьев.

Нам часто придется встречаться с именем Арвальского братства. Это любопытнейшее религиозно-государственное учреждение пережило все ступени эволюции Римского государства: родилось оно ранее Рима и умерло лишь накануне смерти самого Рима. *Arvum*, *arva* значит пахотная земля, готовая к посеву. *Arvales fratres*, братья Арвалы, — орден землепашцев. Легенда приписывает его основание 12 братьям, — сыновьям мифической Акки Ларенции. *Асса*, *Атта*, в санскрите *Акка*, значит «мать». *Акка Ларенция* — буквально: «мать Ларов». Именно так и чтилась она в Риме, как мать Ларов, богов домашнего хозяйства, блюстителей севооборота, хранителей плодотворящей почвы в смене двенадцати месяцев года. Таким образом, символика мифа ясна и проста: пред нами культ оседлой цивилизации, созданной переходом народа от жизни полукочевыми пастушескими кланами к родовому союзу хозяев-земледельцев, нашедших идею общественной земли. Когда эпитет «мать ларов», «Акка Ларенция», обра-

тился в народном представлении именем собственным, он оброс сказками, в которых звучит много мифологических пережитков и исторических воспоминаний. Акка Ларенция оказывается иногда пастушкой, фавной, женой Фаустула, который, в свою очередь, не то пастух, не то леший Палатинского холма, кормилицей Ромула и Рема; иногда богатой проституткой, которая, в эпоху Ромула или Анка Марция, завещала римскому народу свои громадные земли. Примешивались к мифу чудесные сказки о весталке Рее Сильвии, обольщенной Марсом; о Геркулесе, наградившем Акку Ларенцию за ее услуги, как проститутки, всеми богатствами туска Таруция (т.е. Землевладельца); о чудесной волчице, питавшей Ромула и Рема. Примешивалась игра словом Лира, которое в позднейшие времена стало обозначать не только волчицу, но и проститутку. Примешивалось историческое воспоминание о весталке Гайе Тарации (Землевладелице), действительно, завещавшей народу римскому значительный участок земель по Тибру. В историческое бытие Акки Ларенции римляне верили настолько, что еще Ка-

тон-цензор брался указать достоверно, какие именно урочища достались от нее Риму.

В течение веков культ раздробился. Этой Акке Ларенции — земной, человеческой, — кто бы она ни была, пастушка или проститутка, — первобытной святой римского народа, благодетельнице перво-Рима на Палатинском холме, — воздавался почет в пределах самого Рима, на Велабре, где предполагалась ее гробница. День ее праздника был 23 декабря, в символическую пору пробуждения земли от зимней спячки, в канун Рождества Непобедимого Солнца. Ту Акку Ларенцию, идеальную, — обожествленную творческую силу принадлежащей городу пахотной земли, — Рим, развиваясь из деревни в город, увел туда, где и было естественно ей царить: в поля, на границу своих пахотей, за пять миль от черты начального города. Здесь она — божественная богиня, Dea Dia, — перестала быть узким палатинским божеством, и храм ее, как предполагает Гофман, сделался святилищем туско-латинского союза. Ее праздники справлялись в начале мая, в пору сева, с колебанием чисел на десять дней, по предвари-

тельному назначению коллегии арвалов, которое определялось и объявлялось 23 декабря — следовательно, в день римских Ларентиналий. Если сопоставить календарные числа, то окажется, что обоими праздниками мы становимся в близкое соседство хлебных праздником христианского славянства — зимнего и вешнего Николы. Год арвалов считался и должностные лица их сохраняли правомочия свои — «с праздника посева до праздника посева» — «a Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda». Применить к русским понятиям, будет почти как раз — с Никольщины по Никольщину.

В эпоху принципата братство Арвалов — самая аристократическая, священная и замкнутая из всех духовных корпораций. Я не хочу назвать ее жреческой, потому что со словом «жречество» в русском языке сливается понятие профессионального священства, тогда как именно этого-то элемента в корпорации Арвалов и не было. Эта коллегия мистического земледелия скорее напоминала фран-масонскую ложу, под условием той, непри-вычной для нас, разницы, что она была не

только признана государством, но и стала его символом-выразителем. Нет никаких точных сведений об арвалах в республиканскую эпоху Рима. Думают, что их братство было в упадке до Августа, который, в старании укрепить конституцию принципата, старался найти ему опору в консервативных симпатиях римского народа и, разыгрывая роль «нового Ромула», восстановил и оживил много архаических пережитков первобытного культа. К братству Арвалов могли принадлежать только члены самых старинных фамилий Рима, по возможности восходивших родословием к эпохе основателей — первых пахарей в долинах семихолмного города. В арвальских протоколах 39 г. по Р. Х. братьями-арвалами оказываются почти сплошь баре с многовековыми родословными: Павел Фабий Персик, К. Кальпурний Пизон, Аппий Юний Силан, Кн. Домиций Аэнобарб, тот самый, с которого пошла у нас речь об арвалах, отец Нерона. Отмечается членство М. Фурия Камилла, последнего потомка великого воина, покорившего Вейи. Честью быть в числе 12 арвалов гордились лучшие императоры. Двое из них — Ан-

тонин Пий и Марк Аврелий — оставили свои бюсты в ритуальных знаках арвалов. Членство было пожизненное, причем звание своего брат-арвал не мог быть лишен государством ни в каком случае, сохранял его даже в плену и в изгнании. В год своего междоусобия и битвы при Бедриаке, враждующие императоры, Отон и Вителлий, оба были и остались в составе арвалов. Доступ в арвалы был, надо думать, очень труден. Протоколы арвальского ордена никогда не исчисляют братьев-арвалов в полном комплекте двенадцати: самое большое, что их сходится девять. Верный знак, что, с вымиранием коренной землевладельческой аристократии, магнатов от мужицкого корня, не легко было пополнять этот комплект, и избытка в членах, выражаемого в корпорациях параллельным комплектом кандидатов-заместителей, никогда не имелось. Во главе братства стоял ежегодно (по календарю братства) сменяемый *magister*. Первым, предполагается, был основатель государства, Ромул. В императорский период (обобщая сюда и принципат) магистром, по всей вероятности, был пожизненно всегда сам им-

ператор, почему фактически управлял орде-
ном назначаемый им *promagister*. В восьми-
десятых годах первого века по Р. Х. в протоко-
лах арвалов прибавляются жреческие долж-
ности: *flamen* и, как заместитель, *proflamen*.
Если один из братьев умирал, *magister* назна-
чал ему преемника, непременно в присут-
ствии других братьев. В порядке этом, как и
в названии обряда — *cooptatio*, сохранилось
свидетельство, что в республиканскую эпоху
составы арвалов возобновлялись, действи-
тельно, чрез кооптацию в коллегиально-изби-
рательном порядке. Официальным и всена-
родным проявлением жизни ордена был вы-
шеупомянутый майский трехдневный празд-
ник. Его символика была искусно и осмыс-
ленно пригнана к естественному движению
земледельческого года, и братья Ар-
валы, как жнецы, украшали себя венками из колосьев.
Даже в третьем по Р. Х. веке, когда Рим давно
уже перестал быть земледельческим государ-
ством, ел чужой, африканский хлеб и должен
был совершенно утратить не только привыч-
ки, но даже легенду собственного землече-
дия, — даже и тогда в обрядах праздника

арвалов как будто еще сквозят черты возникновения его из соседской «помочи» первобытному земледельцу-хозяину (начало и конец празднества пиром в доме магистра, раздача денежных подарков), а если идти глубже в века, то — из начала посевных работ сразу всем земледельческим кланом, после общественного богослужения, по указу и распоряжку главы рода. Центром празднества была загородная роща «божественной Богини», *Iucus Deae Diae*. Это, как сказано, в пяти милях от Рима по Кампанской дороге, на правом берегу Тибра, под холмами с выразительным нынешним именем «Замучь осла» — *Affoga l'Asino*, в виноградниках Чиккарели. Здесь некогда была кружная межа, граница пахотной земли первобытного Рима. В вековой заповедной роще, ветхих деревьев которой никогда не касались топор и пила, находилось святилище ордена арвалов: храм *Deae Diae*, капелла в честь императоров (*Caesareum*), зрелищные сооружения. Развалины Цезареума и даже ниши со статуями императоров были видимы и зарисованы еще в XVI веке. Опять таки ритуальный консерватизм франмасон-

ства напоминает окаменелый обряд Арвальского братства, донесший неприкосновенными до вершин римской цивилизации точные следы доисторической первокультуры. Так, в Арвальском братстве не допускалось употребление железа: знак, что корпорация возникла ранее, чем этот металл проник в земледельческий обиход, и что, в эпоху даже этого доисторического новшества, она уже была консервативна. (Фридлэндер). Столько же любопытным пережитком первобытной культуры представляется символическая трапеза-жертва арвалов пред архаическими глиняными горшками (olla), бережно сохранявшимися в их храме. Новейшие раскопки на месте бывшей рощи Арвалов обнаружили черепки этих первобытных корчаг. Археологи признали, что их грубая фабрикация тождественна с фабрикацией осколков от сосудов, найденных под слоями пеперина — то есть лавы, рожденной вулканами Албанских гор, потухшими в доисторические времена. Моммсен считает эти божественные горшки реликвиями глубокой, незапамятной древности, когда люди не умели еще печь хлебов, но парили

зерно в корчагах, как кашу. Торжественный гимн Арвалов — древнейший памятник латинской литературы, до нас дошедший. Его язык устарел и стал темен для самих арвалов уже за 400 лет до Цицерона. Однако, протокол, в котором дошел до нас этот гимн, относится к 218 г. по Р. Х., к эпохе императора Гелиогабала, когда, по сравнению Моммсена, архаический язык арвальского требника был так же непонятен арвалам, как «Кирие Элейсон» — пономарю в каком-нибудь современном католическом захолустье. Время как будто имеет жалость к этим мистическим бессмыслицам. Оно отняло у потомства тысячи блестящих памятников расцвета и силы римской культуры, но насмешливо сберегло наивный лепет ее младенчества, ее предрасветной поры. Прошла, говорит Фридлэндер, добрая тысяча лет с тех пор, как братья-землепашцы впервые возгласили свою молитву к Dea Dia. Город на Тибре стал центром всемирной монархии, пережил свое утро и полдень и уже склонялся к вечеру. На троне, который создал Август, сидел презренный сириец, жрец Солнца. И все продолжала звучать ста-

рая песнь сатурнийским стихом, к словам которой с благоговением прислушивались еще цари римские:

Enos, Lases, juvate!

Neve luerve, Marmar, sins incurrere in pleores!

Satur fu, fere Mars... ect.

(Нам, Лазы, помогите!

**Ни смерти, ни вреда, Марс, Марс,
перестань устремляться на множество!**

Сыт будь, свирепый Марс и т.д.)

Загадочный текст песни арвалов, найденный в 1778 г., подвергся расшифровке и обработке бесчисленных ученых, среди которых мы встречаем такие величины, как Марини, положивший в 1795 г. начало научной разработке материалов об арвалах, как Моммсен, Бюхселер, Марквардт, Иордан, Генцен, Манихардт. Тем не менее, их совместным усилиям удалось выкроить из этой мраморной загадки лишь вышеприведенный спорный и темный текст, который весьма напоминает деревенские заговоры от болезней, напастей и общественных бед. Покойный Модестов узнавал в его ритме размеры нашего Кольцова. С этой

молитвой, исполнявшейся антифонным пением, переплеталось нечто вроде эктеньи за упокой и за здоровье держателей государства. Так как пение или чтение эктеньи сопровождалось торжественными жестами и мистическим шествием, то получалось нечто вроде великого выхода в обедне, когда священнослужители молятся за царствующий дом. Надо сознаться, что трудный славянский текст Херувимской, в перерыве которой совершается великий выход, «дориносима чинми» и прочие архаизмы не более понятны большинству русских богомольцев, чем было римлянам в императорскую эпоху арвальское — «*Neve hierve, Marmar, sins incurrere in pleores!*» Для того, чтобы арвальский гимн исполнялся без ошибок, предварительно вручались участникам церемонии, совершавшейся только один раз в год, таблички с тщательно выверенным его текстом. Каменные таблицы, на которых были иссечены протоколы празднеств Арвальского общества, его жертв, молитв, банкетов, спектаклей и скачек, найдены, в значительном количестве, частью в Риме, частью при раскопках в быв-

шей роще Deae Diae. Благодаря трудам германских ученых, Acta Arvalia восстановлены для 58 и 59 гг. христианской эры, т.е. как раз для интереснейшего времени правления Нерона, обрывки же их рассыпаны на пространстве двух слишком веков, от 14 по 241-й. Это драгоценный ключ к изучению римского культа. Наиболее цельный, важный и обильный материал дает протокол 218 г., эпохи Гелиогабала, XLI в основном издании Марини.

* * *

В уважении Нерона к памяти отца Герман Шиллер видит доказательство, что старый Аэнобарб был лучше репутации, составленной ему Светонием: Нерону мол было бы неудобно просить у государства актов почтения, как святому, для всем заведомого негодя, — да и сенату заметно понравилось благочестивое усердие молодого государя, чего не случилось бы, если бы оно было обращено на предмет недостойный. Но, во-первых, мы видели, что Кн. Домиций Аэнобарб сам был братом-арвалом, — что, конечно, облегчало просьбу Нерона: какая же мистическая корпо-

рация не молится за своих усопших членов? Вопрос, значит, мог быть только о месте Кн. Домиция Аэнобарба в поминании арвальском, о перемещении его «вечной памяти» из членской очереди в очередь государева дома. Во-вторых, проявление юным принцепсом сыновней почтительности должно было понравиться сенату безотносительно к тому, хороший был человек Аэнобарб или дурной. Хотя общественная практика и порасшатала в данной эпохе вековые устои абсолютного отцовского права, но в теории они стояли крепко, и сенат, корпорация консервативная и аристократическая по существу, являлся верным ее хранителем. Притом Рим мертвецам, ушедшим на тот свет в мире с государством, за прошлое не мстил и старых земных счетов в могилу к ним не предъявлял. Аэнобарб спокойно умер и честно погребен, — значит, по римским религиозным верованиям, он уже не грешник, тогда-то и так-то напроказивший, но просто — отошедший от мира предок своих потомков, и маны его святы для них, и лик его должен быть помещен в семейную божничку. А так как сын Аэнобарба сделался

государем, предполагаемым отцом отечества, и семья его — вся республика, то отчего же и всей республике не почтить памяти отца своего отца-государя? Гораздо более удивительно в этом случае, что Нерон говорил перед сенатом о Домиции Аэнобарбе, как о своем отце, не смущаясь оскорбить тем щепетильный закон усыновления, по которому он был уже не Аэнобарб, но Клавдий Нерон Цезарь Друз Германик. Что касается внезапной нежности самого Нерона к отцовской тени, — это почти закон природы для сирот с детства, что они любят воображать себе несуществующего отца и обожать предмет своего воображения, как некий идеал, назло самым обидным разочарованиям действительности. Такого воображаемого отца-страдальца выдумал себе, например, наш Лермонтов. Образец еще более резкий — фанатическое поклонение Императора Павла Первого памяти Петра Третьего, которого он едва знал, о котором мог слышать с детства только жалкое и смешное, и, однако, любил его жарко и мучительно, а мать свою, гениальную Екатерину, ненавидел.

Потеряв отца, Люций был осужден расти и без материнской ласки. Придворные успехи Агриппины кончились худо. Из трех сестер своих, император Кай Калигула наиболее любил Друзиллу, выданную фиктивным браком за М. Лепида. Этот последний, — внук Юлии Старшей и М. Випсания Агриппы, правнук Августа, решил сам подобраться к верховной власти, отняв ее у сумасшедшего зятя. Возник дворцовый заговор, во главе которого, кроме Лепида, стоял главнокомандующий германской армией Корнелий Лентул Гетулик, и в который вовлеклась Агриппина и младшая сестра ее Юлия Ливилла, — как можно думать, не только по честолюбию, но и по преступной привязанности к свояку и кузену своему, Марку Эмилию Лепиду. Этот человек имел успех в потомстве Германика, так как был мужем одной сестры, предполагается любовником двух других и укоряется как «мужская любовница» их державного брата. Умысел был обнаружен: заговорщики потеряли головы, а сестер соучастниц Калигула отправил в ссылку на остров Понтию в Тирханском море (ныне Понца). Имена их были взяты в

казну. Агриппина, высланная из столицы, стала нищей сама и оставила сына почти что на улице.

Мальчика приютила тетка, Домиция Лепида, — та самая, которая, в супружестве с М. Валерием Мессалою Барбатом, то есть Бородатым, подарила миру Мессалину, и та самая, что, в последний год Тиберия, обвинялась в кровосмешении с братом своим, отцом Нерона. Опекуном имущественным назначен был к Люцию некто Асконий Лабеон — вероятно, по завещанию Кн. Домиция Аэнобарба: впоследствии Нерон, прося у сената почестей для покойного отца, прибавил к тому и ходатайство о консульских знаках для Аскония Лабеона, как бы свидетельствуя общность своего доброго отношения к памяти бывшего отца и к бывшему опекуну. Во всяком случае, факт этот говорит в пользу Лабеона: из своего грустного детства император не вынес горечи к этому человеку, что между опекунами и опекаемыми бывает не часто. Только благодарности Нерона Лабеон обязан тем, что имя его осталось в истории: был опекун, которому цезарь выпросил консульские знаки, — боль-

ше о нем решительно ничего не известно. Отсюда можно предположить, что опекунские обязанности свои Лабеон нес только формально, не вмешиваясь в жизнь и воспитание мальчика, захваченного Домицией Лепидой. Имущественно оберегать у Люция, куда жил Кай Цезарь, было нечего: державный дядя обобрал родителей младенца дочиста.

Что касается Домиции Лепиды, эта женщина, при всем своем распутстве и легкомыслии, кажется, не лишена была способности проникаться острой жалостью к покинутым и беспомощным. Известно о Лепиде, что она была в ссоре со своей дочерью Мессалиной, когда ту отверг и осудил на смерть Клавдий Цезарь, — однако, узнав, что дочь одинока, всеми брошена, в смертельной опасности, Лепида забыла свое неудовольствие, поспешила к Мессалине и осталась при ней, ободряя ее до последнего конца. Надо думать, что подобный же порыв жалости побудил Лепиду принять к себе маленького племянника, последнего мужского потомка Аэнобарбов. Могло быть, конечно, и так, что надзор за одиноким ребенком поручили ей просьбы умираю-

щего или завещание покойного Кн. Домиция, связанного с Лепидой отношениями любви, быть может, и впрямь не только братской. Во всяком случае, Агриппина в этом добром деле не имеет части. Ради нее Лепида, конечно, не разжалобилась бы. Между пожилыми золовками Домициями и молоденькой невесткой Агриппиной жила непримиримая ненависть, питаемая и семейными скандалами, и партийными интригами двора. Истинная дочь Аэнобарбов, Лепида обладала столь же беспокойным характером, таким же ненасытным честолюбием, как и Агриппина, при той же неразборчивости в средствах к придворному, политическому и денежному успеху. Взять ребенка на воспитание, разумеется, далеко еще не значит его воспитывать. С Люцием в доме тетки обращались, по-видимому, очень мягко, — кажется, даже слишком баловали его, — но у не очень старой еще и не охочей стареть, влиятельной львицы Палатинского двора вряд ли находилось много свободного времени и внимания для малютки-племянника. Будущий император рос на руках рабской дворни, под надзором двух дворецких

или вольноотпущенных: один был танцовщик, а другой парикмахер. От нечего делать, в свободное от хлопот по дому время, они обучили мальчика азбуке. Едва ли не с тем он и остался до одиннадцати лет.

Подвиг Кассия Хереи и гибель Калигулы возвратили Агриппине отечество: новый принцепс, Клавдий Цезарь, вернул ее из ссылки. Но и теперь у молодой матери не оказалось охоты заняться сыном. Вряд ли она в это время взяла его от тетки. Историки упрекают Домицию Лепиду, что мальчик рос в доме ее невеждой, выучился только азбуке, и что рабы ее развратили воображение ребенка, таская его за собой по улицам и театрам: стало быть, Люций расстался с теткой уже в школьном возрасте, стоя в умственном развитии ниже обычно требуемого уровня своих лет и будучи уже сознательно восприимчивым к зрелищным впечатлениям и пристрастиям. Все это говорит за возраст много старше четырех-пяти лет, которые ему исполнились, когда Агриппина получила помилование и возвратилась ко двору.

По всей вероятности, ей были возвращены

конфискованные имения, хотя едва ли полностью, да и, конечно, чиновники государева вотчинного управления (*patrimonium*), побуждаемые таким алчным и ненасытным на деньги расточителем, как покойный Калигула, изрядно пощипали состояния изгнанных принцесс. Светоний замечает, правда, что Клавдий не только вернул, но и приумножил достаток Нерона, но это, надо полагать, относится к несколько позднеjšíему времени фавора Агриппины. Для данной же минуты нельзя думать, чтобы возвращение из ссылки оказалось для дочерей Германика полной политической реабилитацией, сопряженной с возвращением прежнего величия и былых милостей: они имели при дворе всевластного и злого врага в лице супруги Клавдия Цезаря, Валерии Мессалины. Одну из возвращенных принцесс, младшую, Юлию Ливиллу, она добилась таки услать обратно в изгнание, за действительное или мнимое прелюбодеяние с бывшим воспитателем детей Германика, знаменитым философом Сенекой. Таким образом, положение Агриппины при дворе Клавдия следует считать скорее терпимым в

силу близкого родства, чем привилегированным. Ссылка, потеря богатства, перемена правления, ненависть Мессалины поставили Агриппину очень далеко от того царственного значения, какое, до заговора М. Эмилия Лепида и Лентула Гетулика, имела она при Калигуле. Ведь тот, в своем безумном пристрастии к сестрам, сжал их за парадными обедами выше жены своей, приказывал писать имена их в государственных актах вслед за своим именем, чеканил монету с их портретами в виде трех граций, а красавицу Друзиллу, по смерти ее, даже велел зачислить в сонм богинь (diva), под именем Пантеи. Избалованной всеобщим раболепством, Агриппине было трудно примириться в старой обстановке с новым положением — знатной вдовы, если не вовсе без средств, то, по крайней мере, с очень расстроенным состоянием. Надо было воскресить себя для нового двора в новом блеске, а для того, прежде всего, разбогатеть. Путь к богатству Агриппина решила искать в выгодном браке.

Как принцесса Августова дома, как дочь Германика, сестра покойного и племянница

правлящего государей, вдова одного из самых знатных и знаменитых консуляров, — Агриппина, конечно, имела право целить в брачных планах своих весьма высоко. А как природная авантюристка, с необузданно властолюбивым воображением, она метила даже выше, чем позволяло ей право. Женщине, которая, четыре года назад, в родовых муках, соглашалась, чтобы из ее ребенка вырос матереубийца, только бы государь, — самой нужен был трон. И она стала стремиться к трону, — женская рука исподтишка потянулась к аметистовому пурпуру, символическому цвету принципата. В данный момент его носил слабоумный Клавдий, родной дядя Агриппины. Но мелочи родства не смущали честолюбивых людей в ту бурную эпоху политических внезапностей, солдатских заговоров, дворцовых переворотов, тайных убийств и кровавых интриг. Агриппина уже участвовала в одном заговоре, и тогда умысел ее был направлен против родного брата. Ссылка не смирила ее честолюбия, но разожгла его. Месалина ненавидела Агриппину и опасалась ее козней недаром. Дочь Германика возврати-

лась в Рим — хоть сейчас же готовой на новый заговор: охотницей, чутко поджидающей поймать счастливый момент своего возвышения, как жирную добычу.

В большом свете тогдашнего Рима имелось несколько лиц, кому астрологи, маги, гадалки пророчили в будущем императорский пурпур. Пророчествовать было не очень трудно, наблюдая, как быстро вырождался и вымирал Августов дом. Предчувствие, что власть перейдет к новой династии, висело в воздухе, и, конечно, многие, в особенности связанные с Августом дальним родством или свойством, мечтали стать основателями этой будущей династии и охотно поощряли тех, кто льстил их надеждам. Втройне суеверная — как итальянка, как дочь своего, в высшей степени мистического, века и как политическая авантюристка, — Агриппина усердно кокетничала с этими фатальными счастливицами, а всего настойчивее заигрывала с Сервием Сульпицием Гальбою: ему верховную власть насулили не только темные случайные пророчества, гадания и знамения, но и предчувствие Тиберия Цезаря. По странной случайности, Гальба,

действительно, со временем оправдал бывшие о нем предсказания. Хотя и не надолго, он попал в императоры непосредственно после Нерона, которого он, — случайное орудие военного бунта, — низверг и заместил почти против своей воли. В правление Клавдия, Гальба имел уже под пятьдесят лет, был женат, имел двух сыновей. Развести его с женой Агриппине не удалось, хотя вскоре затем он сам отпустил свою Лепиду (не надо смешивать с Домицией Лепидой, теткой Нерона) и зажил одиноким холостяком. Этот суровый, некрасивый, скучный, но чрезвычайно богатый и очень знатный, солдат-нелюдим был, вообще, не охотник до женщин, хотя женщина вывела его на широкую дорогу высших почестей: знаменитая Юлия Августа (Ливия), вдова основателя принципата. Агриппина кокетничала с Гальбой до такого неприличия, что теща его, мать Лепиды, вынуждена была сделать предприимчивой принцессе очень резкую сцену и даже, будто бы, дала Агриппине пощечину.

В начале сороковых годов, родственные отношения царственного дома Клавдия Цезаря

с домом Аэнобарбов представляются в таком виде: единственный мужской представитель угасающего дома Клавдиев — правящий принцепс Цезарь Тиберий Клавдий Друз Германик; он только что женился на Валерии Мессалине, дочери Домиции Лепиды, урожденной из дома Аэнобарбов. Единственный мужской представитель последнего — маленький Люций; мать его Агриппина — племянница принцепсу Клавдию, и, следовательно, Люций выходит ему двоюродным внуком. Затем, кроме Домиции Лепиды, остается в роду Аэнобарбов еще сестра Домиция, замужем за Криспом Пассиеном, одним из остроумнейших ораторов своего века, богачом с несметным капиталом, нажитым адвокатурой.

Ходатайство по судебным делам в первом веке империи являлось очень выгодной профессией. Древний Цинциев закон 204 г. до Р. Х., *lex Cincia de donts et muneribus*, воспрещающий брать деньги и подарки за судоговорение, пребывал в давнем забвении; попытка Августа восстановить его силу не удалась. Адвокаты, входившие в моду, а в особенности адвокаты-аристократы из сенаторов и всад-

ников, — взимали с клиентов огромные куши, завидные, пожалуй, даже избалованной гонорарами нынешней адвокатуры. Узда на адвокатские аппетиты была наложена уже позже; сперва Клавдий ограничил размер вознаграждений за судебную защиту; а при Нероне сенат совсем упразднил было платную адвокатуру. Так что, в лице Криспа Пассиена, она доживала свои последние красные дни, по крайней мере, перед некоторым перерывом.

Так как Рим оставил в наследие миру «писанный разум» — свое мелочно-вдумчивое, тонкоразработанное право, то, казалось бы, естественно предположить, что адвокатура стояла в нем на соответственной и весьма значительной высоте. Однако, когда обратишься к сатирикам принципата, как Марциал и Ювенал, к бытовым романистам, как Петроний, и даже к историкам-публицистам, как Тацит, то с изумлением убеждаешься, что, в их изображении, римский адвокат — фигура, близко знакомая нам и поразительно, до смешного современная во всех своих отрицательных качествах. Часто вы будто Салты-

кова читаете в переводе на латинский язык, и, в лице какого-нибудь Лавра Цецилиана или другой Марциаловой жертвы, встает перед вами, как живой, во весь рост, незабвенный герой «Современной Идиллии», процветающий «в среде умеренности и аккуратности», друг коканского хана, присяжный поверенный Балалайкин. Настолько, что даже адвокатская кличка, присвоенная этому почтенному сословию в русском народе «нанятая совесть» дословно встречается у Сенеки в сатире на смерть цезаря Клавдия. В эпоху первых цезарей право еще далеко не достигло того изящества, той систематической глубины, которые нашло оно в обработке юристов второго и третьего века и которых властного наследия Европа не изжила до сих пор, и вряд ли изживет когда-нибудь без остатка. Сравнительная элементарность права с успехом позволяла деление акта защиты на два процесса: изучал дело и, что называется, обзаконивал его юрист-практик, так называемый прагматик, дока (в республиканскую эпоху его-то и звали адвокатом), а судоговорение, со слов доки, вел патрон, *causisicus*, адвокат-оратор. По-

этому в числе последних не редкость было встретить круглого невежду по праву, что не мешало ему выигрывать процессы, иметь успех и наживать состояние, благодаря зычной глотке и природному краснобайству. В этот век, для римской юстиции была высоко современна именно балалайкинская мораль, что истина есть результат судебного разбирательства. Юридический материал для речи должен был доставлять адвокату, как уже сказано, прагматик, подъячий, судебный дока, нанимаемый клиентом за ничтожную сумму, нечто вроде столь популярных некогда в Москве «иверских аблакатов» — выгнанных приказных и тому подобных крючкотворов не у дел, искавших какой-либо мелкой поживы по части кляуз и ябед на своеобразном юридическом рынке у старых присутственных мест близ часовни Иверской Божьей Матери. Квинтилиан и, слишком двести лет спустя, в гораздо более изощренную эпоху права, блестящий ритор Либаний изображают нам этих прагматиков смиренной поденщиной великолепной показной адвокатуры, тихими лисцами, приготовляющими триумф рыкающе-

му льву. Адвокат-патрон, — совершенно как некрасовский стих характеризует — «содрав гонорар неумеренный», вопиет, а лисица-прагматик смотрит ему в рот, следя за потоком вдохновения. Красноречие льва истощилось, и он небрежно бросает своей лисице приказ: — эй, ты там, прочитай, что следует. Дока читает подходящий закон, адвокат подхватывает тему на лету, и опять пошла трещать, на диво сработанная, говорильная машина. Было правило в римском судоговорении, заимствованное из Афин и утвержденное Помпеевым законом *de ambitu* (52 до Р. Х.). Адвокат должен был заранее заявить, сколько времени он намерен говорить, и пред ним ставились водяные часы (клепсидра), точно отмерявшие срок разрешенного ему красноречия. Клепсидра пустела в полчаса. Марциал рисует нам адвоката Цецилиана, который, выпросив себе срок в семь клепсидр, т.е. в три с половиной часа, так надоел публике, что та одного желает: — Тебя, Цецилиан, жажда мучит и голос срывается, — сделай одолжение, чтобы освежиться, не пей воды из графина, а выпей — из водяных часов.

Буше-Леклерк сомневается, чтобы эти ограничения строго соблюдались, так как им противоречит возможность одному обвиняемому иметь многих защитников. В некоторых процессах число их доходило до шести и даже до двенадцати. Это злоупотребление временем суда прекращено было одним из «Юлиевых законов» (*leges Juliae*), но неизвестно — при Августе или еще при Юлии Цезаре. Квинтилиан жалуется на возмутительную небрежность многих знаменитых адвокатов к поручаемым им процессам. Делая вид, что они слишком завалены делом, или по фанфаронству, что мол нам все нипочем, я гений, с маха беру всякое дело, — адвокаты очень часто выслушивали от клиента обстоятельства дела только в самый день или накануне судебного разбирательства. Грех, опять-таки постоянный и в современных адвокатах, не исключая даже английской. В сатирических изображениях Диккенса адвокаты «Записок Пиквикского Клуба» и «Холодного Дома» — точнейшие зеркала собратьев своих у Марциала, Ювенала, Петрония. Понятно, что, при условиях такой неподготовленности, необхо-

димось говорить более или менее долгий срок, во что бы то ни стало, вырождала красноречие в самое шарлатанское пустословие и битье по нервам судей эффектами ораторского темперамента. Щедрин издевался над Плевако, что тот, в процессе матери Митрофании о подлоге векселей, хватался за гору Сион и проклинал час своего рождения. Но вот эпиграмма Марциала на адвоката Постума. «Мое дело пред судом вовсе не о насилии, ни об убийстве; я жалуясь на соседа, что он свел у меня трех коз; судья требует доказательств кражи; ты же, широко размахивая рукой, только звонишь во все горло о битве при Каннах, о войне с Митридатом, о всех предательствах Карфагена, о Суллах, о Мариях, о Муциях... как хочешь, Постум, а изволь что-нибудь сказать, наконец, и о трех козах!» От упреков в комедиантских приемах, «в отвратительном и пошлом скоморошестве», не ушел даже Цицерон. Чтобы ловить успех, адвокаты часто прибегали к очень недостойным средствам, даже нанимали клаку — аплодировать и кричать шумные браво их плохим речам, либо провожать их с форума уличной оваци-

ей. В погоне за клиентами и высокими гонорарами, они не брезгали никакой рекламой. Ювенал дает нам точную карикатуру, представляющую, как ведет себя в обществе искалеченный адвокат. Он не расстаётся с огромным, распухшим от бумаг, портфелем: толпа должна видеть, как страшно он занят, как много людей, доверяющих ему судьбы своего благосостояния. Он великолепно одет, таскает за собой свиту рабов и клиентов: толпа должна видеть, как страшно много он зарабатывает, — стало быть, не суйся к такому козырю с маленьким гонораром! Торгуясь с клиентом об условиях, адвокат вертит перед ним пальцами в перстнях с драгоценными камнями, и очень часто перстни эти совсем не его, а взяты на подержание у знакомого или напрокат у ювелира. Надо было жить очень шикарно, пуская пыль в глаза роскошной обстановкой дома, в особенности приемной и рабочего кабинета, потому что действительно успешные адвокаты устраивались на широкую ногу. При таких огромных предварительных «расходах производства» и широкой конкуренции, естественно развивалась неразбор-

чивость средств к заработку: адвокаты хватаются за всякое плывущее в руки дело, не разбирая, справедливое или нет, — ведь «истина есть результат судебного разбирательства!» В свое время мы, русское общество, много смеялись рассказу Глеба Успенского об адвокате, который столь строго таксировал свое драгоценное время, что — прежде чем выслушать дело — приглашал клиента: — Кладите ваши деньги об это место по уставам 20 ноября. Ничто не ново под луной, и Квинтилиан тоже упрекает коллег своих за обычай требовать денег «об это место», не дав еще никакого совета, что он справедливо обзывает «пиратской манерой». Брать гонорар авансом запрещено было только при Траяне. Нередко адвокат продавался тайком противной стороне, с уговором провалить дело, но за такую плутню, если она открывалась, исключали из сословия. Достаточно просмотреть любой годовой отчет любого совета присяжных поверенных в русских судебных округах, чтобы убедиться, что профессиональный грех этот не истребился до сего дня. На почве такого вероломства разыгрался при Клавдии ужасный случай. «Ни один из

предметов публичного торга не был до такой степени продажен, как подлая совесть адвокатов (*advocatorum perfidia*). Вот пример: Самий, знатный всадник римский, узнав, что Суиллий, которому он заплатил вперед четырехста тысяч сестерций, передался на противную сторону, закололся мечом в приемной негодяя этого». Именно это самоубийство и послужило поводом к временному ограничению адвокатских гонораров. Передовая часть сената, имея во главе К. Силия, назначенного консула на ближайший срок (*consul designatus*), требовала воскресить Цинциев закон и совершенно воспретить брать деньги или подарки за защиту на суде, под страхом преследования по закону о вымогательствах (*lex Julia de repetundis*). Сенат уже склонился к такому решительному постановлению (*parabatur sententia qua lege repetundarum lenerentur*). Тогда адвокатская черная сотня, Суиллий, Коссутиан и другие, промышлявшие, по преимуществу, политическим доносом, справедливо усмотрев, что постановление это содержит в себе даже не суд над ними, а прямо-таки приговор и наказание, окру-

жают Цезаря и умоляют — за прежнее их простить, а в будущем не лишит возможности заработать детишкам на молочишко.

— Хорошо, — говорили они, — богачам-аристократам разыгрывать роль великодушия, когда предки их нажились грабежом государства в междоусобные войны. А мы люди бедные, люди мирные и зарабатывать можем только в размерах мирных условий. Подумай, государь, о плебеях, для которых адвокатура главный путь выйти в люди (*Cogitaret plebem quae toga enitesceret*). Если ты уничтожишь оплату интеллигентной профессии, уничтожится и самая профессия.

Клавдий, о котором Целлер справедливо говорит, что он судил как Санчо Пансо, отвечал:

— Резоны ваши — нельзя сказать чтобы из красивых, но не лишены основания (*Utminus decora haec, ita haud dieta principis raturus*), — и назначил предельным гонораром судебной защиты десять тысяч сестерций: тысячу рублей. (*Taciti, Ab E. A., XI, 5.*)

Наемная совесть! Продажное сословие! — клеймит адвокатов Сенека. Очень часто кли-

енту было мало выиграть дело, и он нанимал адвоката, главным образом, для скандала, чтобы тот хорошенько иссрамил противную сторону. Тогда в суде разыгрывались сцены самого беспардонного забиячества и озорства, из-за частого обычая которых адвокатская кличка «брехунец» была распространена в римском народе не менее, чем у нашего простонародья. Целый ряд римских писателей определяет адвокатуру, как ремесло «собачиться» (*caninum Studium*). Случалось, что от слов переходили к жестам, и прения сторон обращались в рукопашную. При всех условиях рекламы, при всех сделках с совестью, многие адвокаты не выдерживали борьбы за существование с непосильной конкуренцией. Иные объявляли себя несостоятельными. Другие покидали столицу, чтобы практиковать в далекой провинции, в Галлии или Африке. Наряду с тузами, получавшими миллионы сестерций годового дохода, существовала обильная рыночная адвокатура мелких ходатаев по делам, которые едва зарабатывали на что жить, — так плохо им платили. Известны, например, провинциальные гонорары мел-

ких процессов — в одну золотую монету за четыре речи или в 100 денариев, то есть около 12 рублей, на всю компанию защиты, самому судоговорителю (*dikologos, causidicus*), прагматику, их сподручным и присяжным свидетелям. И это — наряду с заработками, позволявшими воздвигать дворцы, о которых великий архитектор Витрувий считает нужным говорить особо и специально, как в них должна быть устроена приемная; в которых белым лесом стоят мраморные статуи — в том числе и самого хозяина — сооруженные за счет или подпиской благодарных клиентов; на подъезде толпа слуг; лестница обвешана пальмовыми венками — знаками выигранных процессов; новый клиент, как милости, добивается у грубого привратника, чтобы тот записал его в очередь приема. Щедринский Балалайкин хвастался, что коканский хан прислал ему, в виде гонорара, осетровый балык и кувшин воды. Римские Балалайкины сплошь и рядом получали вознаграждение натурой: овощами, соленой рыбой, вином, — в особенности от провинциальных клиентов, которые при этом, конечно, норовили отделаться подешев-

ле и спустить в дар адвокату всякую заваль и брак. «В день рождения моего красноречивого приятеля Рестигута, — советует Марциал, вы, клиенты, оставьте при себе мелочи вроде восковых свеч, записных книжечек, салфеток. Ты, толстопузый негодник (вероятно злостный банкрот) из гостиного ряда Агриппы, посылай-ка адвокату пурпурную одежду; ты, нарушитель общественной тишины, ночной драчун и пьяница, — подари обеденные приборы; ты, девица, которой он помог выиграть процесс с обольстителем, подавай драгоценные камни; ты, старый коллекционер, поднеси статуэтку Фидиева резца». Размеры денежного вознаграждения, конечно, чрезвычайно колебались. Марциал в одной эпиграмме определяет свою таксу, как адвоката, в 2000 сестерций, около двухсот рублей, с уговором, и в наши дни практикуемым, что в случае проигрыша клиент уплачивает только половину. Клиент так и поступил. «За что?!» — вопиет Марциал. — «За то, что ты ничего не сказал и погубил все дело!» — «Да уж и дело твое!» — возражает Марциал, со свойственным ему бесстыдством: «ты тем бо-

лее обязан мне заплатить, что мне из-за тебя пришлось краснеть». Издевалось общество над денежной жадностью адвокатов и над лакомством и чревоугодием их жен, развивавших в себе смешные пороки эти, вероятно, именно обилием приношений натурой. «Моя Грация, — пишет императору Марку Аврелию талантливый ритор Фронтон, — хоть и жена адвоката, но, вопреки пословице, совсем не обжора!»

Конечно, по всем этим сатирическим и полемическим выходкам, метко бичевавшим уродов в семье сословия, нельзя строить обобщений о всей римской адвокатуре. Ведь и в русской — не большинство же торжествующее те бессовестные «рвачи», которых Салтыков клеймил своей могучей сатирой. Сословие присяжных поверенных имело своих Балалайкиных, Перебоевых и прочих, «обращавших взоры на Запад», восклицая: «клади-те об это место по уставам 20 ноября!» Но оно же дало России имена Спасовича, Урусова, Александрова и десятки других, которые останутся незабвенными в истории русской культуры и русской гражданственности. Так и в

Риме — были свои Балалайкины, были и свои Урусовы. Избираю для сравнения это последнее имя, потому что князь Урусов, как общественная фигура адвоката-барина, красивого эстета и мягкого либерала-доктринера из кающихся дворян, наиболее подходит к тому Криспу Пассиену, с которого пошла наша речь о римской адвокатуре.

По отзывам древних писателей, Крисп Пассиен представляется человеком интересным. Заметно, что он пользовался в Риме уважением и влиянием, что к мнениям его чутко прислушивались. Светоний изображает его лукавым и остроумным, слегка циническим царедворцем. Тацит сохранил его блестящую политическую остроту о Калигуле. Сенека говорит, что не знает среди современных мыслителей никого, способного с большей тонкостью определить порок и указать средства к его исцелению. Плиний рассказывает о Криспе Пассиене анекдот, рисующий знаменитого оратора поэтически настроенным пантеистом, способным, даже подобно Лежневу в Тургеневском «Рудине», ходить на свидания к любимому дереву. Между богатыми и успеш-

ными адвокатами во все времена бывало много эстетов и мистиков, — это профессиональный недуг сословия: духовная реакция на утомление практикой в области чересчур материальных интересов. То же самое ведь и в нашей адвокатуре. Покойный Урусов почитается отцом и главой русских эстетов, патриархом декадентского течения. Андреевский — поэт и тонкий критик чисто эстетической школы. Минский — поэт и мистик. Плевако — мистик. Куперник, Спасович — столь же литературные и художественные критики, сколько адвокаты. Когда в Петербурге среди помощников присяжных поверенных сложилось общество юридического самообразования, под руководством С.А. Андреевского, то оно провело целую зиму в чтении и комментариях произведения бесспорно прекрасного, но не весьма юридического, а именно — пушкинского «Евгения Онегина». Очень популярный реферат Андреевского о судебной этике — любопытнейший показатель эстетизма в нашей адвокатуре. Между прочим, в этом реферате Андреевский рассказывает, что даже такой строгий и цифровой юрист-делец,

как знаменитый Пассовер, едва ли не замечательнейший практический ум русской трибуны, имел сердце, очень чуткое к «вдохновению, звукам сладким и молитвам». Он был страстный любитель поэзии и придирчивый критик стихов, укорительно обличавший поэтические вольности самого Пушкина. «Пора! перо покоя просит!» цитирует Пассовер знаменитый стих из «Онегина» и протестует: помилуйте! что же это за стих? «Пора, перо покоя просит»: четыре раза п и три р. Всех поименованных русских юристов-эстетов писатель древнего Рима характеризовал бы как «софистов». Не в том, конечно, язвительном смысле, какой приобрело это слово в наши дни, но в смысле «оратора-мыслителя», как понимает его в конце второго века Филострат, автор «Жизни Софистов», для какого-нибудь Полемона, адвоката-философа, которого речь пред судом, полная литературы и психологического анализа, обходилась клиенту в 10.000 рублей серебром. Такими софистами в римской адвокатуре были философ Сенека, историк и дипломат Светоний, естествоиспытатель Плиний Старший, литератор

Фронтон, талантливый бюрократ Плиний Младший, наш Крисп Пассиен. Словом: в лице последнего, пред нами образованный, тонкий, глубокий, свободномыслящий ум, острый язык, мягкое, теплое сердце. Как человека, приятнее Криспа Агриппине трудно было бы найти мужа в той жестокой эпохе.

Затем. Как во всяком государстве, облеченном в подобие конституционных форм, адвокатура в Риме тесно соприкасалась с политической трибуной и открывала ход к блестящей карьере по общественным должностям. Подобно современной Франции, подобно России после 1905 года, в Риме политический оратор обыкновенно выдвигался из адвокатуры и часто не расставался с ее заработком даже в период своей государственной деятельности. Огромное общественное влияние адвокатуры создавалось, как и всюду, ее центральным положением среди сословий. Адвокатскую профессию считали приличной для себя сенаторы и всадники; для буржуазии и низких классов она была желанным и почти единственным путем выйти в люди; выдвигаясь ярким даром слова, можно было не толь-

ко составить капитал, но и выдвинуться понемногу в высшие сословия, пробиться ко двору, к государственным должностям. Мы только что слышали слова Суиллия: — Подумай, государь, о плебее, для которого адвокатура главный путь выйти в люди. Адвокатуры создались такие Гамбетты древнего мира, консулы из выскочек, как Эприй Марцелл или Вибий Приск. Любимая родительская мечта римского буржуа, чтобы сын пошел в адвокаты или, по крайней мере, в стряпчие. Последнюю карьеру избирали, по преимуществу, те лица, которые, при юридическом складе ума, не обладали соответственным даром слова. Это те же прагматики, подьячие, только сортом повыше, с широкой эрудицией, опытом крупных дел, прозорливым юридическим синтезом. Стоя в тени за эффектами показной адвокатуры, стряпчие представляли ее деловую сторону, и «станции», то есть кабинеты, бюро этих юрисконсульств, были истинными руководителями правосудия в Риме. Достаточно назвать имена Гая, Папиниана, Ульпиана, Сальвия Юлиана, Тертуллиана, которые все были учеными стряпчими,

чтобы понять огромную роль их «станций» в историческом развитии и систематизации «писанного разума» — римского права. Эти люди, в охочей кляузничать столице, были постоянно осаждены публикой, ищущей советов; они начинали свои приемы с раннего утра, чуть не с петухами и занимались в бюро до десятого часа дня, т.е. до 5 часов пополудни летом и до трех зимою. Понятно, что их советы, мнения, сентенции очень хорошо оплачивались. Историки и сатирики упрекают юрисконсультов за корысть: даже зевок свой — и тот в счет вы ставите! Если клиент денежный, то, хотя бы он убил мать свою, юрисконсульт сумеет подыскать ему какой-нибудь закон в забвении, которым убивать матерей разрешается. До нас дошла надгробная надпись с могилы какого-то бедняка, разоренного судебным процессом: «Да не приблизятся к месту сему судейские крючки и стряпчие!» Влияние стряпчих было тем более ощутительно, что их участие в процессе нужно было не только клиентам и адвокатам, но и судьям, обыкновенно мало сведущим в праве, так что в руках юрисконсульта легко могли

оказаться и защита дела, и решение. Легко понять, какие могли происходить отсюда стачки, интриги и торг правосудием, хотя надо заметить, что мнение юрисконсульта никогда не было обязательно для судьи, а носило лишь характер совещательный, характер экспертизы, рекомендуемой к руководству. Впоследствии, из этой факультативной консультации практика выработала постоянную судебную ассессуру, придав всем магистратам, снабженным судебной властью, одного или нескольких, всего чаще двух, непрременных членов присутствия, на обязанностях которых лежала выработка объявляемых магистратом приговоров. Наконец, третьим огромным источником влияния стряпчих надо считать их преподавательскую работу. Их бюро были, своего рода, вольными факультетами юридических наук, с особенным упором на камеральные знания, и, таким образом, имея под своей казуистической ферулой лучшие умы молодежи, они, век за веком, формировали правовую мысль Рима, как ее не только вожди, но почти что самодержцы. Помимо того, что стряпчество было делом хлебным, та-

кие придворные имена, как Папиниан или Ульпиан, показывают, что юридическая казуистика была хорошим средством государственной карьеры, и Победоносцевы процветали не под одной только русской автократией.

В политической карьере Крисп Пассиен достиг всего, что мог получить в его время хорошо и счастливо служивший государству человек, в естественных условиях карьеры: он дважды был консулом.

В этом богатом и изящном, хотя уже пожилым адвокате Агриппина нашла свой золотой рудник. Она отбила Криспа у жены его Домиции, заставила его взять развод и женила на себе. Все это, разумеется, не способствовало улучшению отношений Агриппины с золовками по первому браку: злоба Домиции на счастливую соперницу умерла только вместе с самой Домицией. Брак Криспа с Агриппиной был непродолжителен. Крисп очень скоро умер, оставив все свое состояние жене и пасынку — Л. Домицию Аэнобарбу; теперь опекуну последнего, Асконию Лабеону, уже было что оберегать. Шиллер считает даже,

что именно теперь-то Люций и помещен был под опеку Лабеоны, — следовательно, по завещанию не отца своего, но отчима. Быстрая смерть Пассиены вызвала в Риме дурные толки. Говорили, будто принцесса отравила мужа после того, как выманила у него завещание. Источник слуха — поздний и сомнительный, а отравление мало вероятно уже потому, что в эту пору Агриппине, гонимой и преследуемой Мессалиной, да еще при ненависти к ней Домиции, преступление не сошло бы с рук даром. Спасшись от участи сестры своей, Юлии Ливиллы, Агриппина могла только будучи незаметной и, в безупречности своей, неуловимой для политического и уголовного доноса.

Оставшись богатой вдовой, Агриппина с удвоенной энергией бросается в круговорот дворцовых интриг и властолюбивых замыслов. По всей вероятности, именно теперь сближается она с властными вольноотпущенниками Клавдия, из которых умнейший и влиятельнейший, Паллант, впоследствии был ее любовником. Более чем сомнительно, чтобы и в это время Агриппина обращала

много внимания на рост и развитие сына. Быть может, Люций, по-прежнему, даже и не был при ней, — мальчик мог все еще оставаться на попечении тетки Лепиды. Нежная привязанность Лепиды к младенцу Аэнобарбу как будто росла с годами и дошла до такой энергии, что — в самом недалеком будущем — эта женщина смело оспаривала у Агриппины право быть ближайшим человеком ее сыну, а своему племяннику. Отсюда опять-таки можно заключить, что она заменяла Л. Домицию мать не полтора-два года, покуда Агриппина была в ссылке и умирал Кн. Домиций, но гораздо больший срок.

Между тем мальчик, еще в колыбели отмеченный высокими предзнаменованиями, начинал уже привлекать к себе внимание Рима.

В 800 году Рима (47 по Р. Х.) принцепс Клавдий нашел нужным возобновить секулярные игры (*ludi saeculares*), мистический всенародный праздник, справлявшийся однажды в столетие с большими, изысканными, эпоху делающими, торжествами. Сзывая народ на секулярные игры, бирючи, рассылаемые государством по всем городам и дорогам Италии,

приглашали всех свободных выразительной формулой — участвовать в празднике, «какого никто из нас не видал и никто уже не увидит».

Ludi saeculares в древности назывались тарентинскими, от города Тарента в Великой Греции (нынешний Таранто в южной Италии), откуда, по-видимому, была заимствована Римской республикой первая форма их, копия тамошнего праздника Гиакинфий. Что касается философского содержания, влитого в эту форму, оно пришло в Рим не от греков, но от этрусков. Они влагали в слово saeculum, век, идею не просто ряда или совокупности ста солнечных годов, как выражает оно теперь, но идею предельной длительности человеческого поколения. Если, скажем, в день основания города родилось в народе, его основавшем, данное количество младенцев, то жизнь их начинается эру этого города, и, со смертью последнего из них, исполнится первый век города, с таким же совершенным вымиранием сыновей их окончится второй век, исчезновение внуков, правнуков и т.д. определяет собой третий, четвертый и прочие ве-

ка. Приблизительный срок поколения древность, кажется, повсеместно считала 110 лет: в Халдее, в Египте, в Греции, в Этрурии. Рим также принял эту цифру. Но так как она не точная, а приблизительная, и, при размножении людей, живущие не в состоянии знать, когда в действительности вымирает предшествующий человеческий «век», то остается уповать на сверхъестественное вмешательство. На приблизительной границе двух веков боги посылают людям страшные чудеса и знамения в знак того, что пора похоронить с благодарностью прошлое поколение и благословить к исторической жизни новое. Эти два момента и определяли собой содержание римских секулярных игр: ими настоящее погребало прошедшее и молилось за будущее.

В крестьянской глубине римской истории, тарентинские игры — не более как обломок частного родового культа влиятельнейшей фамилии Валериев, находившихся в приятельстве с этрусками. По дружбе с Валериями, переселился в Рим, с 4000 родичей своих, родоначальник Клавдиев, сабинский нобиль Атт Клавз. Вся мифология секулярных игр, по-

этому, тесно связана с фамильными легендами Валериев, а вся история — с именами то Валериев, то Клавдиев. Справлялись секулярные игры в Риме, за пределами померия^{4}, «на Марсовом поле, возле обильных вод Тибра, где он наиболее узок». Это будет в клину между нынешним Corso Vittorio Emanuele (ближе к мосту того же имени) и верхней частью набережной Сангалло, в окрестностях церкви Chiesa Nuova и Сан Джованни dei Fiorentini. Зимой 1886/87 года близ первой церкви найден был жертвенник подземных богов (Ara Ditis) — центр секулярных игр, а близ второй — обломки мраморных плит с их протоколами от эпох императоров Августа и Септимия Севера. Теперь эта местность, застроенная обновляемым Римом, отличается болотистым грунтом и уже в средних веках носила название Vallicella, Долинка, указывающее на, сравнительную с окрестностями, низменность. Но некогда именно здесь, если верить преданию, замерли последние остатки вулканической жизни Рима: была расщелина, дышавшая уже более дымом, чем огнем, и посвященная подземным божествам,

Диту и Прозерпине. У расщелины этой один из Валериев, будто бы, получил чудесное исцеление трех сыновей своих, умиравших от малярии, и, в благодарность подземным богам, должен был, по приказу их самих, справить трехнощные игры, с приношением в жертву темношерстных животных. В историческом Риме урочище прослыло «Тарентом» — несомненно, по прямому воспоминанию о тарентинском ритуале, по которому Валерии справляли свой праздник. Перерождение фамильных игр рода Валериев в государственные игры Рима произошло тем же естественным путем, которым храмовой праздник, хотя бы в честь незначительного святого, но в богатом селе, с многомочным и тароватым крестьянством, да еще при ярмарке, оказывается для целого уезда столько же важным и приманчивым, если еще не более того, как самые большие и чтимые общие праздники церковного календаря. Такое развитие частной домашней святыни в общую святыню края пережили Полтавская и Харьковская губернии всего тридцать лет тому назад: в Козельщине графы Капнисты объявили чудо-

творной свою домашнюю икону Божьей Матери (Мадонну итальянского письма); новый культ распространился с изумительной быстротой, и, в самом непродолжительном времени, Козельщина процвела, стала богатейшим селом, а праздники ее — событием и целью паломничества для всей Украины.

В мою задачу не входят ни мифологический анализ, ни история секулярных игр. Кто ими заинтересуется, может обратиться за подробностями к блестящей работе петербургского профессора Зелинского (*Quaestiones Comicae*) или к обширному исследованию варшавского профессора Базинера. Здесь довольно будет отметить, что, сделавшись достоянием всего римского народа, тарентинские игры не только сохранили, но и несравненно умножили свой чрезвычайный характер таинства первой важности, осуществляемого государством лишь по приказу богов, возвещаемого совпадением учащенных знамений с пророчествами Сибиллиных книг, крайне ответственного и потому редкого. Первые легендарные *ludi saeculares* относятся преданием к 245—250 гг. Рима (509—504 до Р.

Х.): даны были первым консулом Валерием Публиколой для прекращения опустошительного мора. Первые исторические, в 505 г. Рима (248 до Р. Х.), связаны со страшной грозой, когда молния зловеще разбила часть городской стены, циклопической постройки, приписываемой Сервию Туллию. Во главе правительства стоял тогда, близкий к Валериям, П. Клавдий Пульхр, а главным понтификом был археолог и историк Тиберий Корунканий. Это время большой эллиномании в римской большой знати, поклонения памяти Пифагора, переселения в Рим тарентинца Ливия Андроника, которому суждено было стать отцом латинской комедии, а покуда, он оказался автором первого «Векового Гимна», *Carmen Saeculare*, коим обрядно завершались секулярные игры. Неудивительно, что при таких условиях они приняли подчеркнуто тарентинский характер.

Знаменитейшие из секулярных игр были справлены императором Августом в 737 году Рима (17 до Р. Х.). Он превратил секулярный праздник в символ обновления государства внутренним миром после долгих и кровопро-

литных гражданских битв, в которых разрушилась старая аристократическая республика, поднялись новые сословные формации плебса, возник из них, оперся на них и окружился ими принципат. Август умел сделать из секулярных игр настоящее государственное событие. Они произвели на современников огромное впечатление и имели несомненное воспитательное значение — как бы рубежа эпохи, с которого Риму даны властью торжественные заявления, что несчастный век старого поколения для республики кончен, возрождение свершилось и официально возвещается, и, следовательно, отныне предлагается обывателю не унывать, но уповать и жить припеваючи. Если бы такой приказ по народу — «а впредь считать себя благоденствующим» — раздался из уст государя, хотя бы заслуженного, лишь по личному его убеждению, либо просто по административному самообольщению и капризу, но ни с того, ни с сего по оценке и совести современников, — то он, конечно, вызвал бы насмешки и негодование. Как и испытал это впоследствии ближайший устроитель Столетних игр, Клавдий Це-

зарь. Но Август необыкновенно искусно попал в чувствительную точку своей эпохи — поклонения страшно усталых людей, переживших неслыханно жестокие перевороты, жаждавших государственного отдыха, то есть извне — ровной добычливости, внутри — мира, — гражданского покоя в настоящем и надежд на его обеспечение в будущем. Август, восстановитель многих забытых древних культов, с особенным вниманием остановился на секулярных играх именно потому, что, в народном представлении, праздник этот слыл искупительным за победный для Рима мир в Италии. Справляй секулярные игры, — повелевает подложный Сибиллин оракул, нарочно сочиненный коллегией «пятнадцати мужей» (квиндецимвиров), на основании которого Август устроил праздник:

Тогда вся Италия

И вся латинов земля всегда будет под скипетром властным

Рук твоих иго носить на затылке покорном и смирном.

(Перевод проф. Базинера.)

В сроке справить секулярные игры госу-

дарство опоздало на 32 года, но в 705 году Рима (49 до Р. Х.), в разгар политических смут, было не до игр. Да и унижительной насмешкой показалось бы празднество государственного мира в республике, раздираемой борьбой Цезаря и Помпея. Теперь же Август шел навстречу духу времени — тому мистическому духу, который искреннейше находил, что довольно выстрадано, пора богам наградить нас, довольно века железного, подай нам век золотой. Выразительницей духа этого явилась знаменитая четвертая эклога Вергилия, которая впоследствии толковалась христианами, как пророчество о близко грядущем в мире Младенце-Иисусе и, в средние века, сделала Вергилию репутацию некрещеного святого. В это же самое время, столько же знаменитый энциклопедист римский, М. Теренций Варон Реатинский, воскресил старое пифагорическое учение палингенезии, то есть о возвратной жизни: 110 лет — естественный человеческий век, в четыре века отошедший из мира мертвец свершает круг вне-человеческого бытия своего, и, 440 лет спустя после смерти, его душа и тело вновь встречаются и

соединяются для нового рождения в повторную жизнь. Этим текстом Варрона, который будто бы заимствовал его у каких-то астрологов, составителей гороскопов, пользовался, впоследствии, блаженный Августин для доказательства воскрешения мертвых плотью и личностью. По Варроновой теории, в веке Августа наступал срок палингенезии для великих деятелей первых времен Римской республики, для героической эпохи, создавшей величие Рима. Не было бы ничего удивительного, если бы *saeculum augeum*, золотой век, употребляемый умнейшими и образованными, как политическая и социальная метафора, ожидался многими совершенно реально. Республика прожила 440 лет, пора старому змею сбросить изношенную шкуру и выползти из нее в новой, блистая здоровьем, красотой и силой возрожденной молодости. В соответствии этому, если можно так выразиться, мессианическому настроению народа, сотрудники Августа, квиндецимвиры, с Атеем Капитоном во главе, переработали самый ритуал секулярных игр в гораздо более светлом направлении, чем сохранились они в прежних

преданиях. Чем излагать этот длинный ритуал, предпочитаю дать подлинный текст Сибиллина пророчества, содержащего программу секулярных игр Августа.

**Как только срок самый длинный придет
человеческой жизни,**

**В сто десять лет совершивши свой круг,
тогда, римлянин, даже**

**Если ты будешь совсем забываться, все
помни, что надо**

**Жертвы богам приносить бессмертным
на Марсовом поле**

Возле обильных вод Тибра, где он наиболее узок,

**Лишь только солнце на небе дневном
скроет свет свой, и темень**

**Ночи на землю сойдет. Всерождающим
Паркам ты должен**

**Черных ягнят и козлят заколоть и затем,
по обряду.**

Жертвами сдобрить богинь Илифий, помогающих детям

**Свет увидеть, а потом и Земле заколоть по-
добает**

Черную супорось. А к алтарю, посвященно-
му Зевсу,

**Белых быков приводить надо днем, а не
ночью; богам ведь,**

Жителям неба, приносят дары только
днем; точно так же

Жертвуй и ты. Храм же Геры потом от тебя
да получит

Светлую телку. Пусть Феб Аполлон, прозы-
ваемый также

Солнцем, получит такие же дары, как и до-
черь Латоны.

**Да огласят храм бессмертных латинские
гимны, что вместе**

**Девы и отроки хором поют. Хоровод же
особый**

**Девушки пусть составляют, и отроки
также особый;**

**Всем им в живых еще должно иметь как
отца так и мать.**

**Пусть божеству на коленях помолются в
день тот, матроны,**

Сидя вблизи алтаря всехвалимого Геры
державной.

Нужно давать всем мужчинам и женщи-

нам, а особливо

Женщинам вещи, которые им к очищению послужат.

Из дому все пусть с собой несут все, что смертным обычай

В жертву принести от начатков плодов, как дары примиренья,

Кротким подземным богам, да и жителям неба блаженным.

Все это сложенным должно лежать, чтобы, помня как надо,

Ты раздавал это в дар алтарям и актерам, участие

Принявшим в играх заветных. Все дни же и сряду все ночи

Должен народ собираться толпой многочисленной возле

Мест, посвященных богам; да сольется серьезность с весельем.

Это-то помни всегда в своем сердце: тогда вся Италия

И вся латинов земля всегда будет под скипетром властным

Рук твоих иго носить на затылке покорном и смирном.

(Перевод проф. О. Базинера.)

В программе этой очень заметно, что подземные цари Дит и Прозерпина, исконные хозяева праздника, теперь не только принуждены поделиться им со светлыми божествами, но даже несколько отодвинуты ими на задний план. Торжества, прежде только ночные, теперь распространены и на дни. Прошрое, оплакиваемое ночью, уступает будущему, которое радуется светом (Феб Аполлон), похороны — родинам (Илифии, Гера, Диана, как дочь Латоны, молитва им 110 избранных матрон), панихида — просительному и благодарственному молебну. Еще ярче сказывается этот радостных бодрящий тон общественных надежд в заключительном аккорде празднеств, в *Carmen Saeculare*[^] великолепной кантате, которую Кв. Гораций Флакк написал по предложению правительства, но с энтузиазмом мылкого патриота, и которая сделала его лауреатом народа римского, истинно народным поэтом. Исполняемый хором детей, подрастающим поколением, которому судьба жить в новом веке, вдохновенный гимн этот, весь — сверкание жизнерадости и могучей

национальной веры.

Феб и Диана, царица лесная,
О, лучезарные светочи неба, внемлите.

Чтимые ныне и вечно! о чем мы вас мо-
лим, взывая,
Нам ниспошлите.

Ныне велят предсказанья Сивиллы —
Избранным девам и отрокам чистым
смиренно

Гимном всевышних, кому семь холмов
наших милы,
Петь вдохновенно.

Солнце благое! приводишь-уводишь
Ты с колесницей блестящею дни, возрож-
даясь снова

И неизменное вечно, о пусть ты славней
не находишь
Рима родного!

О, Илифия! рождать без болезней
Ты матерям помогаешь своею заботой
немалой.

Хочешь ли зваться в молитвах Люциною

или любезней

Слыть Гениталой?

**Юных возрасти под родимым покровом,
Благослови, о богиня, сенаторов думных
решенье,**

**Пусть оно с брачным законом еще поко-
лениям новым**

Даст приращенье,

Чтобы, как в годы минувшие, вечно
Каждых сто лет песнопенья и игры звуча-
ли,

**Чтобы три солнечных дня, три отрадные
ночи беспечно**

Все ликовали.

**О, непреложные Парки, внимайте,
Ваши незыблемы речи в стремлении ми-
мобегущем;**

**Ваши для нас повеленья свершились, от-
ныне подайте**

Счастья в грядущем.

Долы, обильные стадом и нивой,

Пусть из колосьев сплетают Церере ве-
нок ароматный,

Пусть посылает Юпитер плодам ветерок
шаловливый,

Дождь благодатный.

Спрячь, Аполлон, свои стрелы в колчане.

Внемли, и кроткий, и благостный, отро-
ков чистых напевам.

Внемли, Луна, о, царица двурогая в
звездной поляне,

Славящим девам.

Если вы создали Рим, — повелели,

Чтобы на берег этрусский приплыли тро-
янцы толпою —

Те, что, по воле богов, для далекой остави-
ли цели

Домы и Троию;

Те, кому в пламени Трои пылавшей,

Правил Эней безупречный, отчизну свою
переживший,

Пусть по свободной стихии, иную судьбу
прозревавший,

Лучшую бывшей; —

**Боги, вы юношам — добрые нравы,
Боги, вы старости ясной покой безмятеж-
ный пошлите,
Ромула внукам — потомства, и мощь, и
сияние славы
Вечно дарите.**

**Дайте тому, кто, грозящих смиряя,
К слабому милостив, славный потоком Ан-
хиза с Венерой,
Все, что он просит в молитве, здесь белых
быков закалая,
С искренней верой.**

**Вот уж в морях и на суше хвастливый
Парфянин грозной десницы и римской
секиры страшится,
Все исполнять повеленья индеец и скиф
горделивый
В страхе стремится.**

**Вот уж и верность, и мир перед нами,
Честность, стыдливость былая, забытая**

доблесть дерзает

**К нам возвратиться обратно, и рог изоби-
лья плодами**

Нас осыпает.

Если, украшенный блещущим луком,

**Феб, прорицатель не ложный и муз деся-
ти вдохновитель,**

Лирой своею искусной телесным недугам и мукам

Добрый целитель,

Если он узрит теперь, благосклонный,

**Здесь алтари Палатина, — он Рима могу-
чее счастье**

**И благоденствие наше продлит до поры
отдаленной,**

Полный участия.

С ним и Диана — царица благая

**На Авентине, Алгиде — пятнадцать мужей
предстоящих**

**Примет, детей не оставит, внимательный
слух преклоняя,**

Песнь возносящих.

Мирно домой возвращаюся ясный,
С верою, что и Юпитер, и боги прияли
моленье,

Где и Диане, и Фебу вознес ныне хор наш
согласный

Славу хваленья.

(Перевод П.Ф. Порфирова).

Ферреро справедливо замечает, что даже и сейчас, две тысячи лет спустя, редкий итальянский юноша читает *Carmen Saeculare* без волнения, — по крайней мере, этот страстный вопль его:

— Благое Солнце! На блестящей колеснице своей ты привозишь и вновь скрываешь смену дней, всегда ты другое родишься и всегда ты останешься одно и то же. О, если бы ты никогда не узрело никакого другого величия выше города Рима!

Громадная удача игр Августа не могла не быть завидной его преемникам. Тиберий и Кай Цезарь чувствовали себя еще слишком близким к их памяти и не посягали на это предание. Но Клавдий, педант и археолог, не мог пропустить упавшей на его правление

восьмисотлетней годовщины основания Рима без соблазна воскресить величайшее государственное торжество. Притом же, ему хотелось приурочить к 800-летию Рима 550-летний юбилей своего фамильного родословия. И вот — хотя после секулярных игр Августа прошло всего 63 года — Клавдий объявил новые игры. Мотивом было, что Август-де ошибся в хронологии и отпраздновал игры свои неправильно, а доказательством тому, вероятно, выставлялась круглая цифра восемьсот, делимая на сто без остатка, тогда как 737 не годится в делимые ни для ста, ни для ста десяти, ни для естественного века этрусского, ни для гражданского века римского. Опору себе Клавдий, кропотливый археолог, мог найти в том соображении, что хотя Рим принял этрусское векоисчисление чуть не в доисторические времена, оно, все-таки, представляло собой заимствованное чужеземное новшество, а еще древнейший, исконный и подлинный, римский век был столетний, слагавшийся из ста годов в 365 дней. В десятичной круглости столетнего века общество, конечно, чувствовало себя гораздо удобнее, чем в угловатой

одиннадцатикратности века священного. Словом, Клавдий мог отпраздновать свои игры только через подмен Сибилина векоисчисления гражданским. У другого государя фокус этот, может быть, вышел бы чисто и ко благу, но Клавдий, по глупости и упрямству в археологическом педантизме, только лишний раз обратил себя во всенародное посмешище. Притом же, в обществе хорошо помнили, что совсем не так давно Клавдий, отменяющий хронологию Августа, издал специальное сочинение в защиту и доказательство правильности ныне отвергаемой хронологии этой. Бирючей Клавдия, приглашавших народ к праздникам, «которых никто из вас не видал и никто не увидит», встречали по городам хохотом, потому что всюду натыкались они на стариков, отлично помнивших Августовы игры. Праздник обставлен был с богатейшей щедростью и роскошью. Средства последней, конечно, значительно пошли вперед со временем Августа: зрелищные сооружения, которые тогда были деревянные или кирпичные, теперь сияли мраморами и т.п. Но и в театре судьба пошутила-таки над Клавдием. Играли

все артистические звезды Рима и, между ними, престарелый актер Стефанион. При его выходе в театре грянул гомерический хохот: публика вспомнила, что знаменитый старик играл — юношей — и на секулярном празднике Августа! Известный придворный дипломат и величайший палатинский мошенник, Л. Вителлий, отец будущего императора А. Вителлия, поздравил Клавдия со столетними играми пожеланием: справляй почаще! Эта фраза считается, обыкновенно, верхом бесстыжей лести, но, собственно говоря, при обстоятельствах, в которых она была преподнесена, человек, менее самообольщенный, чем Клавдий, имел бы право принять ее за весьма дерзкую двусмысленность. Впоследствии игры Клавдия, кажется, были признаны справедливыми произвольно и незаконно, а потому недействительными. По крайней мере их не принял в расчет следующий устроитель секулярного праздника, Домициан (841 г. Рима, 88 по Р. Х.). Преллер думает, что секулярные игры получили, таким образом, два канона: стодесятилетний, Августа, этруссий, и столетний, исконно римский, воскрешенный Клав-

дием. Позднейшие держались — кто Августова порядка: Септимий Север в 957 г. Рима, кто Клавдиева: Антонин Пий в 900 году, Филиппы, отец и сын, в 1001. Впрочем, для последних соблазн справить тысячелетний юбилей Рима, естественно, должен был стать выше всех секулярных традиций и соображений. В третьем веке по Р. Х. секулярные игры справлялись еще — Галлиеном в 1012 г. Римской эры и Диоклетианом и Максимианом в 1051 году; очевидно, оба канона, Августов и Клавдиев, в это время были уже спутаны до неупотребительности. Вылинявший в веках, праздник справляли в те промежутки, которые были выгодны государям по их политическим соображениям. Уже секулярные игры Диоклетиана и Максимиана остаются под сомнением, состоялись ли они, а в четвертом веке, с христианской реформой, секулярное празднество увяло навсегда, хотя языческая оппозиция (Аврелий Виктор, Зосим) не раз напоминала правительству забытую волю Сибиллы и ставила пренебрежение к секулярным играм в прямую причинную связь с упадком империи. Как будто собирались справить се-

кулярный праздник при императоре Гонории. По крайней мере, современный поэт Клавдиан, приветствуя шестое консульство Гонория (404 г. по Р. Х.), говорит о каких-то предстоящих летних играх, «которые никому не суждено увидеть во второй раз». Нет никаких данных, да и невероятно по духу эпохи, чтобы это празднество побежденного культа могло осуществиться в христианском государстве-победителе.

На секулярном празднике Клавдия, в числе других архаических удовольствий и развлечений, возобновлена была «троянская игра» (*ludus Troiae*): род турнира или конной карусели, устраиваемой в память Троянской войны, как заповедал древний Эней и описал Virgilий. Приглашенный к участию в ней, вместе с другими детьми знатных фамилий, десятилетний Л. Домиций возбудил всеобщий восторг и совершенно затмил Британника, маленького наследного принца. Оно и понятно, Рим любил память Германика и потомство его, и внук народного героя, конечно, интересовал толпу больше, чем сын косноязычного, косолапого, не уважаемого Клавдия, на-

смешкой случая поставленного к рулю государственного корабля. Притом же, еще живы были в памяти народа жестокие преследования Агрипины Старшей императором Тиберием, ужасающая гибель ее сыновей Нерона и Друза, ссылка и голодная смерть самой вдовы Германика. Трагически быстрое крушение лучшей и наиболее чтимой ветви Августова дома окружило последних представителей ее ореолом сочувственной легенды. Знали, что Валерия Мессалина, ненавистная народу, всеильная супруга принцепса, люто враждует с Агрипиной и ищет погубить ее «отродье», как только что погубила она младшую из дочерей Германика — Юлию Ливиллу. Уверяли, будто императрица уже подсылала убийц умертвить крошку Домиция, но злодеи, хотя и проникли в спальню принца, не могли исполнить гнусного поручения, так как нашли колыбель младенца под священной охраной двух грозных драконов. Впоследствии, уже цезарем, Нерон сам высмеивал эту басню, объясняя, что чудесные драконы выросли в городской сплетне из крохотной змейки, действительно, как-то, однажды, заползшей в его

детскую. Воспоминанием о первом общественном успехе Нерона сохранилась медаль, изображающая его и еще трех юных всадников, с копьями и под взводным значком, и на обороте надпись: *Decursio Indus Troiaae*, — смотр конницы, троянская игра.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАБЫ РАБОВ СВОИХ

I

Осенью 801 (48) года придворная интрига, во главе которой стоял личный секретарь Клавдия, вольноотпущенник Нарцисс, сломила могущество Мессалины. Уличенная в бесстыднейших любоддеяниях, включительно до замужества от живого мужа-цезаря, подозреваемая в стремлениях к государственному перевороту в пользу своего любовника Кая Силия, шальная психопатка эта была зарезана в садах Лукулла. Они расположены были там, где теперь *via Sestina* и *via Gregoriana* поднимаются к *S. Tritita dei Monti*. Вольноотпущенники-победители, Нарцисс, Паллант и Каллист, затеяли окрутить овдовевшего принцепса новым браком. Каждый из трех сватал ему невесту, сообразно своим симпатиям и выгодам. Каллист стоял за прекрасную Лоллию Паулину, одно время сожительствовавшую с Каем Цезарем. Нарцисс предлагал восстановить порванный брак с разведенной су-

пругой принцепса, Элией Петиной, из рода Туберонов, от которой Клавдий имел дочь Антонию. Паллант настойчиво рекомендовал Агриппину.

Ловкость Палланта, бесстыдная навязчивость чувственному старику самой Агриппины: по свидетельству современников, она покорила его чрез злоупотребления правом родственных нежностей, *jus osculi*, и могущественная поддержка одного из подлейших, но и умнейших государственных людей века, Л. Вителлия, цензора, сделали вдову Криспа Пассиена супругой цезаря Клавдия. Самым могучим доводом в пользу этой свадьбы, давшим Агриппине, торжество не только над соперницами по соискательству руки принцепса, но и над самим законом, — ибо, ради союза Клавдия и Агриппины, сенат признал на будущее время правильными кровосмесительные браки между дядями и племянницами, — самым могучим доводом неожиданно явился именно заброшенный, полузабытый малютка Л. Домиций.

Пятивековая фамилия Клавдиев, всем видимо, угасала; связь ее с Юлианским династи-

ческим корнем, возникшая путем усыновлений, нуждалась в освежении и укреплении. Агриппина и сын ее, по прямому родству через женскую линию, стояли к основателю империи, Августу, ближе, чем Клавдий и его дети. Они — по женской линии, кровные Юлии, внуки Юлии Старшей, правнуки Августа, последние из фамилии, которую народ привык считать законно, то есть по праву обычая, властвующей.

— Чрез Агриппину, — убеждал Клавдия Паллант, — войдет в дом Цезарей Германиков внук и озарит фамилию государя новым блеском, присоединив к знатности Клавдиев свою тройную знатность — сына принцессы Августова дома, внука Германика и последнего Домиция Аэнобарба. Будет опасно для твоей фамилии, если она, женщина совсем молодая и испытанной плодовитости, вступит в иное супружество: тогда все ее преимущества окажутся во власти какого-нибудь, соперничающего с Клавдиями, дома и обратятся против цезаря.

Агриппина поняла, что в дальнейшей политической игре ее подрастающий сын дол-

жен стать главным и решительным козырем, и — следовательно — оставлять его долее в забросе и неучем невозможно.

Мальчик обладал живым природным умом и легкой восприимчивостью, — однако, не слишком выше обычного уровня своих лет и с весьма заметной склонностью к верхоглядству. Агриппина пригласила к сыну двух педагогов вольноотпущенников Аникета и Бурра или, как читают другие, Берилла, которого отнюдь не следует смешивать с Афранием Бурром, впоследствии также воспитателем и военным министром Нерона. Аникет должен был преподавать принцу технические знания; Бурр — греческую словесность и письменность.

Произвели Домицию экзамен. Обнаружилось, что, в свои уже одиннадцать лет, внук Германика все еще круглый невежда по всем предметам начального образования. Столь запоздалое невежество — до известной степени, тоже указание, что мальчик не жил при матери, когда она, блестяще образованная сама, была женой блестяще образованного Криспа Пассиена. А, впрочем, бывает и так, что

именно в очень интеллигентных на показ, светских семьях дети вырастают отчужденными от родителей, дикарями, потому что не до них и отцу-дельцу, и матери, царице салона *des esprits forts*. Миниатюрная Агриппина XIX века, Ребекка Шарп в гениальном романе Теккерея, строя свою великосветскую карьеру теми же средствами интеллигентного кокетства, сделала свой дом самым интересным и модным в Лондоне, но сын ее, Родон Кроули, рос на кухне забытым мужичонком. В доме тетки Лепиды, да, пожалуй, и в доме матери, Люция оставляли, за частым недосугом воспитателей его, танцовщика и цирюльника, на попечение простых рабов из дворни. Те таскали ребенка, вместе с собой, по уличной толкучке, заводили в кабаки, в маленькие театры, которые были не лучше кабаков, в цирк, приучая своего невежественного барчука к жизни ленивого и праздного зеваки. Весьма скоро выяснилось совершенное отсутствие у Домиция если не способностей, то охоты к какому бы то ни было серьезному предмету. Он ни к чему не имел склонности, ничего не хотел понимать, ничему не прида-

вал цены, кроме танцев, гимнастики, картин, статуй. Всего же заметнее выразилось пристрастие принца к наследственным слабостям предков Аэнобарбов — к театру и бегам.

Агриппина пришла в ужас. Она уже прочила обручить сына с Октавией, дочерью принцепса, своей падчерицей, и, для устройства этого брака, сплела целую сеть интриг, жертвуя своим целям позором и даже жизнью нескольких, ни в чем неповинных, людей; она подготовила Клавдия к усыновлению Домиция; — и, вдруг, этот жених дочери государя, этот кандидат в «принцы юношества», стоит перед ней безграмотным уличным мальчишкой, годным лишь играть в шары да лихо проскакать верхом на жеребенке. Надо было наверстывать пропущенное — и наверстывать спешно. Чтобы Домицию не скучно было учиться, его окружили свитой товарищей-ровесников, выбранных из знатных фамилий. Затем возник вопрос о воспитателе. Первый выбор оказался неудачным. О Бурре, который, по-видимому, занимал при Аникете второстепенное положение, известно, что впоследствии он управлял греческим столом соб-

ственной канцелярии принцепса Нерона и, в этой должности, брал взятки. Жестокие взятки, если они удостоились особой отметки от, привычных к пестрейшему и лютому лихоимству, бытописателей Рима. Аникет же явил себя никуда негодным педагогом и еще худшим человеком. Он не только не умел, но, по видимому, даже и не хотел отрезвить своего питомца от бреда лошадьми и актерами. Неуч и шарлатан из «греченков», *graeculus*, Аникет — первообраз Вральмана. Да и Домиций, под его руководством, вряд ли далеко ушел от Митрофанушки — тем более, что имелась при нем и своего рода госпожа Простакова, всем сердцем болевшая, как бы дитя не заучили, да как бы не заболело дитя. Роль такой потатчицы и баловницы взяла на себя Домиция Лепида: она ласкала племянника, осыпала его подарками, всячески старалась угодить ему и привязать его к себе, между тем как мать обращалась с Домицием строго, даже сурово. Он боялся ее, как огня, не смел и думать об ослушании и понес рабскую привычку безропотного повиновения далеко за пределы детского возраста.

Агриппина убедилась в необходимости спешно спасти сына от ложных влияний и произвела вторичный разгром его классов. Слишком поздно спохватилась: воспитание улицы и дворни успело лечь в душу ребенка неистребимым фундаментом. Со временем она успела пообтесать мальчика, вбить в него образование, изящные манеры, но ей уже не удалось спасти его характер. Воспитанник дворни и улицы, барчук-самодур, то истязатель, то приятель фамильярно-льстивого холопства, ученик бесконечной низости людей-вещей, живших в условиях цивилизованного дикарства, в состоянии почти совершенного этического неведения, в законах той нравственности, которую мы называем булменской или каторжной («хорошо — я украл, дурно — у меня украли»), — прочно засели в Нероне. Питомец рабства остался в нем жить навсегда и неизбежно смотрел из глаз его даже в лучшие и счастливейшие времена его короткого земного странствия. Понять фигуру Нерона человеку нашего века невозможно, если он не примет во внимание рабской почвы, сквозь которую выползли на свет, уже

отравленные опасной наследственностью, корни этого благородного дерева, которому суждено было вырасти ядовитым анчаром. Нерон ли, Клавдий ли, Агриппина ли, Мессалина ли, все они и они современному уму дикки, призрачны и даже маловероятны до тех пор, пока мы, отстранив их фигуры, не изучим основной фон, на котором возникали, развивались, действовали, разлагались и исчезали подобные характеры: зловещий фон римского рабства.

Обращаясь к исследованию института рабства, я займусь им здесь, согласно вышесказанной цели, только в городских его проявлениях. О рабе усадебном, сельском, будет более уместно поговорить особо и подробно в главе о земельном хозяйстве императорского Рима. Сверх того, нам предстоит еще встретиться с общими вопросами рабства в главах о вольноотпущенных (II том) и христианстве (IV том). Что касается рабства городского, дворового, я сперва обрисую общую роль его в быту античного Рима, в социальной машине которого он был из главных пружин. А затем остановлюсь с особым вниманием на огромном

значении рабства в воспитании юношества и в дефектах античной педагогической и общей морали.

* * *

Нет страны, где хозяева не жаловались бы на слуг, не считали бы прислугу необходимым злом, неизбежным бичом домоустройства. Жалобам этим много веков. По сохранившимся свидетельствам древних хозяев, римский раб был каким-то оптовым вместилищем всех пороков. Обвинения хозяев не были далеки от истины. Забывалось в обвинениях этих одно: насколько пороки раба являлись необходимым следствием его положения.

Раб был лгуном из лгунов. Но без лжи ему и дня не прожить бы: научишься хитро скрывать свои проступки, когда за малейший из них спустят со спины шкуру в домашней чижовке (*ergastulum*), в которой Валлон усматривает родоначальницу европейских «рабочих домов» и тюремного заключения с принудительной работой. А без проступков не обойтись: человек не непогрешимая машина, хотя господа и добивались сделать его машиной.

Как наказывали своих рабов даже добродетельные люди, свидетельствует пример Катона Старшего: слуга, провинившийся перед этим хрестоматическим образцом всех римских доблестей, предпочел — чем идти на суд грозного господина — самому удавиться.

Раб — всенепременный вор. Но как ему не быть вором, когда он — нищий, в самом буквальном смысле этого слова, а кругом — сытое по горло довольство и безумнейшая роскошь?

Раб — лентяй, обжора и пьяница.

Немудрено сбиться с пути и по этой части.

За множеством рабов труд их в доме дробился до смешной мелочности. Значительной физической силы от обыкновенного домашнего раба не требовали, а потому не заботились о питании, которое поддерживало бы физическую силу. Пищу рабам давали грубейшую и в самых маленьких дозах — благо прекрасный климат Италии помогал беднякам выдерживать с грехом пополам их вечный невольный пост. Между тем, хозяин этих голодных бедняков, точно нарочно, дразнит их аппетит, ежедневно объедаясь и опиваясь на

бесконечных обедах, занимавших целые вечера до поздней ночи. Правда, Катон Старший хвалился, что, бывая в деревне, питается одной пищей со своими рабами. Но, во-первых, одна ласточка весны не делает; а во-вторых, — я полагаю, рабам было не много утешения в том, что их скряга- господин имел луженый желудок, способный иной раз, в виде исключения, переварить мерзость, которой их питают изо дня в день. По крайней мере, рецепт вина для рабов, оставленный Катонем, — невозможная гнусность. Именно уж — «не всякий эту марку выдержит». Сам Катон утешает рабовладельца, что — если рекомендованная им смесь не пойдет рабам в рот, и они не выпьют «вина» до летнего солнцестояния, то его можно употреблять в хозяйстве как крепчайший уксус. Катонина месячина рабам — 1♦♦ четверика хлеба летом; зимой, а также при нездоровье раба, порция эта сокращалась. От такой жизни не диво показаться обжорой, когда припустят к еде вволю, и запить, когда дорвешься до кувшина с добрым вином.

Разврат свирепствовал в рабской среде

еще сильнее пьянства. Понятно и это. Женщина была брошена к рабу в столь соблазнительную близость, что и праведнику легко пасть. А какое наслаждение, кроме чувственности, остается человеку, если ему заказаны все пути иных страстей, — человеку, не имеющему права ни на честолюбие, ни на гордые планы, ни на собственность и стяжание богатств, ни на умственное и нравственное преуспеяние? Наслаждение — неуклонная потребность человеческой природы; оно нужно нам, как воздух для дыхания, — и каждый дышит им, где и как может (Lacombe).

Что римский раб, по общему уровню нравственных качеств своих, стоял несравненно ниже современного европейского слуги, — это несомненно. Придавили его и принизили, конечно, прежде всего — жестокость и суровость господской власти, которых современный слуга, — свободный, как и мы, равноправный с нами гражданин государства, — уже не знает. Но, помимо этого главного фактора, были и другие, менее яркие, но столь же влиятельные.

Можно постановить общим правилом ка-

сательно прислуги: чем больше слуг в доме, тем хуже их нравы. Возможность свалить свою работу или хоть часть ее на другого — развивает лень. «Людская» становится своего рода клубом, приучающим к пустословию, сплетням и почти болезненной праздности. Надежда не попасть под следствие самому, за большим выбором объектов подозрения, дает смелость к мелким кражам. Слуга наглует, развращается, становится никуда не годным. От крепостной «Лакейской» Гоголя до свободной людской господ Звездинцевых в «Плодах просвещения» Л.Н. Толстого прошло несколько десятилетий, — в промежутке произошел огромный перелом 19 февраля, — а нельзя сказать, чтобы среда, изображенная обоими писателями, много разнилась в двух, столь разновременных, зеркалах своих. То же самое «лодырничество» — тупое и напрасное прозябание многих людей, купленных служить на праздность одного человека. Григорий Павлович Гоголя — точно по прямой линии дедушка Григория «Плодов просвещения», с сохранением всех родственных черт.

Римлянин, даже среднего сословия, упо-

треблял на службу себе вчетверо больше людей, чем современные богачи. Мы, — когда нет денег держать камердинера, горничную, кухарку, — не считаем стыдом сами вычистить свое платье, убрать комнату, зажарить бифштекс на керосинке. Для римлянина возможна была бедность — до совместного с рабом питания сухим горохом, но немыслима бедность без раба. Свидетели — Горацій, Виргилий, Валерий Максим. Первый, жалуясь в одной сатире на свою крайнюю бедность, дает, однако, понять, что ему за столом, когда он обедает дома, служат три раба. Второй упоминает о бедняке-крестьянине, который, однако, тоже имеет раба для услуг. Третий, описывая спешный и тайный отъезд одной дамы, не умеет подчеркнуть эту спешность и таинственность нагляднее, чем отметкой, что беглянка взяла с собой всего лишь двух слуг и двух служанок. Катон Утический, человек скромного образа жизни, особенно «стеснил» себя в период гражданской войны между Цезарем и Помпеем. Удаленный волей обстоятельств от своего домашнего очага, лишенный значительной части своих доходов, чув-

ствуя себя в беспрестанной необходимости кочевать с места на место, Катон, однако, влачит за собой по Италии свиту из 12 рабов.

Первоначальную бедность Скавра, впоследствии первоприсутствующего в сенате (*princeps senatus*), тот же Валерий Максим определяет в 35.000 сестерциев (3.500 рублей) деньгами и в десять рабов людьми. У писателя Апулея, Пуденцилла, владельница четырех миллионов сестерциев (400.000 рублей), имеет 800 рабов, коих, как и денежный капитал, делит по дарственной описи — половину детям, половину себе. Обращаю внимание на довольно схожее в обоих случаях соотношение количества рабов с суммой денежного капитала: на 35,000 сестерциев — 10 рабов, на четыре миллиона сестерциев — около 1,000. На каждого раба, следовательно, приходится около 3,500 сестерциев, то есть 350 рублей, душевой ценности. Быть может, как предполагает Р. Lacombe, раб в общежитии римском был такой же живой монетой, с ходовой, установленной обычаем стоимостью, как у нас, при крепостном праве, ревизская душа, за которой с такой выгодой для себя охотился

незабвенный Павел Иванович Чичиков.

Средним числом, на римскую семью среднего сословия приходилось не менее 10 рабов. Всаднические дома имели их по сто и более. В сенаторских дворцах они кишели сотнями. У императора их было от 1,500 до 2,000. Тацит рассказывает нам убийство Педания Секунда одним из его рабов. По закону, если раб налагал руку на своего господина, погибал смертью не только сам он, но и вся «фамилия» рабов, жившая с убийцей под одной крышей. Умерщвлено, в отпущение за Педания Секунда было в Риме несколько домов: какое же, в общем счете, войско рабов должен был иметь этот патриций-разбойник.

Нашу обувь шьет, наше платье выделывает, наш хлеб печет, статуи для нас ваяет, картины пишет — свободный труженик, живущий вне нашего дома. Римский комфорт устраивался весь, до последней мелочи, рабскими руками, работавшими в границах усадьбы рабовладельца. Такой полноты и последовательности в этом отношении мы не наблюдаем в рабстве ни у одного другого народа. Русские крепостные дворни, с собствен-

ными труппами всевозможных артистов, могли, быть может, развиваться в подобную же систему, но не успели: освободительное движение и удешевленные машинные производства пресекли их эволюцию.

Роскошь имеет свою историю, свои последовательные типы. Если сравнивать роскошь римлян с роскошью последующих веков, то окажется, что римская эпоха значительно уступала в пышности одежд, мебели и домашней утвари некоторым эпохам средних веков и Возрождения. Англия если не перегнала, то догнала Рим роскошью своих городских дворцов, вилл, садов, парков. Но ни один народ не позволял себе равной с римлянами роскоши в прислуге: ни даже поляки и русские в период крепостного права.

В этом римляне неподражаемы. Зависит это от неподражаемости их и в другом историческом отношении, более славном: ни один народ не хранит в своей летописи такого количества одержанных побед и закрепленных завоеваний. В древности победитель не только грабил побежденного, что весьма часто и с большим усердием делается и те-

перь, — вспомнить хотя бы Китайскую войну нашу! — но и забирал врага в неволю: целый народ или лучшая часть его делалась рабами. Когда римляне, мало помалу, покорили народы Лациума, Греции, Италии, Карфагена, Галлии, германцев, сарматов, — количество рабов в Риме должно было вырасти неимоверно, а рыночная цена на них упасть, сообразно огромному предложению. Стоимость обыкновенного раба, годного быть лишь рабочей силой, никогда не поднималось выше 250—300 рублей. Я уже говорил, что в такую приблизительно сумму фиксировалось соотношение капитала денежного с душевым. Но с этой официально обычной ценой можно было торговаться до баснословия. По данным Дж.К. Ингрэма, в эпоху Антонинов можно было купить раба за 2 рубля. Такса на рабов установлена только Юстинианом. Раб старше 10 лет стоил 100 рублей; умеющий писать — 250 р.; взрослый евнух — 350 рублей. Если сравнить эти цены с прейскурантами торговли людьми в Америке или даже с нашими крепостными подвигами, когда целые деревни отдавались в обмен за краснопегого кобеля, — они пока-

жуются, пожалуй, не маленькими. Но в Риме, вообще, все было дорого, за исключением предметов первой необходимости. На римском рынке не редкость было видеть, что по одной цене переходили к покупателю и живая морская рыба, и раб, который был послан продать ее на базар. Цены на рыбу были, несмотря на близость моря, прямо ужасны. Иные деликатесные сорта ценились до 300 рублей за штуку и даже выше. Продажа раба в придачу к вещи — самое обыденное дело в римском быту. Ниже мы познакомимся с неким Ктезинном, которого богатство и счастье начались с того, что он был продан в рабство одной беспутной прожигательнице жизни, в придачу к канделябру из коринфской бронзы. Это — совершенно, как Лесков рассказывает, что в голодные годы Орловской губернии местные «кошатники» платили за кошку по гривеннику «вместе с хозяйкой»!

Обыкновенный «дешевый раб» скупался римлянами ради самого дешевого, но вместе с тем самого необходимого эффекта — «роскоши Людьми»: если не поражать качеством рабов, то надо удивлять толпу хоть их количе-

ством, — а последнее, при рыночной цене в 2 рубля за «душу», богатому человеку не трудно было довести до каких угодно цифр.

Впрочем, помимо дешевого щегольства обилием прислуги, это гуртовое скупание людей имело для римлянина и непосредственно практические последствия, общественно-политического свойства.

В течение всей своей истории, Рим делился на две великие классовые партии — патрицианскую и плебейскую — хронически враждебные между собой. В обычное время вражда лежала глухо замкнутая в самой себе, молчаливая, выжидающая удобных моментов, чтобы утолить ненависть. Порой же, неудержимо вспыхнув пожаром, она обострялась до свирепости. В обеих партиях существовали свои фракции, отнюдь не уступавшие буйством главным; фракции эти ютились при знатных фамилиях и питались их наследственной, одна к другой, ненавистью. Партийное и фракционное дробление поддерживалось ежегодными выборами на общественные должности; из года в год воспалялись страсти избираемых и избирателей. Полити-

ческое соперничество не умирало. Если время уничтожало одну партию, немедленно возникала другая. Знатный римлянин, в вечной погоне за общественной ролью, постоянно шел вперед сам и вел за собой людей своих. Взойдя на одну ступень государственной лестницы, он уже заносил ногу на следующую и не жалел средств, чтобы достигнуть новой цели: приобрести то или другое положение для римлянина значило забыть о приобретенном и искать, исходя от него, нового, которое надо приобрести. Все это придавало общественной жизни Рима крайне напряженный характер. Подобное напряжение честолюбий и партий, вслед за ними идущих, Западная Европа переживала в смене конституций за тридцать лет от начала первой французской революции до реставрации Бурбонов. В миниатюре, подобные политические картины, пожалуй, дала в наши дни бурная и смутная жизнь новорожденных балканских конституций XIX века или южноамериканских республик. В них, именно как в античном Риме, падение правительства — всегда оптовое: от президента и премьер-министра

до последнего писца; и наоборот, удачное pronunciamiento дает должности не только главам, рукам, очам, ушам государства, но и сменяет таможенных дозорщиков и третьеразрядных телеграфистов. Рим жил в такой лихорадке, изо дня в день, многие века.

Кампания политической борьбы была та же по существу, что и ныне в конституционных и республиканских выборах, и работала по тем же системам борьбы. В практической агитации, проводя к власти своих излюбленных людей, она задавалась, прежде всего, целью подорвать в общественном мнении доверие и уважение к противной партии, измарав репутацию ее представителей. Но средства и орудия борьбы были смелее, наглее нынешних и имели особенности, по современным этическим взглядам, более чем неприглядные, а по юридическим — преступные и рискованные. Излюбленным орудием политической борьбы являлся донос, обвинявший противника в преступлении государственном, религиозном или против семейного союза.

Множество людей с историческими именами начинало свою карьеру бесчестными

процессами по ложному доносу. Услуги доносчиков оплачивались от правительства не только деньгами: им сверх того доставались государственные должности. После каждого громкого процесса распределялись должности преторов и эдилов. Количество обвинителей разрослось до такой необъятности, что общественное мнение спасовало перед ними и оказалось вынуждено переменить свое отношение к их деяниям. Сперва в ложном доносе перестали видеть что-либо необыкновенное: что же, мол, тут особенного? Дело житейское! Сегодня я донес — завтра на меня донесут! Затем порок развился до полного извращения нравственных понятий. «Всех обуяла какая-то мания обвинения», говорит Сенека. Даже для самых честных людей дерзкая и ловкая защита наглой политической клеветы становится как бы проявлением Великого духа, доказательством благородного происхождения. Человек бравирует подлостью и зовет умереть за нее своего врага, — а если тот одолевает, сам несет свою голову на плаху. Идет какая-то непрерывная дуэль на клеветах — с той же дикой логикой, с тем же шальным

риском и с тем же общественным к ней отношением, что и в настоящее время видим мы в дуэльных историях. Не извиняет ли общество иной раз самый гнусно-бреттерский вызов, совершенно забывая безнравственность его причин и повод с точки зрения общей этики, — только за то, что, вызывая вас на поединок, бреттер и сам не лишен некоторой возможности получить пулю в лоб?

Но, в чью бы сторону ни клонились симпатии посторонней публики, лицу, страдательно заинтересованному в деле, жертве обвинения, было до того мало дела. Пусть толпа рукоплещет удальству нахала-доносчика. Для обвиненного этот удалец, желающий на его гибели построить свою собственную славу и благополучие, — просто негодяй, и против него позволительны все средства самозащиты. Время было мрачное, нравы жестокие. Самый честный человек, в подобных случаях, не всегда уходил от искушения ответить доносчику на ложное обвинение тайным ударом меча или кинжала из-за угла. Тем более, что убивать самому не было надобности: не требовалось даже приказания верной двор-

не, — рабы сами догадывались, что надо господину, — оставалось только не мешать усердию рабов. Естественно, что, при подобных правах, законах, в таком борении страстей, каждый государственный человек стремился иметь как можно больше слуг — на случай, вдруг придется отразить ночное нападение на свой дом, или окружить себя толпой личных телохранителей на дневной прогулке. Классический пример: личная гвардия — вооруженная дворня — императрицы Агриппины, матери Нерона, оберегавшая ее даже в дни опалы. Государственной полиции не хватало средств для охраны граждан, — граждане завели свою собственную полицию и милицию из рабов. Понятное дело, что в руках иных буйных людей противоядие обращалось в яд, средство обороны — в орудие нападения. Между двумя враждующими соперниками возгоралось соревнование: за кем тянется большая свита вооруженных рабов. Таким образом Клодий и Милон водили за собой по улицам целые военные отряды. Известно трагическое столкновение на *via Arria*, которым кончилось их соперничество. Их случай — не

исключительный, но типический: у многих в Риме были отряды слуг-убийц, столь же многочисленные, как у Клодия и Милона.

Обычай этот, мало-помалу, вырос в размеры, серьезно угрожавшие республике распадом в синьории феодального типа и кулачного права, — фазис, от которого спас государство только быстро наступивший век восточных и северных войн: поколение авантюристов-конквистадоров бросилось на Азию, Африку, Испанию, Галлию, как пятнадцать веков спустя испанцы на Америку. Каждый завоевывал свое право на государственный переворот извне и рано или поздно погибал в междоусобии с другим кандидатом на *prominciamento*, покуда ряд подобных претендентов не сократился до единиц, а расшатанность государства не дозрела до потребности в демократическо-имперской революции. Угроза государству со стороны вооруженных магнатов-рабовладельцев была очень хорошо понята республикой — особенно после того, как восстания в Сицилии и знаменитое Спартаково показали, какие великолепные солдаты скрываются в рабских массах. Испуг пред

этой угрозой держался веками. Дело Каталина было политически погублено и память его стала ненавистна Риму именно за попытку опереться на рабскую «гайдамачину» — пустить в ход освобожденных и вооруженных рабов. Гораздо позже, в политических процессах принципата, постоянный припев к обвинительным пунктам: «он или она вооружали своих рабов», «держали толпы вооруженной дворни». На этих обвинениях сломали свою голову многие знатные господа и дамы, не исключая принцев и принцесс Августова дома. Для примера достаточно указать все ту же Домицию Лепиду, из рода Аэнобарбов, тетку Нерона Цезаря.

Раб — в римской республике — враг по презумпции, естественно и непременно заподозренное орудие мятежа. Он — двуногий скот, и как четвероногой скотине естественно кусаться, лягаться, убежать от хозяина, при малейшей к тому возможности, так и рабу свойственно носить в груди своей вечный тайный бунт и, при первом удобном случае, либо бунтовать самому, либо становиться органом господского бунта. Всякий рабский кол-

лектив — страшилище для римского правительства, всегда подозревающего в нем планы политической интриги. Авантюристы-негодяи, вроде Клодия, обращали свои дворни в разбойничьи шайки. Авантюристы поумнее, с историческим честолюбием, пользовались ими для приобретения общественной популярности. При Августе, эдил Руф Эгнатий, эффектный демагог, впоследствии вызвавший серьезную смуту в государстве, обратил челядь свою в пожарную команду и, ударив тем по одному из главных зол тесного, полудеревянного Рима, произвел поистине оглушительное впечатление. Правительство вынуждено было замять эту частную инициативу поспешным учреждением казенной пожарной команды. А затем private начинания такого рода рассматривались злопамятной властью как неблагонадежная претензия, даже сто лет спустя — при императоре Трояне. Капиталист Красе, глава плутократов в последнем веке республики, кредитор всех авантюристов-конквистадоров и сам международный разбойник, мирно и законно завоевал Рим при помощи рабов своих. Подобно

позднейшему Руфу Эгнатию, он организовал 500 из них в команду или артель, но не для тушения пожаров, а для эксплуатации их последствий. Он скупал погорелые места, воздвигал на них новые дома и таким образом, — говорил Плутарх, — сделался собственником большей части римских недвижимых имуществ. Этот Красс был знаток рабского труда и высоко ставил его. «Должно управлять всем чрез рабов, а самому управлять рабами»: такова была политическая формула этого властного плутократа. Впоследствии Тиберий Цезарь, собственно говоря, повторил ее, хотя и иносказательно, когда утверждал, что он господин — для своих рабов, император — для солдат, а для всех остальных — только принцепс, первый гражданин. Смирные слова эти звучат большим глумлением над обществом, когда мы вспомним, что — в полное политическое оправдание и торжество Крассова афоризма — именно принцепс-то и не смог обойтись в «управлении всем» без рабов и должен был поставить их во главу своего государственного здания, а для того, чтобы свободному Риму не было уж

слишком зазорно и обидно, развил и укрепил компромиссное сословие либертов, вольноотпущенников.

Во все времена богатство и высокое общественное положение символизировались внешними отличиями. Но знаки эти, в течение веков, выродились. Поучительна разница их в прошлом с настоящим. Черный фрак от хорошего портного и собственный экипаж или автомобиль заменяют современному патрицию бархат, атлас, кружева, позументы на одежде, которыми знатность рода и крупный капитал кричали о себе всего еще сто лет назад. Нарядись сейчас принц крови или Ротшильд маркизом XVIII века, он, конечно, вызвал бы отнюдь не уважение к себе, но чувство совершенно обратное: что, мол, ему вздумалось ходить гороховым шутом? Пестрота богатства перешла к лакеям. Самоцветными камнями сверкают теперь только шулера-«бразильянки» да клоуны из цирка. Нам ничуть не кажется странной прогулка государственного человека — Клемансо, Бюлова, Жиолитти — одного, пешком, без слуг и провожатых. Даже при выездах в экипаже, у зна-

ти почти выродился обычай брать с собой ливрейного лакея.

Римляне эпохи цезарей в простоте одежды, пожалуй, превзошли даже современные требования скромного изящества. Отличием членов высшего общества являлась лишь пурпуровая повязка. Шерстяная тога богача отличалась от тоги бедняка лишь более тонким достоинством ткани. Но свиту Рим не только любил — он требовал ее от знатных своих любимцев; она была необходимою, — первым из приличий, вменяемых обществом в обязанность порядочному человеку. Сановник, который показался бы на улице один, без свиты, произвел бы невыразимый, ни с чем несравнимый скандал. Статский советник Попов, который в смешной балладе Толстого явился с визитом к министру, забыв одеть брюки, — единственный грешник, подходящий, по нашему кодексу приличий, к такому ужасному грешнику против кодекса римского. Ювенал издевается над адвокатом, дерзнувшем явиться в суд с незначительным числом рабов: чтобы не показаться смешным и жалким, их надо было водить за собой не

менее 7—8. Вообразите только себе Карабчевского или Грузенберга, шествующих по Литейной в окружной суд в сопровождении всех своих домочадцев! Когда адвокат имел мало рабов собственных, он брал их «напрокат» у знакомых.

Таким образом, рабов копили как силу не только рабочую, но и боевую, и показную. Но не вечно же драться с врагами, не вечно же величаться пред публикой. Что же делать с этой несчетной оравой людей в обычное время? Чтобы занять ее хоть несколько в течение дня, приходилось, как уже сказано, ужасно дробить труд. Один имел обязанность лишь ходить за водой в ту минуту, когда хозяин садился за стол. Другой — сопровождать хозяйку, когда она выходила по утрам: дневные ее выходы касались уже другого раба. Слуге, приставленному носить дождевой зонтик, было нечего делать в хорошую погоду, — за дело принимался его товарищ, носитель зонтика от солнца. Даже раб-докладчик, чья должность — называть поутру господину своему по имени всех клиентов и вольноотпущенников — была все же из трудных, сравни-

тельно, — после утреннего приема оставался свободным на целые сутки. Словом, рабская половина римского дома жила и работала именно по тому порядку, который провозглашает своим идеалом Григорий в Гоголевской «Лакейской»: «У хорошего барина лакея не займут работой: на то есть мастеровой. Вон у графа Булкина тридцать, брат, человек слуг одних. И уж там, брат, нельзя так: «Ей, Петрушка, сходи-ка туды!» — Нет, мол, скажет, это не мое дело: извольте приказать Ивану. — Вот оно как! Вот оно, что значит, если барин хочет жить, как барин».

Такой порядок был стеснителен, — прежде всего для самого хозяина. Если, по крайней необходимости, он приказывал одному сделать что-либо, официально входящее в обязанности другого, он мог быть уверен, что ему несколько дней будут служить дурно. Поэтому старались, по возможности, оставлять каждого слугу лишь при его собственном амплуа, — дробном и незначительном. И, таким образом, римский раб получал широкую возможность прибавить к порокам, обусловленным ужасами рабства, еще и все другие, про-

исходящие от праздности.

Богатый римский дом с огромным его населением напоминал казарму, с той разницей, что войско, ее обитавшее, делилось, — хотя и довольно небрежно, — на два пола. Казарма устроена дурно. Обитатели ее размещены нелепо. Три четверти их — рабы; между тем, для рабов в римском доме почти нет приюта. Осматривая развалины Помпеи, невольно недоумеваешь: куда же римляне девали своих слуг на ночь? В римском доме обращали внимание на комфорт лишь покоев «парадных»: столовой, дворов, коридоров, вестибюля. К личному своему помещению римлянин был столь же невзыскателен, как иной российский Колупаев, который, купив миллионный дом прогоревшего аристократа, продолжает, однако, жить в грязном флигельке и спать на лежанке под тулупом. Тесные спальни римлян даже плохо запирались; иногда их отделяла от общих покоев только матерчатая занавеска. Так мало заботясь о собственных своих удобствах, римлянин, естественно, совсем не заботился об удобствах своих рабов. Раб мог валяться, где его свалит

с ног сон, конечно, при условии, что чей-нибудь властный пинок его оттуда не прогонит. Нельзя, впрочем, утверждать, чтобы в миниатюрных «людских» Рима господствовало смещение полов. Вероятно, женщины и мужчины имели отдельные дортуары; быть может, даже отводился отдельный дортуар для женатых. Но все это — клетушки без дверей, с перегородками ниже потолка; это — в лучшем случае, «углы» современного ночлежного дома. И последствия были те же, что от «углового» быта. С самого раннего детства раб развращался, видя и слыша секреты половой жизни старших. Мы, люди XX века, стараемся размещать своих слуг и служанок как можно дальше друг от друга — за глухие перегородки или на разные концы квартиры. А, между тем, слуги наши имеют против разврата крепкую социальную узду, какой античные рабы не имели. Для современных слуг существует тот же прочный брак, что и для господ. Оскорбленный супруг властен преследовать по закону кухарку или горничную-прелюбодейку; государственный строй равняет его в этом праве с любым князем или графом. Обществен-

ное мнение своей среды так же строго карает развратную служанку, как и развратную женщину из правящих классов. Современный слуга, женись и рождая детей, получает, de jure, семью, столь же крепкую и правоспособную, как семья миллионера. Он имеет право воспитывать своих детей, и инстинкт родительской любви учит его воспитывать их, конечно, в началах добра, а не зла.

Римские законы почти ничего не говорят о *contubernium* — браке между рабами. Понятно: это — брак без всякой юридической основы, кроме произвола хозяина. Во власти последнего — возникновение брака, длительность, характер, расторжение. Это даже не русские крепостные браки, которыми злоупотребляли иные помещики. Крепостного можно было насильно женить, но нельзя было развенчать с женой, — церковь становилась между брачной четой и произволом владельца. Правда, разные Куроедовы и на такое посягали, но одно дело — разбойное самодурство в кулачном нарушении права и злоупотреблении господской властью, а другое дело — отсутствие самого права, принципиаль-

ная незащитность брачного союза перед личным произволом барина. Брак римского раба — просто случайное наложничество с разрешения господина, и даже лично им устриваемое и управляемое. Колумелла и Катон уясняют нам взгляд римлян на рабские браки, — по крайней мере, что касается рабов деревенских. Последними, — когда господин проживал в городе, управлял *villicus*: вроде русского крепостного бурмистра. Как посредник между господином и рабской массой, *villicus*, хотя и раб *de jure*, пользовался *de facto* положением свободного человека. В интересах хозяина было, чтобы *villicus* был уважаем, был человеком нравственным, имел семейные добродетели, — а для этого ему следовало дать семью. И вот, действительно, брак *villicus*'а — учреждение, сравнительно, прочное. Как господин, так и вся фамилия признают этот рабский брак законным и заслуживающим уважения, стараются не нарушать его и не оскорблять его святости.

Но пример этот обусловлен интересом хозяина иметь раба нравственного. Когда в интересах хозяина было обратное, — чтоб раб

был распутным, — римлянин не колебался ни на минуту распорядиться его семейным счастьем, сообразно своим выгодам.

В самую блестящую эпоху Рима вполне порядочные люди не стеснялись продавать развратникам своих красавиц-рабынь. Правда, римлянину воспрещалось развращать своих рабынь самому, у своего домашнего очага; но эта охрана была установлена вовсе не ради чести рабынь, но — дабы не позволить *pater familias*'у ронять свое священное достоинство домовладыки. Катон Старший — Степан Михайлович Багров античного мира, крепостник-патриарх, идеал рабовладельца, — создавший чуть не целую науку об эксплуатации человека в качестве рабочего скота, — держал оба пола своей челяди строго отделенными друг от друга. Если раб желал завести интрижку в девичьей, суровый Катон тому не препятствовал, но взимал с влюбленного известную плату звонкой монетой, учитывая ее из *resulium* раба{5}. Контрабандные же романы он преследовал с жестокостью Салтычихи, ибо убыток нести — терпеть не мог. Но — только по этой причине... В общем, союзы ра-

бов, хотя бы и с частыми переменами мужа и жены, поощрялись. Варрон видит в них гарантию хорошего поведения и верной службы. Колумелла подчеркивает выгоды от приплода детей и даже советует вознаграждать многоорождающих рабынь облегчением от работ, а по известном количестве ребят, и отпуском на волю. Как видите, здесь нет сходства ни с нравами нашего крепостного права, ни даже неволи негров в Америке: и в крепостном праве, и в американском рабстве свободные союзы преследовались с особенной жестокостью. Девки, — с остриженными косами, в затрапезке, сосланные на скотный двор либо в степную деревню, — еще у многих стариков в памяти, а по литературе всем известны. Крепостное право смотрело на своего кабальника как на скот рабочий, римское право — как на племенной.

Свободное население Рима часто впадало в дурные нравы; тем не менее, Рим никогда не отступал от моногамии — узаконенного идеала супружеской верности. Последнюю римлянин нарушал десятки раз, но признавал ее условную святость: принимал, что она — за-

кон, а он — грешник. Раб не мог воспитать в своей душе моногамических идеалов. Его тело, его воля, его чувства были подчинены хозяйскому произволу; куда гнул этот произвол, должны были гнуться и они.

При Антонинах мы видим некоторое вмешательство государства в брачные права рабов: господин не смеет более разлучить тех, кого он соединил, продать жену от мужа, отца — от детей. Но римский закон никогда не мешался во внутренний распорядок дома свободного гражданина. «Civis romanus sum» — формула, стоящая, в своем роде, английского «habeas corpus». В стенах своего дома римлянин — царь. Он пользуется своим рабским стадом для своего удовольствия или для удовольствия своих гостей, как ему угодно. Красс скрывается в имении Вибия. Чтобы в невольном своем уединении избалованный вельможа не чувствовал ни в чем недостатка, Вибий предоставил ему в распоряжение свою девицу.

Положение мужа-раба было, таким образом, самое несчастное. В любую минуту господин может взять его жену для себя или предо-

ставить ее кому-либо из своих знакомых. Тут даже ревности нет места: это — порядок вещей, рожон, против него же не попреси. Понятно, что, сознавая свою жену достоянием многих других, раб переставал ревновать ее и к равным себе, к товарищам по неволе. Да и что пользы было ревновать? Ревность имеет какой-нибудь смысл, когда может выразиться мщением. Но раб не имел права мстить ни жене-обманщице, ни товарищу-сопернику. Убить их или даже ранить значило — нанести ущерб собственности хозяина, испортить принадлежащую ему вещь. Каковы бы ни были мотивы преступления, хозяин мог казнить раба-преступника, не рассуждая, прав он или не прав, но просто, как убивают бешеное животное, — чтобы других не перекусало. Жаловаться хозяину? Да ему-то какое дело, верна рабу его жена или нет? Пусть эти двуногие самцы и самки устраиваются со страстями своими, как сами знают. Нравственность их — вне хозяйских расчетов. Напротив, — как свидетельствует Тертуллиан, — хозяину даже прямая выгода, чтобы рабская любовь сосредоточивалась вся в стенах его дома, что-

бы его рабы любили исключительно своих же подруг, а не чужих рабынь. Тогда они не будут убегать ночью из дома, не будут, усталые после бессонной ночи, дурно служить днем, зевать, небрежничать в работе и, наконец, главное, не будут увеличивать детьми своими богатства чужого, а не своего дома. Иные хозяева даже поощряли разврат своих рабов, рассчитывая чувственным интересом привязать их прочнее к дому и удержать от праздного шатания по городу. То, что теперь в Париже, Берлине, Петербурге практикуют хозяева публичных домов, развивая между обитательницами их противоестественные связи, — «чтобы не заводили любовников на стороне и сбережения свои тратили бы в доме».

Некоторые надгробные надписи дают нам понять, что между рабами все же бывали прочные, бракоподобные связи. Конечно, нет правила без исключения: и в рабстве, как во всякой иной среде, встречались натуры, созданные для половой верности; бывали и хозяева, из гуманности или по интересу поощрявшие эту благородную склонность. Но чтобы установить предположение о рабском бра-

ке, как твердом и прочном институте обычного права, нужны миллионы таких надписей, а их не насчитывают даже сотнями. К тому же, есть другие надписи, которыми выясняется глубокая нравственная распушенность раба, — даже при условии прочной бракоподобной связи. Один раб сообщает нам, что женился на своей сестре; другой оплакивает одновременную смерть обеих своих жен. И кровосмешение, и двоеженство — по римским законам — преступления. Однако, раб смело заявляет о них, и власть не вмешивается в его интимность. Его половой грех — не грех, потому что и брак его — не брак, а сам он — не человек, но племенной скот. В одной из комедий Плавта, два раба, возвращаясь с господином на родину, радуются, что наконец-то они увидят свою общую жену.

Таким образом, римский дом заключает в себе два общества, резко различные с точки зрения нравственных требований, — как бы два разных рода человеческих. Один — господа — снабжен государственно-семейным кодексом морали, которую он обязан уважать, даже когда ее нарушает. Другой — рабы, для

которых все обязанности заключены в исправности тела его; у которых — как бы не душа, но пар; для которых нет ни нравственности, ни иных правил к жизни, кроме тех, что диктует приказ господина, подкрепляемый кулаком и плетью. Две расы эти живут в тесной близости одна к другой. Они дышат друг другом; они, разобщенные во всех условиях жизни, в то же время, однако, скреплены между собой, как сиамские близнецы. Говорят, эти уроды терпеть не могли друг друга, что даже дало Марку Твэну повод написать очень смешной очерк. Если это правда, то нельзя найти другой эмблемы, более выразительной для взаимных отношений рабской половины древнего человечества с половиной свободной.

Сильная и культурная половина презирает темную и слабую, слабая и темная ненавидит господствующую. Но, презирая своего развратного раба, полускота-получеловека, гордый господин не чувствует, как, — по закону взаимовлияния, — «он сам отражает на себе, точно в зеркале, все пороки и все унижение человеческого существа, им поруганного: как

раб, — незаметно и сам того не сознавая, — с медленной верностью, неуклонно увлекает общество господ в ту же мрачную пропасть, на дне которой он сам копошится»... (Лакомб.)

II

Итак, каждый римский домохозяин содержал под своим кровом целый — говоря прямыми словами — табун двуногого скота. Пусть табунами этими управляли через посредников: хозяин все же не мог не знать, что творится в среде его людского стада, — разве, что он преднамеренно закрывал глаза на жизнь дворни. Но такое безразличное отношение было совсем не в хозяйских интересах, — напротив, надо было глядеть в оба и держать ухо востро! В табуне порабощенном, но не обесчувственном и не бессловесном, возникали известные запросы, раздавались требования, жалобы. На суд хозяина повергались споры и ссоры, иногда весьма курьезные. Безобразные деяния, дикие картины и грубейший жаргон оскотевшего раба просачивались таким путем в обиход господ, — и, несомненно, — столь характерная для древности, распущенность воображения и речи обя-

зана своим происхождением, в значительной степени, слишком тесному общению римского салона с его «людской». Фигуры и группы Апулея, Петрония, Марциала — изящнейшие статуэтты, на которые, однако, толстым слоем насел налет кухонной копоти.

В современном буржуазном строе, господа стараются, по возможности, скрывать от слуг свои пороки. Вне своих служебных обязанностей равные господам гражданскими правами, — слуги, понятное дело, лишь тогда будут чувствовать уважение к господам, когда те успеют внушить им его превосходством своего поведения — по крайней мере внешним. Хорошее мнение человека, который вам служит, — для нас, людей XX века, дело если не первой важности, то далеко не лишнее. Но римлянин владел рабами как лошадьми и собаками. Не все ли равно было ему, что думает о нем двуногое домашнее животное, — раб? Слишком уж много было их в его доме. А дома — мы видели — устраивались дурно и тесно; если бы римлянин вздумал скрываться от рабов в своих домашних слабостях, ему пришлось бы обратиться в мо-

наха: не было минуты ни днем, ни ночью, когда бы он не чувствовал на себе любопытных рабских глаз. Если он желал жить в свое удовольствие, потворствуя всем своим страстям и порокам, ему оставалось одно: считать толкующихся вокруг него рабов как бы несуществующими или лишенными слуха, зрения, разума и языка. Вот — мол, стена, вот стол, вот кровать, вот лампа, а вот — раб. Все они для меня равно необходимы и все равно бесчувственны. И как не стыдно мне напиваться до бесчувствия или развратничать при стенах, столе или лампе, так нечего стыдиться и раба. Это — не свидетель.

Самый ярый спортсмен-лошадятник не управляет своими конюшнями собственно-ручно, а через конюхов, кучеров и т.п. Из своего двуного табуна римлянин выбирал несколько любимцев, которые становились посредниками между его волей и рабской массой. Им вручались бич и палка; с них взыскивалось за неисполнительность, дурное поведение и неисправное состояние рабов. Любимцы эти, — почти неизменно во всех домах, — частью по усердию угодить господской

воле, частью зазнаваясь в упоении, что возвышены над своим братом-рабом, — являлись жестокими притеснителями. Их ненавидели, а за них ненавидели и господина.

Не совершенно ли теми же картинами характеризовались в крепостные русские годы случаи «крестьянского безвременья», когда барин вверялся какому-нибудь излюбленному лакею и поручал ему управление имением? «Главный контингент этого рода управляющих доставляли люди до мозга костей развращенные и выслужившиеся при помощи разных зазорных услуг. По одному капризу, им ничего не стоило, в самое короткое время, зажиточного крестьянина довести до нищеты, а ради удовлетворения минутным вспышкам любострастия отнять у мужа жену или обесчестить крестьянскую девушку. Жестоки они были неимоверно, но так как в то же время строго блюли барский интерес, то никакие жалобы на них не принимались. Много горя приняли от них крестьяне, но зато и глубоко ненавидели их, так что зачастую приходилось слышать, что там-то или там-то уколошили управителя и что при этом были

пущены в ход такие уточненные приемы, которые вовсе несвойственны простодушной крестьянской природе и которые могла вызвать только неудержимая потребность отщепенца» (М.Е. Салтыков, «Пошехонская Старица»).

С другой стороны, оберегая свое влияние, стараясь показать, сколь они «без лести преданы» и потому необходимы, подобные полубаре паче всего заботились, чтобы господин смотрел на раба как на отпетого негодяя, который хорош лишь до тех пор, пока плеть управителя гуляет по его плечам.

Поддерживать подобное предубеждение в римлянине знатного рода было тем легче, что, как указано выше, смутный страх к рабской массе был хронической и исконной общественной болезнью Рима...

— Ох, на вулкане мы стоим... Спартакон пахнет! да, Спартакон! — восклицает управляющий Давус в поэме Майкова. Грозные тени Спартака, Эвнея, Сальвия и других вождей рабских революций при республике напугали Рим на несколько столетий. Русская пугачевщина была забыта куда скорее. О трепете гос-

под пред быстрым возрастанием в городе рабской массы говорят Тацит и Сенека. Сенат не посмел ввести проектированную однажды униформу для рабов — исключительно из опасения, чтобы, в таком случае, «они не сочтали господ». В высшей степени выразительны и энергичны подлинные о том слова Сенеки: *Quantum perieulum immineret si servi nostri numerare nos coepissent*. Тем не менее, жизнь роковым историческим течением слагалась так, что не о сокращении рабов приходилось думать, но о приобретении новых. Чем больше росло их число, тем бдительнее становился надзор за ними, суровее — дисциплина, строже — наказания. Рабство с каждым днем делалось все жестче и все несноснее. Обе стороны озверялись. Каждый хозяин имел все основания опасаться, что в один прескверный день его постигнет кровавая судьба Педания Секунда: ведь в рабском стаде нет недостатка ни в мстительных характерах, ни в людях, доведенных до отчаяния, ни даже, наконец, в опасных сумасшедших. В отращение подобной беды, вверяли свою особу рабу или рабам, которых считали беззаветно

преданными. Ночью такой раб спал на цыновке у порога хозяйской спальни. Чтобы убить Агриппину, мать Нерона, Аникету пришлось прорваться сквозь строй подобных телохранителей, и они одни оказались верными опальной императрице, всеми покинутой. Понятно, что от раба, столь доверенно брошенного на пол в двух шагах от супружеского одра своих хозяев, не существовало и никаких супружеских тайн. Именно подобную сцену рисует нам Марциал в стихотворении, передающем ночную беседу Гектора и Андромахи, этих античных идеалов супружеской любви. Супруги нежничают, не стесняясь; раб-охранитель все видит, слышит и завидует. Имена героев Марциал взял у старика Гомера, но нравы, — конечно, из современного ему Рима.

Огромное количество рабов отучило римлянина от личных забот о себе. Он не хочет, а впоследствии, силой отвычки, уже и не умеет ничего сделать для себя сам. Да и нечего ему делать! Все житейские обязанности его распределены между слугами и с такой подробной точностью, что ему самому остаются по-

что исключительно одни физиологические, ибо от общественных он, — по примеру и чуть не с благословения императора, — тоже начинает мало-помалу удаляться, уступая свою государственную роль прислуге цезаря. В конце концов, мы видим чуть не целую расу людей, поголовно бездеятельных, опустившихся, рано лишенных как физической, так и нравственной энергии. По насмешливому свидетельству Сенеки, иной лентяй, играя в пресыщенность, разочарование, усталость трудом самой жизни, доходил до столь чудовищного извращения праздности, что водил за собой раба, обязанного подсказывать ему время выезда, бани, ужина. «Раздень меня, уложи меня, покрой меня, баюкай меня, а засну я сам». Щеголять своей изнеженностью, неумением ни к чему приложить собственные свои руки, стало модой, особым шиком. Итак, требования безопасности, чванства, собственного удобства соединялись воедино, чтобы приучить хозяина таскать всюду за собой нескольких рабов: это — тень его тела, живая тень, столь же постоянная, столь же неизбежная, как тень световая и не больше ее

стеснительная. Лукиан, Петроний, Апулей рисуют нам портреты рабов, сопровождающих господина, даже в обстановке самого разнузданного, самого, — казалось бы, по нашим понятиям, — секретного разгула.

Взирая на раба, как на животное, по закону и условиям общества, римлянин, — по инстинкту, — все же не мог не сознавать в нем, хотя бы и смутно, и против воли, родственного себе самому человеческого существа. Спор с знатной госпожей: раб — человек или нет? сохранил нам Ювенал. «При рабе не стыдно» и «раб не имеет права стыда, когда ему воспрещено оно господином» — таковы римские формулы. Фон Визин повторил их в русском варианте, когда писал «Утро княгини Халдиной».

Но они дорого обошлись Риму с этической точки зрения! Что бы ни говорил кодекс и привычка общественная, инстинкт настаивает на своем: раб — человек. Отвычка стыда при рабе переходит в нестыдение людей вообще, — без разбора, невольники они или свободные. Чувство стыда, — вместо прогрессивной эволюции, ему свойственной, быстро

регрессирует. Особенно грубые и прискорбные последствия отсюда вытекли, конечно, для пола женскою. Не говорю уже о косвенных печальных воздействиях подобного общения полов, в смысле притупления нравственного чувства к различию их и вне рабской среды, — бывали воздействия прямые и гораздо печальнейшие.

Госпожа, вступающая в любовную связь со своим слугой, в нашем веке, если и не редкость, то, во всяком случае, заметное исключение из общего правила. Настолько, что при случае такого рода в обществе поднимаются толки о нравственном извращении, психической аномальности, вырождении и т.д. Как ни много развратных аномалий вносило в русскую семью крепостное право, но этого греха за ней почти не водилось. Конечно, правило имело исключения, отмеченные и народной песней («Ванька Ключник»), и мемуаристами, и сатирой. Бывали даже эпохи, когда скандалы этого рода учащались почти эпидемически: например, при Александре I, в первые десятилетия XIX века. Но во всяком случае, исключения в правило никогда не об-

ращались. Резкое слово о том аббата Шаппа, вызвавшее протест Екатерины Великой, производит впечатление скорее полемически обобщенного поклепа, чем результата действительных наблюдений. В Риме дело это обстояло совершенно иначе. Римский раб, употребляемый на домашние и городские услуги, принадлежал, почти обязательно, к красивейшим расам всего мира: либо он был привезен из Греции, Малой Азии, Египта, либо был рожден от отца и матери, вывезенных оттуда. Грациозный, с чудным лепетом на звучнейших языках цивилизованного мира, такой раб — с ребяческих дней — постоянная игрушка своих хозяев. Это — тот самый очаровательный «верна», — так назывались рабы, рожденные и выросшие в доме господина, — которого изображает нам поэт играющим на коленях своей госпожи, в ее материнских объятиях:

Garrulus in dominae ludere verna sinu.

Если такой младенец-верна умирал преждевременно, ему — верх почета по кодексу замкнутой римской семьи — отводили иногда местечко в фамильной усыпальнице, рядом с

могилами господских детей.

Но вот «верна» вырос.

Он — статный, стройный малый; его движения быстры и гибки, каждая поза просится на картину; волосы лежат как на голове Аполлона; прекрасные, черные глаза сулят пылкую страсть; нежный такт, свойственный всем южанам в отношениях к женщине, углубляет физическое очарование красавца. Южанин, уроженец благодатных берегов Средиземного моря, может быть круглым неучем и невеждой, но никогда не «невежей» в обращении с женщиной. Недаром же романские расы наградили впоследствии мир рыцарским культом дам, и в ответ поэзии этого культа звучали, едва ли не с большей еще энергией, вдохновенные гимны мавританских певцов.

Не следует представлять себе раба уничтоженным, придавленным, изуродованным обязанностями рабства. Эти горечи положения всецело падали на сельских рабов. Городской раб — холеное животное. Разница между ним и безобразным сельским рабом — больше, чем между благородной скаковой ло-

шадью, берущей для хозяина своего приз «Дерби», и смиренным шершавым «конягой» рязанского мужика, что — «уши врозь, дугою ноги и как будто, стоя, спит». Городской раб — щеголь, которым, вдобавок, и хозяин щеголяет. Как современный скаковик любит щегольнуть перед гостем, выводя напоказ ему тысячного коня, — вот-де какие несравненные статьи! — так римлянин хвастался красотой, сложением, молодостью, силой, изяществом своего любимого раба. Соперничество молодечеством рабов — столь же модный спорт древности, как в настоящее время соперничество породистыми лошадьми, а в крепостную пору нашего отечества — «резвостью и злобностью» борзых собак.

К изяществу физическому рабы, как дети избранных рас, весьма часто присоединяли большую понятливость, остроумие, живой природный ум, наблюдательный и быстро усвояющий. Они — ловкие и тактичные льстецы; они ловят налету желания своих господ, угадывают их тайные мысли, секретные слабости.

Их отдают в учение, — они проявляют бли-

стательные способности, обгоняют господских детей.

Учить рабов было римлянину очень выгодно. Обычно низкая цена раба на римском рынке росла параллельно с его ученостью. Раб-грамматик стоил 6.000 р. и более; столько же, а то еще и выше, ценился музыкант, резчик, пантомим. Если раб проявлял необычайные дарования, — что случалось далеко нередко, — выгода хозяйской спекуляции на его образование достигала фантастических размеров; о них дает нам понятие Плиний Старший. Богач, который не мог удержать в памяти даже имен Ахилла, Улисса и Приама, купил себе рабов, знавших наизусть Гомера, Гезиода и девять лириков. За пышными обедами богача, ученые рабы эти, стоя у хозяйского ложа, суфлировали своему невежде-господину цитаты из классиков. — Сколько стоили тебе эти десять рабов? — спросил хвастуна один остряк. — Миллион. — Ну, тебе обошлось бы дешевле купить десять ящичков с книгами!.. С падением земельных доходов, средства обогащения в высших классах общества весьма сократились. Воспитание рабов и

торговля ими стали как бы специальным промыслом всаднических и сенаторских фамилий. Знаменитый Красс был работорговцем на самую широкую ногу, с богатейшим и детальнейшим прейскурантом живого товара, сообразно его дарованиям и дрессировке. В результате такого порядка вещей, хорошо образованный раб становится в Риме едва ли не более частым явлением, чем хорошо образованный сенатор или всадник. Из рабов выходит множество знаменитостей по отраслям наук и искусств, — даже гениев: Ливий Андроник, отец латинского театра, Плавт, Теренций, Федр — все рабы. Рабом был и Эпиктет — мессия стоицизма.

«Пусть другие опередят тебя в искусстве одушевлять бронзу или иссекать из мрамора как бы живые фигуры людей, перещеголяют тебя в судебном красноречии, — пусть другие измерят небесные пространства и объяснят законы движения светил. Ты, римлянин, строго памятуй, что — покорять своей власти народы, управлять ими и водворять на земле мир, милуя покорных и карая строптивых, — вот в чем твои наука и искусства!..»

Этот суровый завет Виргилия недолго оставался в силе. Культурный прилив из Греции заставил Рим преклониться пред званием и искусством, обожать их произведения и, вместе с таковыми, уважать их творцов.

Мог ли страстный поклонник философии, поэзии, скульптуры, живописи, музыки, имея рабом мудреца философа, вдохновенного поэта, артиста или художника, не переносить на их личности некоторой доли почтения, питаемого им к отраслям культуры, им представляемым?

Как ни странно, великие плотоугодники древнего мира гораздо меньше нас заботились о непосредственном комфорте жизни. Совершая чудеса гидравлики для общественного приложения, они, в интересах частного быта, даже ватер-клозета не придумали. Зато в артистических требованиях к своей обстановке они стояли несравненно выше не только нас, но даже — подражавших им, то есть старавшихся превзойти их — деятелей возрождения. Состоятельный римлянин не садится за стол без музыки, без цветочного венка на голове; всякая вещь его домашнего оби-

хода должна быть отделана рукой артиста: стакан расписанный, блюдо разрисованное или художественной чеканки; гончарное производство римлян не превзойдено до сих пор ни качеством материала, ни добротностью выделки, ни изяществом форм, ни совершенством орнамента, покрывающего сосуды, сохранные для нас временем.

В поэзии, красноречии, скульптуре, музыке, резьбе, декламации, пантомиме, римлян влекут к себе отнюдь не так называемые «высшие», отвлеченные задачи искусства, не идеалы их, но житейское, практически целесообразное применение. «Искусства для искусства» Рим не знает: всякое художество в нем прикладное. Мы теперь стараемся выделить из искусства частицу в пользу так называемой художественной промышленности, воскрешенной и у нас на Руси инициативой и энергической пропагандой покойного Д.В. Григоровича и благополучно здравствующего Саввы Мамонтова, — а в Риме, наоборот, из художественной промышленности выделялось искусство, ставшее почти недостижимым идеалом. Всякий спорт, требующий для усо-

вершенствования в нем большого мастерства, тонкой грации и изящества, имел для Рима высокопочетное значение истинного искусства. Восторги римлянина с не меньшей, если не с большей, страстностью обращались на возниц, гладиаторов и атлетов, чем на красноречивых ораторов и государственных деятелей.

При всех сказанных условиях, мудрено ли, что, когда иной богатый и знатный римлянин взвешивал мысленно: кто из смертных интересуется его больше других, возбуждает его особенную приязнь, самые яркие восторги? — то оказывалось, что этот избранник ума и сердца — собственный его раб-артист или вольноотпущенник-поэт и философ?

Из всего сословия образованных рабов, никто не оказал столь могущественного и вредного влияния на римское общество, как актеры. Но роль театральной психопатии в эволюции римской нравственности настолько значительна, что о ней надо говорить особо {6}. Пока остановимся лишь на неурядицах римской семьи, истекавших из соприкосновения их с рабством более скромных разрядов.

Не говоря уже о резких тирадах Ювенала, слишком тенденциозного сатирика, чтобы основывать на стихах его общие предположения, — Марциал, поэт, очень довольный своим веком, по крайней мере раз двадцать указывает нам на эпидемию неравных связей в знатных домах империи. «Как, Харидем? — восклицает он, с трагикомическим ужасом, — ты закрываешь глаза на интрижку твоей жены с твоим врачом? Стало быть, ты хочешь отправиться на тот свет прежде, чем заболеешь?» Здесь ясен намек на опасность отравления: ты бережешь здоровье, а не благоразумнее ли будет остерегаться яду? «Алауда, жена, бранит тебя холопом за связь с ее горничной, — обругай ее носильщицей... и вы квиты: вы решительно ничем не лучше друг друга!» Эпиграмма Цинне: «Марулла семь раз делала тебя отцом но, увы! — отцом бездетным. В населении твоей детской не повинен ни ты сам, ни друзья твои, ни даже соседи. Типы твоих ребят, зачатых на цыновках, выдают грешки матери. Вон этот, с курчавой головой, смахивающий на негра, — сын твоего повара Сантры; этот слюняй, с приплюснутым но-

сом, — живой портрет твоего паннонского раба; тот, как всякому ясно по сходству больных глаз, — сын твоего булочника Дамаса, четвертый — хорошенький, с стыдливым личиком — дитя Ликда, твоего собственного утешника... Тот остроголовый, с длинными ушами, которыми он прядет, как осел, — кто решится оспаривать его ближайшее родство с Циррой, твоим шутом? Две сестрицы (одна брюнетка, другая рыжая) — дочери Крота флейтиста и Карпа, твоего управляющего. Ты обладал бы образцовой коллекцией метисов, не будь Каррез, на твое счастье, евнухом, равно как и Дандим». Портрет Маруллы — конечно, карикатура. Это — в роде пресловутой «Барыни», сложенной дворовыми русскими крепостных времен, либо той чеховской дамы-патронессы, которая вела «хронологию» детей своих по годам, когда в город наезжал кто-нибудь «интересный», от итальянского трагика до пленного турка включительно. Но веселый шут Марциал — не единственный свидетель. На пиру Тримальхиона серьезно обсуждается вопрос, достоин или недостоин казни раб Гликон, пойманный *en flagrant délit* с любов-

ницей своего господина. «В конце концов, что сделал этот раб? То, в чем он не волен был отказать. Та, которая принудила его к греху, гораздо больше заслуживает, чтобы ее заставили поплясать у быка на рогах». Сам Тримальхион с удовольствием вспоминает, как в юности он пользовался равной благосклонностью и угнетаем был равной ревностью от хозяина и хозяйки своей.

Обращаясь от романистов и сатириков к историкам, от бытописателей к бытоописателям, встречаем то же самое неизменное зло. Ктезипп, горбатый раб отталкивающей наружности, был куплен, — как рассказывает Плиний, — на аукционе одной дамой, по имени Геганией; она приобрела его в придачу к канделябру из коринфской бронзы. Ктезипп втерся в милость к хозяйке, сделался ее любовником; она дала ему свободу и назначила его своим наследником. Получив по смерти Гегании огромное состояние, Ктезипп посвятил богам канделябр, который даровал ему богатство и знатность. Тацит занес в свои анналы историю Эмилии Лепиды — принцессы императорского дома, жены знаменитого

Друза. Обвиненная *ob servum adulterum*, она, по очевидности преступления, не рискнула даже защищаться и прекратила жизнь самоубийством. Клавдий изгнал Ургуланиллу за позорный характер ее разврата и по подозрению в убийстве человека. Соучастником неистовств Ургуланиллы был Боттер — первоначально раб, а затем вольноотпущенник этой безобразицы.

Карательные меры за нарушение супружеской верности ведались в Риме по *lex Julia de adulteriis*. Какие наказания налагал этот закон, мы в точности не знаем.

По всей вероятности, они менялись, согласно взглядам и воле императоров. Но, классифицируя виды преступления, закон нашел нужным выделить в особую рубрику прелюбодеяние с рабом, как обстоятельство, отягчающее вину. Раба, пойманною *en flagrant delit* с матроной, муж ее или отец мог убить на месте, тогда как любовника свободно происхождения — только отец. Так наши русские баре XVIII века с петиметрами, оболщавшими их жен, дрались на дуэлях, но, когда прабабушка Пушкина завела роман с

французом-учителем, прадедушка весьма спокойно повесил француза на воротах, а прабабушку прогнал и женился на другой, не потребовав даже церковною разрешения. Конечно, усиленная кара является, в данном случае, местию за усиленное же унижение супружеской чести. Но Р. Lacombe выставляет и другую причину. Прелюбодеяние с рабом наказывалось суровее по той же логике, по которой вор обыкновенный несет кару слабее, чем вор из числа домашней прислуги: такому вору легче украсть, он возможнее, опаснее, чаще, — и надо застраховать себя от его блудливых покушений.

При цезаре Клавдии, сенатским указом был выделен из классификации преступления один специальный род его: любовная связь свободнорожденной незамужней женщины с чужим рабом. «Рассуждали о наказании женщин, вышедших замуж за рабов, и постановили, что если это случится без ведома господина, они будут считаться невольницами, если же с согласия, то будут на правах вольноотпущенных». Закон грозный и, очевидно, вызванный вопиющей необходимо-

стью. Тацит рассказывает, при какой торжественной обстановке он прошел. «Назначенный в консулы Бареа Соран предложил наградить Палланта, которого цезарь назвал автором этого постановления, преторскими украшениями и 15 миллионами сестерциев». Сципион Корнелий прибавил, что надо публично благодарить Палланта от имени государства. От денег Клавдий, говоря за Палланта, отказался, но почести для своего любимца принял. «И вырезали на меди постановление сената, в котором превозносилось античное бескорыстие отпущенника, владевшего капиталом в 300 миллионов сестерциев». Как ни подло льстив был римский сенат при наследниках Августа, но, чтобы всем ненавистный наглец Паллант мог попасть в новые Ликурги, чтобы его на всех перекрестках провозглашали спасителем отечества, — для этого надо было, чтобы и зло, им пораженное, громко кричало о себе. За лаконическим рассказом Тацита слышится шум скандалов, обеспечивших законопроекту Палланта столь восторженный прием даже во враждебной временщику партии старых республиканцев, аристо-

кратов-стоиков, которых представителем был Бареа Соран.

Анализируя Клавдиев сенатус-консулт, мы видим два ясные его мотива: 1) жестоко наказать женщину, унижающую себя позорной связью, 2) вознаградить хозяина раба за посягательство на его живую собственность. Если, как говорено раньше, хозяева не позволяли рабам браниться с чужими рабынями, дабы это не отбивало их от дома и дела, тем более должны были они восставать против связей со свободными женщинами, когда к физиологическим причинам отбиваться от дома прибавлялись для раба и психологические: гордость необычайной победы, приятное времяпрепровождение и т.п. Заинтересовав рабовладельцев следить за отношениями рабов и свободнорожденных женщин, статус-консулт учредил своего рода полицию нравов, не истратив на то ни единой государственной копейки. Так — Николай I, не без остроумия, выразился когда-то, что в лице дворян, владеющих крепостными душами, он имеет семьдесят пять тысяч полицеймейстеров без жалования.

Если матрона вступала в связь с рабом с разрешения его хозяина, она получала права вольноотпущенной; если без разрешения, — становилась рабой. Прямой выгодой рабовладельцев стало, таким образом, подобных уничижительных связей отнюдь не допускать, — что, кстати, и выглядело в высшей степени благородно, — но, как бы закрыв глаза, выждать время, пока увлекшаяся женщина сама не выдаст своего тайного романа, а затем донести на нее и взять законную премию, т.е. получить в собственность и саму грешницу, и все ее имущество, с потомством включительно. Действие закона парализовали лишь два исключения. 1) Нельзя было поработить незамужнюю женщину, живущую при отце: это явилось бы посягательством на права родительской власти. 2) Той же ненаказуемостью со стороны государственной власти пользуется женщина, вступившая в связь с рабом сына, ибо — немислимо матери быть рабыней своего сына.

Страшный сенатус-консульт неумолимо действует в течение нескольких веков. Веспасиан его подтверждает. Адриан ограничил

право рабовладельца на дитя, рожденное от уличенной связи, усмотрев в порабощении невинного младенца отсутствие правовой логики (*inelegantia juris*). Константин обратил внимание на вид преступления, пропущенный в классификации Клавдия, — вероятно, по трудной его уследимости, а может быть и потому, что, секретно совершаясь у домашнего очага, он и наказан должен быть интимным семейным порядком, в дела которого римский закон мешаться не любил. Вид этот — преступные отношения госпожи к ее собственному рабу. Константин судил обоим смертную казнь, причем для раба — через сожжение.

Лишь Юстиниан понял всю безнравственность этих шантажных законов — беспрепятственных источников гнуснейших злоупотреблений. Сперва он уничтожил конфискацию имущества, затем порабощение женщины. Достаточно, — решил византийский законодатель, — высечь раба сообщника, и следует притянуть к ответу его господина, если последний попустительствовал распутству и не принял со своей стороны всех мер к его

предотвращению. Последним пунктом нанесен был решительный удар старинному шантажу по Клавдиеву сенат-консульту. Прежний грозный обвинитель теперь сам попал в подсудимые; если он и выходил чист из дела, то выносил из него лишь двусмысленное утешение, что будет жестоко выдран его собственный раб. История крепостного права, тоже имевшего своего рода поработительный закон, мало чем лучший Клавдиева, оставила в назидание потомству образцы жестоких злоупотреблений этим брачно-имущественным правом на неравные пары. В сороковых годах помещица Акулина Ф., имевшая 6 душ м. п., вышла за своего крестьянина, по своей глупости не дав ему вольной, а затем продала помещику С. свои 6 душ м. п. с их семействами, т.е. и с собой вместе. Только убедительные просьбы дворянства успели убедить С. освободить эту крепостную помещицу. На таком же, приблизительно, недоразумении построен один из популярнейших романов графа Сальяса: грустная история, рассказанная беллетристом, случилась в последние годы царствования Екатерины II, а финал ее разыг-

рался в Павлово и Александрово царствование.

Гораздо мягче относился Рим к бракам с вольноотпущенными. До нас дошли надгробные надписи, свидетельствующие, что знатные дамы выходили замуж за своих вольноотпущенных — по-видимому, без особенных затруднений и с полной откровенностью, по крайней мере, посмертной. Один из таких мужей сочинил своей супруге-хозяйке весьма характерную эпитафию: он скромен, почтителен, называет покойницу своей «превосходной госпожой», говорит об ее доброте к нему и благодеяниях, сообщает, что он схоронил ее в могиле ее отцов и, как видно, не дерзает поместиться там рядом с ней. Словом, сделавшись мужем, он не перестал быть лакеем. Если бы Софья Павловна Фамусова удостоила рукой своей Алексея Степановича Молчалина, союз их, вероятно, был бы построен на таких же началах лакейской подчиненности мужа жене. Христианство поддержало подобные браки, даже дало им устами папы Каллиста (218—222) свое благословение. Тертуллиан открыто заявляет предпочтение такой связи

перед стеснительным для христианки браком с язычником. Впрочем, он же с горечью упрекает свободных женщин, что иные из них выходят замуж за вольноотпущенных и, вообще, людей ничтожных, лишь затем, чтобы, имея мужа беднее и ниже себя по происхождению, беспрепятственно командовать им по своему усмотрению.

Конечно, вольноотпущенный и раб стоят друг от друга на огромной дистанции, однако на гораздо меньшей, чем от вольноотпущенного к свободнорожденной. Брак свободной женщины с отпущенником хотя ограничивал ее права, но не обращал ее в безправное состояние, как связь с рабом. Однако, во всяком случае, для родни, друзей, знакомых невесты, полных римской родовой гордости, — он являлся непростительным *mesalliance*'ом. Надо было много смелости со стороны женщины, чтобы пойти на него, и еще больше — чтобы заявить о нем публично. Тем не менее эпитафии от лица вдов, воздвигнувших гробницы «мужу своему и вольноотпущеннику», довольно многочисленны. Можно предположить, конечно, что далеко не каждая вдова

вольнoотпущенника считала долгом похвастаться, что была замужем за бывшим рабом своим. Натуры более деликатные старались забыть о том — и ради самих себя, и щадя гордость своих супругов; известно, как болезненно самолюбивы бывают люди, попав в несвойственное им высшее общество и положение. Старались забыть при жизни и скрыть по смерти. Высказывались на камне порывистые натуры ради социальной браводы или в порыве аффектированной чувствительности. Женщины, смотревшие на дело проще, не желавшие хвастаться подвигом своей любви к низкорoжденному, — разумеется, замалчивали звание своего супруга и отпускали его в вечность без всякого титула.

П. Лакомб написал огромную тираду для анализа психологии неравных браков. Для нашей цели достаточно установить, что они были часты, и, пожалуй, выяснить вопрос: что они собой, по преимуществу, представляли — вновь возникающие законные связи, или гласное и публичное увенчание долгих тайных внебрачных отношений? Лакомб склоняется к второму мнению, то есть — что

возникала связь между госпожей и рабом; затем, по известном сроке лет, окрепнувшая привязанность, ревность, желание иметь около себя законное потомство и т.д. заставляли госпожу отпустить любовника своего на волю и, сделав его таким образом лицом хотя не полноправным, но все же свободным, вступить с ним в законное супружество.

Христианство, с проповедью равенства всех людей пред Богом и милосердия к угнетенному ближнему, являлось в данном случае крупным двигателем. Мы имеем примеры, что целые патрицианские семьи вводились в веру Христову своими рабами.

Когда раб является вещателем истины, высшим учителем нравственности, на него уже нельзя смотреть сверху вниз, — он равен господам духовно и часто даже выше их. Равенство веры родит взаимоуважение, а сострадание к униженной доле сочеловека и единове́рца весьма часто переходит в любовь и самоотверженную, экстатическую преданность. Тому примеров и в наши дни достаточно. Несколько лет тому назад я заинтересовался, по одному случайному поводу, вопро-

сом о неравных браках и связях в русском обществе и просил многочисленных своих знакомых в провинции сообщить, если им известно что-либо характерное в этом отношении. Прилив сообщений удивил меня своим обилием. В течение двух лет я собрал 49 романов действительной жизни, в которых героинями являлись женщины и девушки образованных классов, а героями — мужчины из низших и темных общественных слоев. Несчастную любовь такого рода недавно описал в одном из талантливых рассказов своих Максим Горький.

И грешно сказать, чтобы эти сословно-брачные аномалии буржуазного уклада строились преимущественно на подкладке чувственности, обычно приписываемой им людскими сплетнями, а отчасти и воображением тенденциозно настроенных писателей, вроде, напр., нашего Шашкова, автора монографий «Исторические судьбы женщин» и «История русской женщины». Не смея, к сожалению, отрицать, что в некоторых из случаев моей коллекции такая подкладка, действительно, сказывается, утверждаю, однако,

что таких меньшинство — и, сравнительно, ничтожное. В огромном же большинстве, «рабские связи» нашего времени обоснованы исключительно на идейном порыве возвысить человека, дать ему возможность выйти «из мрака заблуждения» и т.п. Несколько подобных союзов дало увеличение толстовской проповедью опрощения. Златовратский отметил их в эпоху народничества. Революционное хождение в народ знает трагическую историю Елизаветы Южаковой, зарезанной, из ревности, рабочим Бачиным. Некоторые браки сложились в прямом результате помещичьего оскудения, что отмечали в свое время Станюкович, Атава, Житель. Что касается именно религиозного импульса, напомним «Странную историю» Тургенева, основанную на действительном происшествии в Орловской губернии, и почти тождественный факт, обработанный мной беллетристически в моем рассказе «Мечта». Мистически настроенная, образованная девушка хорошей семьи, в городе Туле, прониклась глубокой жалостью к сиротству детей одного медника, человека совсем спустившегося, пьяницы, негодяя. В

страстном порыве заменить страдающим детям мать, она вышла за этого безобразного человека замуж, перебралась с ним в другой город, была страшно несчастна, терпела жестокую нищету, вела жизнь в побоях и трудах, но выдержала характер и, в конце концов, восторжествовала, поставила таки семью свою на ноги. Если подобные христианские движения часты и могучи в наш век, ослабленный безверным и эгоистическим, — с какой же силой должны были потрясать они юные женские души, только что внявшие новорожденному евангельскому слову или Павловой проповеди?

Конечно, немислимо искать столь возвышенных мотивов в рабских романах язычества, вызвавших суровые угрозы Юлиева закона и Клавдиев сенатус-консулт. Здесь — чувственная сторона была, бесспорно, на первом плане. Лакомб пытается доказать, что романы эти возникали из инстинктивного симпатического тяготения угнетенного пола к угнетенному сословию. Но, не говоря уже о психологической натяжке его объяснения, нельзя не возразить, что «рабскими романа-

ми» римская женщина стала забавляться отнюдь не в века ее угнетения, но, наоборот, — когда ее эмансипации, в смысле свободы чувства, могла бы позавидовать сама Авдотья Кукшина. Дело было проще: натуры были южные, сильные, пламенные; мужья — благодаря каждодневному пьянству за бесконечными обедами и широко разрешенному мужчинам разврату — почти сплошь алкоголики, неврастеники, рамоли. Диво ли, что женщина, при таких условиях, падала, — уже от одной скуки, не говоря о физиологических запросах, — в объятия первого встречного, хотя бы то был раб? Он молод, красив, умен, трезв, ловок, образован, почитителен, молчалив, — секрет грехопадения будет сохранен свято, ибо рабу нет никакой охоты попасть на крест, хотя бы и из-за прекрасных глаз госпожи своей... Чего же еще надо женщине, если она стремится понимать в любви только чувственную ее сторону, или, по крайней мере, ее прежде всего ищет? Раньше, чем бросить камнем нашего высоко-культурного осуждения в этих старинных грешниц, вспомним иных отечественных дам, путешествующих

разгонять тоску душевную и озлобление телесное в Ялту, Кисловодск, Биарриц, Ниццу, Неаполь. Крымские и кавказские проводники, *baigneurs* морских купаний, испанские торреадоры и прочие герои «рабских романов» нашего времени, весьма мало ушли — да и то Бог весть, вперед или назад? — от героев Петрония, Апулея и Марциала.

В настоящее время психиатрическая наука установила, между другими типами извращения инстинкта любви, два весьма резкие и частые — мазохизм, или жажду страдания и унижения от предмета страсти, и садизм, или жажду заставлять предмет страсти страдать и унижаться. Читая Тацита, Светония, Петрония, Ювенала, Овидия, вы как будто присутствуете при жесточайшей нравственной эпидемии этих двух аномалий, причем писатели подчеркивают, что они свирепствуют лишь в высшем обществе, в сливках культуры. «Пооди прочь! — гонит служанка Хриза в романе Петрония волокиту, переодетого рабом, — я никогда не полюблю раба: да хранят меня боги, чтобы я стала ласкать этокое сокровище, которого вся карьера — попасть на крест! Это

дело знатных дам — они охотницы целовать рубцы от порки на ваших плечах». Чудовищные оргии Валерии Мессалины, дикости дам Неронова двора полны именно того мучительства и сладострастия, которые, под скромным флером, необходимым по условиям этики XIX века, пытались анализировать поэты «властных» женщин и поработанных мужчин и, между ними, ярче и последовательнее всех Захер-Мазох, чьим именем окрещена и сама аномалия любовного страдальчества. При дворе Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона чувствовалось то злое неврастеническое напряжение, что вьет в воздухе лишь перезрелых культур, достигших вершины исторически определенного им развития и затем обреченных медленно пасть и умереть. Из эпохи этой пишется в наше время, по тайному инстинктивному чувству сродства с ней, множество романов, драм, рассказов. Но кто знаком с классиками, из коих с грехом пополам выжимаются темы и типы этих произведений, тот никогда не променяет на всю совокупность их даже одной страницы Тацита. Зависит это не от невеже-

ства и не от малой талантливости авторов, — много ли беллетристов образованнее и талантливее, например, Сенкевича, написавшего, однако, такую исторически-слепую и театрально-условную панораму, как «Quo Vadis»? Еще ярче пример Анатоля Франса с его «Тайс», в которой бытовая правда, смутно чувствуемая и понимаемая критическим инстинктом изящного автора, никак не может восторжествовать над балетом действия, развиваемого по условным традициям «хорошего исторического письма», то есть, шаблона, втолкованного музейными внушениями и условными восторгами Реннесанса. Происходит оно скорее оттого, что все беллетристы-историки, опускаясь к римским темам с современного культурного высока, вооружались средствами, слишком узкими к преследованию цели слишком широкой. Написать общественный роман из римской жизни — дело, недостижимое помощью одной лишь мертвой эрудиции по книгам, развалинам, обломкам, статуям и черепкам, как бы она ни была блестяща. Строй римской жизни при императорах, по сложности своей, не уступал

современному, целиком охватить который вряд ли по силам было бы и самому Льву Толстому. Притом всем слепит глаза яркий магнит христианства, тогда как — до второй половины II века — оно не играло заметной роли в жизни Рима и характерным путеводителем в настроениях ее считаться отнюдь не может.

Отразить, хотя по частям, но с точностью жизнь императорского Рима мог бы лишь роман психологический, роман-монография, невольно ставший роковым бытописателем и нашей, быстро идущей к вершинам своим, культуры. Недаром мысль отца этого романа, Густава Флобера, с таким систематическим наслаждением улетала в потемки древнего мира. Достоевский и Мопасан — вот две тени, которые невольно стучатся в память, когда мечтаешь о художественном анализе призраков Тацита и Светония. Только первому по силам было бы разобраться в потемках души Тиберия, в шутовском безумии Калигулы, в слабоумном резонерстве Клавдия, в хаотическом дилетантстве Нерона — этих гигантов-Карамазовых I века. Что касается Мопаса-

на, — ни один из бытописателей нашего века не близок более к литературе цезаризма: в нем — весь аристократический юмор, вся наблюдательность, вся правда, весь цинизм гениального Петрония и весь пессимизм, вся меланхолия Лукана.

III

Этим я закончу анализ античного рабства, как социальной отравы общества, на нем основанного. Теперь, согласно предположенной программе, нам предстоит рассмотреть, поскольку институт рабства соприкасался с воспитанием детей, и как слагалось последнее, имея под собой такой сомнительный и зыбкий фундамент.

Рабство начинало свое вкрадчивое влияние на свободного римлянина еще в колыбельные дни его. Лишь немногие женщины-матери, в достаточном классе, кормили детей сами. Этот прекрасный обычай, с ростом римской культуры, остался позади, в седой древности. Еще жена М. Порция Катона кормила сына собственной грудью. Но развитие светскости скоро разлучило римлянку с ее детской — и надолго. Писатель второго ве-

ка по Р. Х. Авл Геллий сохранил нам очень умную, пылкую и убедительную речь, сказанную его современником, философом Фаворином, в защиту естественного материнского кормления. Но — «когда истина вопиет устами философов на улицах, это — лучшее доказательство, что век не слушает ее в домах». Обыкновенно, ребенка поручали мамке, — даже в небогатых домах: кормилица (*nutrix*) была, например, у Виргинии и сопровождала девочку в школу, когда девочку вздумал похитить Анний Клавдий. Мамку выбирали — в древности, непременно свободнорожденную, по месячному найму; впоследствии — из числа рабынь и преимущественно из гречанок. Хотя Фаворин описывает римских кормилиц довольно темными красками, тем не менее, взаимоотношенность через молочное родство, которая обычно развивается между кормилицей и ее питомцем, — иногда на всю жизнь, — имела и в Риме частые и трогательные примеры. Когда император Нерон погиб, объявленный врагом отечества, покинутый всеми, погребальные почести ему оказали: вольноотпущенница Актэ, его первая любов-

ница, и две старухи-кормилицы, Александрия и Эклога; им на руки будущий цезарь сдан был матерью с первого дня рождения. Обе, по именам, — гречанки. Предпочтение к кормилицам-гречанкам обуславливалось теми же соображениями, по которым, в наши дни, состоятельные русские люди окружают своих детей боннами-швейцарками, англичанками, немками: чтобы с малолетства привить ребенка, кроме его родного языка, чужой, со временем столь же необходимый ему, как отечественный. Греческий язык был для римлянина даже важнее, чем для нас французский. По педагогическому значению в системе римского образования, он объединял два языка нашей учебной программы: как предмет практически прикладного знания — язык французский; как основной предмет теоретического развития мысли — язык латинский. Говорить и писать по-гречески в Риме конца республики и, тем более, во все века империи — это не только хороший тон: для порядочного человека это необходимость. Знаменитый автор двенадцати книг *Institutionis Oratoriae* Квинтилиан настаивал даже, чтобы

дети начинали учиться греческому языку раньше латинского, потому что последний-де и сам привьется им, путем домашней практики. Рабство, в данном случае, играло роль могучего подспорья. Греческих рабов в Риме было множество; при отсутствии специальных знаний, они таксировались на рынке очень недорого; даже не особенно зажиточному человеку было по состоянию приставить к сыну своему, когда он расставался с гречанкой кормилицей, двух-трех греков-рабов: дядьку, слугителя, сверстника. Совершенно как в «Онегине»: «Сперва madame за ним ходила, потому monsieur ее сменил». В результате, иные римские юноши говорили по-гречески лучше и охотнее, чем на родном языке: порок обличенный и преданный проклятию многими ярыми патриотами. Рим тоже имел своих Чацких, которые громили свое общество и любезных ему graeculos с неменьшей энергией, чем герой «Горя от ума» отчитывал грибоедовскую Москву за французика из Бордо. Другие усваивали греческое произношение для родной латинской речи (вроде старухи Лариной: «и русский н, как п французский,

произносить умела в нос»), злоупотребляли греческими оборотами, как наши деды галлицизмами, обесцвечивали язык, лишая его чистоты и оригинальной силы. Во избежание этого зла, Квинтилиан советовал уже не слишком опережать в преподавании греческой грамоты грамоту латинскую и, по возможности, вести уроки параллельно. Ранняя прививка юношеству чужого языка не могла не отозваться пагубно на развитии римской литературы. Золотой век латинской словесности был короток, а упадок свершился столь быстро и решительно, что весь эволюционный период ее можно определить в полтораста лет. Люди, которые маленькими детьми видели закат Вергилия (умер в 19 году до Р. Х.), Тибулла, Проперция, Горация (умер в 8 году до Р. Х.), расцвет и блеск Овидия (умер в 17 году по Р. Х.), могли, — правда, уже дряхлыми стариками, однако могли, — знать малюток, впоследствии знаменитых под именами Тацита (родился в 53 году по Р. Х.), Ювенала (род. в 47 году по Р. Х.), Плиния Младшего (род. в 46 году по Р. Х.): трех писателей, по смерти которых римский литературный ге-

ний навсегда утратил высокие творческие вдохновения, а латинский язык, менее чем в два века, успел выродиться в манерность Авзония и в *sermo plebejus* шести авторов *Historiae Augustae*. Это опять-таки напоминает быструю эволюцию нашей русской литературы, в которой долговечный старик, вроде Федора Глинки или Помпея Батюшкова, мог знать Карамзина и Чехова, Державина и Бальмонта. Эта скороспелость и, вместе с тем, непрочность сил римской литературы должны найти себе объяснение именно в торжестве эллинизма над римским обществом и его природным латинским языком. Под влиянием греческих идей, греческих образцов, грецизмов в разговорной речи, привычки думать по-гречески, латинский писатель, едва оперился талантом и стилем, как уже начал вырождаться, терять оригинальность, ступать по чужим, протоптаным тропам. Он не творец, но подражатель, — иногда очень талантливый, почти всегда чрезвычайно искусный, но все же произведения его — копии, второй сорт: первый пишется по-гречески. У Рима было много Батюшковых, но не успел

родиться Пушкин... Начиная с Адрианова века, все литературно-сильное и общественно-влиятельное пишется по-гречески: Лукиан, Марк Аврелий, Филострат и, наконец, император Юлиан Отступник: изящнейший греческий стилист-сатирик, довольно слабо владевший латинским языком. Насколько глубоко пропитывался римлянин греческим воспитанием и речью, лучше всего дает понятие сцена убийства Юлия Цезаря в Капитолии, как она описана Плутархом: убийца Каска взывает к брату о помощи по-гречески, последнее восклицание умирающего Цезаря, — пресловутое «и ты Брут?» — раздалось по-гречески. Если греческий язык владел устами знатных римлян даже в моменты столь сильных эмоций, — ясно, что он для них был уже полной заменой родного. А ведь эпоха Юлия Цезаря — это только преддверие империи: впереди четыреста лет эллинизации, уверенной и неустанной победы греко-восточной культуры над латинской расой. Сатира Сенеки на смерть цезаря Клавдия усыпана греческими фразами, пародирующими придворный разговор I века, не меньше, чем усыпана

фразами французскими первая глава «Войны и Мира», пародирующая придворный тон века XIX.

За теоретическое изучение греческого языка римлянин присаживал сына в семилетнем возрасте. Тут выступала на вид дилемма: посылать мальчика в общественную школу или вручить его домашнему учителю (*magister graecus, litterator*)? Вопрос этот имеет свою историю; о нем в семействах римских много спорили. О жгучем общественном значении его свидетельствует Квинтилиан, страстный сторонник публичной школы, хотя он, с похвальным беспристрастием, не скрывает и ее недостатков.

Против общественных школ Рим выстав- лял то же обвинение, что иные современные маменьки против гимназий и реальных училищ, когда стараются определить сынка в привилегированное закрытое учебное заведе- ние: будто смешанное товарищество развра- щает нравы, — «дети портятся». Квинтилиан не спорит против общего факта детской испорченности. «Если бы боги дозволили, что- бы обвинение это было клеветой! — воскли-

дает он. — К несчастью, слишком правда, что дети наши знают все пороки, не подозревая даже, что это — пороки». Но он отрицает школьное происхождение порочности: заразу ее римский мальчик несет из родительского дома. «Дитя знает наперечет наших любовниц, наших любимцев, оно слышит бесстыдные песни на наших обедах, глаза его видят мерзости, неудобные к названию». Мы знаем, что вечерние пиры были злейшим ядом для римской нравственности; однако, известно и то, что римляне не допускали детей быть свидетелями родительских безобразий: после первой перемены блюд, ребятишек предусмотрительно отсылали в детскую. Тем не менее, Квинтилиан прав. Не говоря уже о том, что тонкие стены итальянских домов не могли заглушить от детского слуха всех отзвуков оргии, — ребенок имел дядькой раба, сверстником игр — раба; челядь эта служила у стола пьяных господ, все видела, слышала, сплетничала юному хозяину и отравляла его воображение. Квинтилиан сурово восстает против сверстничества рабов: «откуда вы взяли, будто это общество полезнее вашим детям обще-

ства равных им по происхождению?» Мы видели, как прошли младенческие годы императора Нерона в доме тетки его Лепиды: заброшенный на руки дворецкого из плясунов и парикмахера, маленький принц живет душа в душу с рабами, скитается с ними по улицам, трактирам, циркам, в театральный раек и т.д. Публичная школа вряд ли могла совершенно уничтожить вред рабского сверстничества, но все же, — в этом Квинтилиан прав, — ослабляла его отчасти, сокращая число праздных часов, проводимых ребенком в компании с рабами.

Затем, публичная школа избавляла ребенка от великого бича века — от специально приставленного профессора-гувернера. О римских гувернерах Квинтилиан рассказывает вещи поистине чудовищные. Ни Вральман, ни Жорж Дорси, ни гувернер Лермонтовского «Сашки» не в состоянии дать намека на низость этих воспитателей. Одни из них, сами выросшие под палкой, ставили ее основой своей педагогической системы и, с хамским самоуслаждением, вымещали на спинах господских детей все удары, попавшие в разное

время на их собственные спины. «Система битья, — протестует Квинтилиан, — делает ребенка раболепным до той поры, когда палка перестанет быть ему страшна; а тогда он разнуздает свои страсти именно с рабской распушенностью». Еще ужаснее жестокости был разврат гувернеров, в противоестественные дикости которого они вовлекали своих питомцев, — по свидетельству многих современников, — чуть не поголовно.

Даже великий философ-моралист Л. Аннэй Сенека, воспитатель Нерона, не ушел от постыдного, хотя и вряд ли справедливого обвинения. Воспитателем Британика был некто Сосибий — личность, судя по некоторым намекам и указаниям Тацита, весьма грязной души. Однако, когда Агриппина нашла нужным переменить штат прислуги при своем пасынке, то в Риме даже и о Сосибии говорили с сожалением: таких отборных негодяев мачеха приставила к юному принцу. Один из воспитателей Нерона, грек Аникет, является впоследствии орудием самых грязных и свирепых преступлений своего воспитанника. Убийца Агриппины, клеветник на Октавию,

он заслужил бессмертие, как тип «совершеннейшего негодяя». В руках подобных воспитателей римский мальчик рос, балуемый и в то же время битый, самовластный и в то же время гнусно унижаемый; он входил в жизнь, уже полный презрения и недоверия к ней, не уважая никого и ничего, начиная с себя самого, не стремясь ни к чему, кроме удовлетворения своих прихотей. Как образец педагогического потворства, можно повторить пример того же Сенеки. Он был не раб, не вольноотпущенник, а весьма знатный вельможа и знаменитый человек, — однако, не постеснялся, когда Нерон возмужал, свести его с Актэ, вольноотпущенницей, принадлежавшей к дворне Аннэев, которых главой был он, Сенека.

Впрочем, беспутное рабское влияние, вероятно, врывалось вслед римскому юноше и в хваленую Квинтилианом публичную школу. Сопровождавший в нее молодого хозяина дядька-«педагог» вряд ли бывал лучше гвернера. «Странная вещь, — замечает Плутарх, — если у господ есть раб честный, его назначают бурмистром, капитаном корабля,

управителем, приказчиком при товарах, кассиром; если же попадется им пьяница, обжора, негодный ни на какую службу, то именно ему-то они и поручают своих детей». Мессала в «Разговоре об ораторах» Тацита выражается с неменьшей резкостью: «Ребенок, как только родится, препоручается какой-либо гречанке-служанке, к которой в придачу дается один или двое из рабов, по большей части негоднейшие и неспособные ни к какой серьезной службе люди. Их рассказами и предрассудками прежде всего наполняются нежные и еще не обделанные умы, и никто в целом доме нисколько не думает о том, что он говорит или делает в присутствии ребенка». Возмутительная система эта держалась с непостижимым упорством несколько веков, из поколения в поколение. Кроме дешевизны рабского гувернера, трудно подыскать сюда какое-либо дельное объяснение.

Образование женщин, до империи, не шло дальше грамоты и письма. Мужчина получал образование для двойной цели:

чтобы вести судебные дела и занимать общественные должности. Женщина не имела

прав ни на то, ни на другое, — следовательно предполагалось, и учить ее незачем. К концу республики суровость древне-римских нравов смягчилась; явилась потребность изящных искусств, стали восхищаться танцами, пением. За вкус века с жадностью схватились «бедные, но благородные родители» невест-бесприданниц. За невозможностью снабдить дочек состоянием, стали давать им приличное артистическое воспитание. Имперская реформа, сколько ни провозглашал себя Август охранителем древних нравов, разрушила их совершенно: она выдернула из-под ветхого государственного здания главную политическую его основу — свободу партий — и заменила ее новым фундаментом просвещенного абсолютизма, хотя сначала и маскированного. Осталась привычка к конституционным формам, но дух и даже смысл их быстро выветрились. Политические партии вымерли; вместе с ними исчезли и острые разногласия общественных интересов, требования гласной фактической борьбы с трибуны перед народом-судьей. Дельное политическое красноречие, требующее от оратора прежде всего не

форм и слов, а разумно убедительного содержания, угасло, выродившись в риторский дилетантизм; древних ораторов заместили краснобаи. Гений римский нашел себе новые поприща. Поэзия засияла ярким светом; Гораций и Вергилий принесли на землю «золотой век». Двойная страсть — к стихам и к риторике — делается манией эпохи. Одни увлекаются ими, действительно, по личному вкусу и расположению, другие — следуя моде; остаться им вовсе чуждым — значит почти что не быть порядочным человеком. Вплоть до самого вторжения варваров, т.е. до первых раскатов великого переселения народов, эти пристрастия все растут, но с каждым поколением вкусы в их области, изоощряясь, делаются все более и более ложными. Внутренняя глубина творчества, находчивость и изобретательность мысли падают, уступая место внешнему словоизвитию. Гораций, Овидий, Лукан вырождаются в Авзония, Аполлинария Сидония, Фортуната. Предания Цицерона и Квинтилиана создают лишь «элоквенции профессоров» и болтунов-панегиристов, вроде Клавдия Мамертина, Эвмения, Назария, Симмаха.

Когда ораторское искусство потеряло свой древний политически-прикладной смысл и превратилось просто в род литературно-публицистического упражнения, потеряла смысл и прежняя исключительность мужского образования, как подготовки к политической карьере, закрытой для женщин. Образованность начинает цениться сама по себе; она хороша своими собственными благами, а не только потому, что через нее можно преуспеть в государственной карьере или в адвокатуре; она становится равно желательной и в мужчине, и в женщине. Цезаризм породил много политических и общественных зол, но нельзя отрицать, что в деле женской эмансипации он был усердным и благожелательным фактором. Лишь с назреванием цезаристической тенденции, римская женщина начинает приобретать значение в деятельности общественной. Становятся возможными и появляются во множестве политические женщины, как Фульвия, Ливия, Агриппина Старшая, Антония, Агриппина, мать Нерона, отпущенница Эпихарис, Поппея Сабина и др. Что касается специально литературного образования, то

мода давать его женщинам, мало-помалу, стала общей. Они читают, разбирают, комментируют родных и греческих авторов, учат на память отрывки знаменитых стихов и речей, они умеют красиво произнести и к месту привести изящную цитату или стих Гомера, вошедший в поговорку. Между ними появляются свои «синие чулки», свои Авдотьи Кукшины, но — вместе — и настоящие *esprits forts*, мнения которых боялись самые образованные мужчины, к разговору с которыми готовились, как к экзамену: точь-в-точь, как в Петербурге восемнадцатого века екатерининские вельможи, собираясь на куртаг, подчитывали энциклопедистов. Это — вершины общества. Но имперский Рим знает и то женское полуобразование, что, в наши дни, не ведая ни словечка по-французски, говорит, однако, «мерси» вместо «спасибо» и «оревуар» вместо «до свиданья»: римлянка общества средней руки приветствует гостей по-гречески, обращается к мужу или любовнику с греческими ласкательными словами.

«Куда ни шло, — восклицает Ювенал, — слышать это от молоденькой женщины... ну,

а если от восьмидесятилетней старухи?!»

Орудиями женского образования были в Риме опять-таки рабы. Учительниц Рим не знал: его рабыни из века в век коснели в глубочайшем невежестве; ни один хозяин не заботился давать своим рабыням хотя бы крохотные зачатки воспитания, исключая разве музыки и танцев, потребных для домашнего балета. Таким образом, приходилось вверять девочек рабам-мужчинам. Что это был за народ, мы видели, говоря о воспитании мальчиков. Теория вероятности заставляет предположить, что плоды рабского учительства на женской половине были еще плачевнее. Быть может, ужасающее падение женской нравственности при цезарях надо приписать, — по крайней мере, в значительной доле, — первоначальному влиянию мужчин-воспитателей, развращенных, низких и бессовестных. Разумеется, отцы и матери римские не менее современных щадили темперамент дочерей своих и остерегались давать им в наставники молодых людей или писанных красавцев. Но история сохранила нам пример, что такая предосторожность не спасала иных

девушек от гибели. Так, — пишет Валерий Максим, — Фания, дочь Понтия Ауфидиана, по уговору раба-гувернера, отдалась некоему Сатурину. Отец казнил гувернера и убил дочь.

Сенека-философ давал уроки в семье Агриппины Старшей, вдовы Германика. Его заподозрили в любовной связи с одной из дочерей Агриппины, Юлией Ливиллой, и сослали в Корсику.

Детское сверстничество к юности или умирает совершенно, или, наоборот, развивается в товарищество, приятельство, теснейшую фамильярность. В комедиях Плавта римской юноша из порядочного дома выводится неизменно в сопровождении раба — ровесника ему по годам, приставленного к нему на посылки. Юноша страстно влюблен в чужую рабыню — молодую красавицу, принадлежащую какому-нибудь воину или купцу. Хозяин рабыни собирается в чужие края; юноша рискует потерять свою возлюбленную навсегда. Нужны деньги, чтобы выкупить рабыню у хозяина, а затем, чтобы содержать ее, поить, кормить, одевать. У юноши — ни гроша...

Он — в отчаянии, рвет на себе волосы, плачет, говорит о самоубийстве, хочет бежать на край света. Вступает в дело раб-ровесник, — и вот в каком тоне объясняется он со своим господином: «Ах, ты, презренный мальчишка! нюня, плакса, никуда не годный. Хорошо, что я здесь, — развяжи мне руки действовать: я все беру на себя. У тебя будет красавица, и деньги — сколько надо. Только — чур, ни во что не вмешиваться, а то ты все испортишь». И затем, двумя ловкими плутнями, раб вырывает рабыню у ее хозяина, не заплатив ни копейки денег, а у отца юноши — средства для содержания красотки. Холопы-наперсники, всегда умнейшие своих господ, — постоянное амплу старинной комедии у всех европейских народов, не исключая и нас, русских. Однако, ни лакей в комедии Мольера, ни крепостной холоп в «Уроке дочкам» Крылова не посмели бы объясняться с господами, которым они помогают и благодетельствуют, и в десятую долю дерзкого тона беззастенчивых Плавтовых пройдох. А Плавт сам был рабом, и уж ему ли было не знать меры, какой тон в устах раба вынесет, против какого возмутит-

ся гордая рабовладельческая публика его комедий? Отсюда мы вправе заключить, что интимность античного барина с его сверстником-рабом была гораздо ближе и искреннее, чем между господами и слугами в полицейском королевстве Франции и в крепостной России, не говоря уже о невольничестве негров в Северной Америке, где рознь раба и господина усугублялась еще расовой ненавистью. Участие подобных слуг-товарищей, при подобных описанных отношениях, объясняет нам в значительной степени бешеную молодость почти всех римских известностей: на всякую свою юную прихоть эти, впоследствии исторические, люди находили сейчас же превосходный инструмент к выполнению в приближенном рабе, готовом на все услуги. Имея в распоряжении такого пронырливого, бесстрашного, умелого на все руки, Мефистофеля, — понятное дело, легко потерять предел и счет своим желаниям, выдумкам и капризам. Если Нерон находил потачку своим развратным прихотям даже у Сенеки и Бурра, то какой же подлой и безграничной угодливости мог он ждать и требовать от вольноотпу-

ценных и рабов?

Весьма часто раб-сверстник любил хозяина и служил ему с собачьей преданностью именно по личному к нему чувству. Но у большинства имелись для хорошей службы и другие мотивы, менее возвышенные. Рабу был на руку разврат господина. Он сытно кормился и вкусно пил при барских оргиях, ему перепадала частицы денег, выпрошенных сынком-кутилой у богатого родителя, он утешал и наследовал отставных любовниц своего господина и, обратно, ловко подставлял ему своих собственных. Громадный талант надувательства, лжи и злобной мистификации — характернейшая черта римского раба. «Без рабства человек никогда не познал бы всей безграничности порока лжи». Лгать в глаза, с медным лбом, не смущаясь никакой очевидностью — тщеславие раба; одурачить барина или постороннего человека ложью, посадить ближнего своего в глупейший просяк — его радость. В яркий полдень он способен отрицать свет солнечный; готов присягнуть, с бесстыжими глазами, что белое — черно, черное — бело. Уличать одну его несооб-

разность, — он уже изобрел и защищает другую, еще наглее и нелепее. Бесстыдство это, в конце концов, возмущает даже доброго человека; самый жалостливый хозяин хватается за плетль. Но удары рабу — что стене горох. Он щеголяет отсутствием страха к наказанию, гордится, что удалось его добиться, сам на него напрашивается. В рабских дворнях, как в воровских шайках, нравственность и общественное мнение вывернуты наизнанку: что преступно по этике для господ, — доблестно по этике раба. Мы присутствуем при любопытном процессе повального извращения чувства чести в миллионном слое римского населения{7}. Рабы хвастают ложью, воровством, соблазном, всяким вредом, понесенным от них свободнорожденными. Чем мерзее поступок, тем больше почета его автору в товарищеской среде; раб, заслуживший казнь на кресте, ценится в этой преступной иерархии выше раба, высеченного до полусмерти, сеченный — битого, битый — обруганного. Это — нравы нашей каторги, как описали ее Достоевский, Максимов, Чехов, Мельшин, Дорошевич. Плавт рисует нам раба у позорного

столба. Его накрыли на месте преступления, уличили, обвинили и сейчас будут драть. Вы думаете, он просит пощады, стонет, плачет? Как бы не так: с гордо поднятой головой, он грозит и насмехается, будто герой, разбитый, но непобежденный изменой судьбы, которая оставила ему в утешение лишь одно орудие мести врагу — неумирающее и неутолимое презрение. Это — пленный ирокез из баллады Полежаева, это — Стенька Разин у плахи. Сам хозяин не в состоянии удержаться от удивления, почти уважения к мужественной выдержке и отчаянной стойкости удалого бездельника. «Посмотрите на этого разбойника, — говорит он, — у него такой великолепный вид, точно его не сечь хотят, а жалуют в цари». Но уважение господина к рабу не встречает в последнем взаимности. Римский раб имеет о своем хозяине весьма жалкое понятие. Господин у Плавта всегда глуп, трус, мямля, нерешительный и холодноватый любовник, полон нравственных предрассудков, лишен всякой смелой инициативы, не умеет даже соврать и сплутовать толком. Словом, пред нами — такой же непокрытый дурак, ка-

ким изображают наши сказки и народные анекдоты русского крепостного барина. Мы видели, что свое презрение к практической неспособности и умственной непроизводительности господина раб высказывает ясно и грубо. В союзе сверстничества он — сильная сторона, господин — слабая. Неудивительно, если апломб и самоуверенность раба внушали иному знатному юноше уважение и восхищение к проделкам, которые может быть, сами по себе и очень остроумны, но с точки зрения правовой и этической недалеко от наглешего мошенничества, — восторг к проступкам против всех семи смертных грехов, — привязанность к людям, на лицах которых, говоря языком Гоголя, «читались достоинства великие, по которым одна награда на земле — виселица». А от уважения и восхищения один шаг до подражания и послушания. Господин — слепец; раб — поводырь, плутовато направляющий его к опасной яме. Это сравнение было справедливо не только для условий частной жизни, но и для государственной. В отношении Плавтова сверстничества попадали цезари. Слабейший из них —

Клавдий, был безответной игрушкой в руках своих вольноотпущенников, т.е. вчерашних рабов. Один заставляет его казнить жену; другой снова женит его на своей любовнице. Еще Шампаньи сравнил Клавдия с ручным слонком, добродушнейше шагавшим по отвратительнейшим дорогам, на которые направляли его корнаки-вольноотпущенники.

Рим рано женил своих молодых людей, рассчитывая тем «остепенить» их — не дать им времени развратиться. Но, как известно, браки в Риме не отличались прочностью. В числе причин неустойчивости брачных союзов, — притом на одном из первых мест, — надо поставить пагубное влияние раба-сверстника, сотоварища и ментора холостых пороков молодого мужа. Вместе с хозяином, волей-неволей, остепенялся и приближенный раб.

Прощай, лакомые кусочки, разгульные ночки, бешеные денежки! Осужденный на мирную, скромную жизнь под кровом порядочного дома, избалованный раб бесился от скуки, и если не отпускал его на волю господин, то начинал сам думать о выкупе и при-

капливать нужную на то сумму. Но от трудов праведных не нажить палат каменных: служба честью и правдой, капитала скоро не сколотишь. Раб снова принимался за свои старинные плутни и привлекал к ним того, кто в данном случае был ему всех выгоднее, т.е. молодого господина. Восторги медового месяца прошли, господин позевывает и, заметно, не прочь тряхнуть холостой стариной. Раб, изучивший нрав его, как свои пять пальцев, уже тут как тут, с предложением былых привычных услуг. «Тебе наскучила жена? Нравится другая? Кто она: рабыня, свободнорожденная? Я готов отнести твою записку хоть супруге самого цезаря. Хочешь — устрою свидание? Хочешь, украдем красавицу?» Мефистофели в Риме умели хорошо убеждать, а Фаусты были податливы. И вот для раба вновь наставали, в буквальном смысле слова, золотые дни, а господин втягивался мало-помалу в старые холостые привычки, в том числе и в привычку плясать по дудке раба-сверстника. Естественно, что жены ненавидели личных рабов, состоявших при мужьях. Они чувствовали в этих людях природных врагов семейного

гнезда, ими свиваемого. Нечего говорить, что ненависть обострялась, когда к развращающему косвенному влиянию раба, чрез скверные услуги и советы, присоединялось прямое — через порок, ныне не называемый, но в древнем Риме столь же обыкновенный, как в современном Тегеране или Эрзеруме. Марциал и Петроний рассказывают удивительные подробности. И грустно, и смешно читать, с какого рода ревностью приходилось знакомиться многим молодым женам, иногда при первом же вступлении их под супружескую кровлю.

Отведя так много места характеристике рабов, латинская комедия оставила нам лишь легкие абрисы рабынь, что зависит, конечно, не от маловажности роли их в действительной жизни, но от обычая древних поручать на сцене женские роли мужчинам. Так как мужчина в женском платье всегда безобразен и скучно неловок, то ему и не давали долго утомлять собой внимание публики. Однако, Плавт все же дает представление о том, какого тона были римские служанки, и каковы были нравы их, и каков жаргон. В общем,

они — прямые предшественницы субреток Мольера, но местами у Плавта вдруг скользнет такая бытовая черта рабьего мирка, прозвучит такое словечко, что пред смелостью их сразу меркнут не только Мольер, но и «Мандрагора» Макиавелли, и сам Аретин.

Иначе, конечно, и быть не могло! Потеря стыдливости — естественный закон для рабыни: с самых ранних лет она окружена преступными посягательствами всех мужчин — господина, друзей дома, рабов-товарищей по неволе, рабов чужих. У нее нет родителей, в смысле правовой опеки; двуногим самцу и самке, благодаря которым явилась она на свет, не предоставлено ни прав, ни возможности заботиться о целомудрии дочери. Да и что заботиться? Они — люди опытные, знают: от судьбы не уйдешь. Муж рабыни — еще меньшая ее охрана. Он — фикция, и даже не правовая. Рабский *contubernium* — не брак; это — лишь производство детей с разрешения господина; муж в нем — более или менее длительная случайность, не имеющая над рабыней никакой определенной власти. Ни образования, ни воспитания, ни малейшего толч-

ка к самосознанию и нравственному отчету пред собой рабыня с рождения не знавала. В самом лучшем случае, — если ее обучали искусствам, — то обучали только в направлении и в размерах, нужных для вящего услаждения ее особой господ и их гостей. Она знает очень хорошо, что она — предмет удовольствия, и только. И, покорная судьбе, она смотрит на удовольствие, как на конечную цель жизни: удовольствие — высшее, что есть в мире, ради удовольствия все возможно и позволено. Только как жрица удовольствия, угодив господам какой-нибудь неслыханной тонкостью или дерзостью разврата, может она заслужить себе свободу или деньги, чтобы откупиться на свободу. Поводов к распущенности — сколько угодно, сдерживающих начал — никаких... Вообразим даже, что случайная семья *contubernium*'а желала бы сохранить добрые нравы своей дочери. Как бы принялась она за этот подвиг? Чтобы проповедовать мораль, надо самому знать и иметь хоть какую-нибудь, а что за двуногие звери были отцы, братья, мужья рабынь, — мы только что говорили. Их пример мог только поощ-

рить молодую девушку ко лжи и бесстыдству — этим роковым недугам всякого рабства. Римская рабыня-субретка — бессовестнейшая тварь, какую когда-либо выделяло из себя потомство Евы.

Юность римлянки высшего круга протекала в обществе не одной такой твари, но целого их стада. И для нее, еще в колыбели, выбиралась рабыня-сверстница, подружка ее младенческих игр, наперсница ее первых девичьих тревог, мечтаний, ожиданий. Рабыни-подружки шли за ней в приданое и в доме молодых супругов приобретали то же двусмысленное положение при жене, что сверстник-раб занимал при муже. Овидий неоднократно изобразил этих ловких, смелых, изворотливых сообщниц и укрывательниц грешков госпожи. Ириды преступных Юнон, они дерзко скользят, с любовным письмом на груди или под пяткой, мимо ревнивого, но рогатого мужа, вспльчивого брата, подозрительного отца. Ириду ловят, обыскивают, раздевают догола, — напрасный труд: незримые литеры письма начертаны у нее на спине симпатическими чернилами: счастливый кор-

респондент Юноны сумеет оживить их, по условленному секрету, и прочтет желанный текст, — хотя, быть может, красота живой бумаги и отвлечет его мысли от начертанного на ней содержания. Картину такой случайной измены мы встречаем именно у Овидия. Перехватить у госпожи своей обожателя — рабыня, разумеется, не ставила себе в грех. Госпожи знали обычаи своих проказливых Ирид и жестоко к ним ревновали. Проперций защищает пред своей возлюбленной Цинтией ее рабыню, Лицину. Цинтия напрасно преследует и мучит бедную девушку; в данное время, между ней и поэтом нет никаких нежных отношений; вот прежде, правда, было другое дело. В заключение, Проперций пугает ревнивицу сказкой о Дирцее, казненной за жестокость к невольнице Антиопе, которую удостоил любовью сам Зевес. В этом поэтическом рассказе мы находим полное изображение застеночных мук, претерпеваемых прекрасной рабыней от ревливой госпожи:

Ах, как часто рвала ей дивные кудри царица

И жестокой рукой била по нежным ще-

кам!

Ах, сколько раз отягчала служанку без-
мерным уроком,

И головой на земле твердой велела ле-
жать!

Часто в нечистых потьмах она ее жить за-
ставляла,

Не давала испытть жаждущей гнусной во-
ды. —

Иль никогда, Зевес, не придешь Антиопе
на помощь

В стольких страданьях? Цепь руки истерла
уже.

Известные стихи Ювенала о жестоком об-
ращении знатных римлянок со своими рабы-
нями приписывают эти жестокости беспри-
чинно повелительному злонравию тогдаш-
них дам-аристократок. Однако, человеческие
выродки, Салтычихи, находящие радость му-
чить ради мучения, не так уже часты во все
времена и во всех слоях общества, хотя бы да-
же и такого неврастенического, как в спив-
шемся с круга Риме первого века. Практика
женского жестокосердия в русском крепост-
ном праве, в невольничестве Северо-Амери-

канских Соединенных Штатов, в гаремах мусульманских стран, — чертами, совершенно схожими с обличениями Ювенала, — дает основание предполагать, по аналогии, что главным мотивом зверского обращения дам со служанками и в Риме, как всюду, почти неизменно являлась именно ревность.

Если рабыням случалось возбуждать в хозяйках ревность даже к обожателям, тем естественнее была ревность к мужьям-домохозяевам. Правда, закон воспрещал римлянину держать наложницу под кровом своих пенатов, но, помимо того, что закон этот никогда не имел серьезного веса, он не усматривал наложничества в любовной связи господина с собственной рабыней. Рабыня — не лицо, но вещь, которой хозяин волен пользоваться, как ему заблагорассудится. Общественное мнение находит, что ревновать мужа к рабыне смешно, дико, почти неприлично благородной даме. Даже тонкий, деликатный, чувствительный Плутарх убеждает своих читательниц относиться как можно равнодушнее к интрижкам мужей в их девичьей, — и только если уж нрав супруги так пылок, что она

никак не может против мучений ревности вооружиться философией, только тогда советует он немножко повоздержаться и мужу.

Как жестоко свирепствовал этот порок в римских семьях еще при республике и как мало мешал он официальной добродетели, — лучшие примеры тому Катон Старший и Сципион Африканский, две слишком тысячи лет поставляемые всем школьникам в образцы нравственной порядочности. Катону было за семьдесят лет, когда он вступил в связь с одной из своих рабынь. Женатый сын Катона, живя со своей семьей под одной с отцом кровлей, был скандализован поведением старика, — тем более, что рабыня стала дурно работать и забываться пред молодыми хозяевами. Он не скрыл своего неудовольствия, и тогда старый цензор, вынужденный разлучиться со своей красавицей, назло сыну, женился на дочери какого-то писаря. Сын, еще более озадаченный и огорченный таким внезапным и неравным браком, спросил, чем он заслужил, что отец вводит в дом мачеху... «Я тобой совершенно доволен, сын мой, — с тонкой насмешкой отвечал мстительный старик, — но

желаю оставить отечеству по смерти своей еще нескольких граждан, — доблестных, вроде тебя». Злопамятный мститель сдержал слово: молодая жена родила ему, уже восьмидесятилетнему, сына, — то был дед Катона Утического. Рыцарское отношение Сципиона к Софонизбе едва ли не самый популярный анекдот о мужском целомудрии, за исключением истории Иосифа Прекрасного и Пентефриевой жены. Но в летах более зрелых, будучи консулом, мужем прекрасной женщины, Терции Эмилии, он влюбился в рабыню жены своей — с такой бесцеремонной явностью, что весь дом знал и говорил об этом странном романе. К счастью, Терция Эмилия оказалась супругой-философом, во вкусе Плуларха, не вывела скандала на общественное посмешище. Дочь Сципиона, на глазах которой разыгралось это приключение, была уже очень на возрасте и не могла не понимать происходящего. Однако, эта снисходительная дочь не кто иная, как Корнелия, знаменитая мать Гракхов, третий школьный идеал добродетели, рекомендацией которого к подражанию столь же надоедают институткам и гим-

нацисткам, как у гимназистов и семинаристов навязли в ушах Катон и Сципион. Те же нравы встречаем мы и в много позднейших веках. Святой Павлин Ноланский, описывая свою молодость, не без гордости отмечает: «Я сдерживал свои желания и уважал стыдливость. Я никогда не позволял себе любви к свободной женщине, хотя меня часто к ней соблазняли. Я довольствовался служившими у меня в доме рабынями». Таким образом, даже по взглядам христианина-аскета, грех в рабском гинекее — не грех и не роняет репутации порядочного человека.

Если так думают и ведут себя люди, стоящие головой выше толпы, трудно ждать иных воззрений в среднем обиходе. Бытовые картины Плавта — пред нами. Сталиноны, отец и сын, — через подставных рабов своих, наперебой ухаживают за рабыней Казиной, едва вышедшей из детства. Счастье, конечно, на стороне сына; девушка достается фиктивному жениху с его стороны; старик посрамлен и должен выслушать нотацию от всей своей семьи, — не столько за безнравственность, как за глупую претензию соперничать с краси-

вым юношей-сыном. Вот покладистый эпилог «Казины»: «Теперь справедливо будет, если вы дадите справедливую награду справедливыми руками. Кто это сделает, может всегда жениться тайком от жены, на какой ему угодно милашке. Но кто не будет громко, изо всех сил, аплодировать, перед тем, вместо милашки, окажется козел, раздушенный корабельными нечистотами!»{9}. Другая комедия Плавта «Asinaria», построенная на подобных же мотивах, но без осложнения родственной конкуренцией, дает в заключительном монологе следующее податливое нравоучение: «Если почтенный старичок пошалил потихоньку от жены, тут нет ничего нового, удивительного, ничего такого, на что бы не пускались все другие мужья. У кого из нас сердце настолько жестоко, душа так неподатлива, чтобы удержаться от интрижки, буде представится к ней случай?» Христианский поэт и весьма демократического направления — Сальвиан, пятьсот лет спустя после Плавта, жалуется, что «молодой слуга-соучастник, поощряет и укрывает страсти господина, молодая служанка считает обязанностью уступать

его прихоти; таким образом, большая часть господ, вступив в законный брак, считает вполне естественным держать в доме целый гарем». В промежутке пятисот лет нравы, конечно, были не лучше.

Во время Плавта рабыня была еще далеко не тем обольстительным предметом роскоши, каким она стала впоследствии, к последним дням республики и, в особенности, под державой цезарей Августова дома. При Плавте рабыня-гречанка еще редкость в Риме. Честный Демифон не хочет принять в свою дворню прекрасную Пасикомису, чтобы ее красота не бросила на дом дурной славы: «Еще, пожалуй, злые люди скажут, что мы собираемся ею промышлять». Он же рисует современный идеал рабыни: «Пусть умеет она ткать, молоть муку, колоть дрова, прядь шерсть, подметать комнаты, получать затрецины и стряпать каждый день обед для семьи». Это — грубая рабочая сила. Надо обладать весьма невзыскательным вкусом, чтобы увлечься подобной прелестницей. Однако, мы видели: увлеклись Катон и Сципион.

Но вот в Рим хлынул целый поток прекрас-

ных Пасикомис, гречанок с островов и из Малой Азии, совершеннейших красавиц в мире. Физическая красота — их природный и единственный дар, их гений, их талант. Это — модели: с которых созданы Афродиты Праксителя, — быть может, даже без слишком сильной идеализации. Мы знаем из гневных упреков отцов и учителей церкви, что кумиры многих богинь были портретами греческих куртизанок. Идея о прекрасном живом теле, осуществившем своей реальностью высшую мечту художника, звучит возвышенным аккордом в известном мифе о Пигмалионе и его мраморной красавице. Мы употребляем в разговоре сравнения: «хороша, как статуя», «сложена, как статуя»; счастливая Греция знала женщин, чьей прелести статуи были едва достойны: задачей скульптуры становилось приблизиться к их природному совершенству. Не Фрине Пракситель, но Праксителю Фрина предписала законы и теорию красоты. Диво ли, что когда эти живые мраморы появились в Риме, то суровость победителей весьма скоро растаяла в лучах их блеска, и красавица-гречанка, хотя купленная и порабощен-

ная, становится желанным украшением каждого порядочного дома, а вместе с тем, весьма часто, и повелительницей влюбленного домохозяина?

Походы Юлия Цезаря и генералов Августа бросили на рабский рынок тысячи женщин из Галлии, Германии, с Дуная. Мы имеем наглядное доказательство тому, что их северная красота властно соперничала с классической красотой юга: римские дамы, в подражание этим роскошным пленницам, красят волосы в золотой цвет, носят белокурые парики, рыжие шиньоны. Желтоволосые кокотки второй французской империи только повторили моду, которой следовала Мессалина, отправляясь в ночные приключения переряженной в платье и парик уличной женщины.

Имея в доме столь блистательный гарем, надо быть праведником, чтобы не впасть в искушение плоти. О борьбе с искушениями римский свет знал очень мало и от праведности себя, с полной откровенностью, увольнял. Хуже или лучше жилось от того рабыням? Поторговаться любви господина было, конечно, в их расчетах: это гарантировало им хоро-

шее обращение, облегчало путь к свободе, часто сулило правильный конкубинат, а иной раз даже замужество. Конечно, влюбленный хозяин мог быть антипатичен рабыне, противен, даже отвратителен, — но, ведь, бежать ей от него, все равно, было некуда. Да и вряд ли много рассуждали о таких «нежностях» в темном рабском мире, где женщина сама смотрела на себя, как на вещь, на самку, на роковой объект чувственной страсти. Дело шло не о любви, но только о половом акте, что на юге и теперь очень различают, а в старину умели различать еще резче и откровеннее.

Единственно опасные последствия романа с хозяином представляли для рабыни ревность и месть обманутой госпожи. Конечно, далеко не все дамы принимали к руководству добродушные правила Плутарха, и Риму, как крепостной России, как невольническим штатам Америки, были известны случаи ужасающих женских расправ с нарушительницами семейного счастья, не разбирая, конечно, вольными или невольными. Моление грибодовской Лизы: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь» — несо-

мненно часто возносились к небесам и в рабских гинекеях римской знати. Красивая невольница в Риме, — по удачному сравнению Лакомба, — что зерно между двумя жерновами. Она зажата в тиски между прихотью господина и ненавистью ревливой госпожи. Жернова вращаются губительно, неуловимо и с роковой быстротой и настойчивостью уничтожают одну молодую жизнь за другой, стирают в муку одного живого человека за другим.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

PRINCEPS JUVENTUTIS

I

Уволив Аникета, чего этот всесовершеннейший негодяй никогда уже не простил ей, Агриппина задумала поручить сына старому другу своей семьи, Л. Аннею Сенеке, первому оратору и писателю века, если не главе, то популярнейшему теоретику стоического философского толка. Агриппина не любила философии, не уважала философов и даже предостерегала сына не увлекаться их наукой: она де государям бесполезна и не доводит их до добра. Но стойки в первом римском веке образовали довольно дружную и сильную группу не только научно-литературного, но и политического значения. С этими «философами» Агриппине, покуда, и надо было, и хотелось ладить. Литературные же и риторские заслуги Сенеки императрица могла высоко ценить и помимо своих дипломатических соображений: она сама была писательница, ее «Комментарии» Тацит поминает в числе ис-

точников, по коим он составил летопись последних лет Тибериева правления, и, кажется, книга Агриппины заключала в себе не только мемуары, но и руководство к государственному управлению, трактат вроде «Il Principe» Макиавелли.

Но можно думать, что Агриппину влекло к Сенеке не одно почтение к его ученому и литературному авторитету. Для огромных планов, зревших в ее властолюбивом уме, нужен был помощник-единомышленник, советчик умный, опытный, дальновидный, одновременно и мудрец, и государственный человек, и придворный. Сенека — точно вылит на заказ по требуемой форме.

Испанский выходец, сын всадника М. Аннея Сенеки, почтенного и талантливоегo ритора из Кордовы, он, в полном смысле слова, сам был кузнецом своего счастья. Уже при Тиберии заметный, как адвокат, при Калигуле он — знаменитость, вызывающая опасную зависть в красноречивом государе, при Клавдии — квестор и сенатор. В сенате он примкнул к партии оппозиционного меньшинства, известной под названием «порядочных

людей» (boni) и составленной по преимуществу из последователей стоической философии. Как стоик, Сенека отлично ладил с сенатской левой, до тайных республиканцев включительно; как убежденный монархист, хорошо уживался с двором и, через дружбу с семьей Германика, был в чести на Палатине, хотя лично Калигула очень не любил его и едва не казнил. За близость к принцессам Германикова дома, Сенека впал в немилость у Мессалины. Уже второй год правления Клавдия (42 по Р. Х.) застаёт Сенеку изгнанником на острове Корсике. Предполагают, будто он был обвинен в прелюбодеянии с младшей дочерью Германика, Юлией Ливиллой. Но Nochart небезосновательно признает одинокое показание о том Диона Кассия позднейшей выдумкой придворной сплетни, взамен забытой действительной причины изгнания. Гораздо вероятнее и более похоже на Сенеку, что он попал в ссылку за прикосновенность к какому-нибудь заговору против Клавдия, по интригам деспотической партии сенатского большинства. Ссылку свою Сенека отбывал с мужеством, хотя тоска по Риму неоднократно

искушала его на компромиссы с правительством, и тогда он писал к вольноотпущенникам-фаворитам Клавдия жалостные письма, которые впоследствии разыскивал и тщательно истреблял. Дион Кассий уверяет, будто в числе, уничтоженных автором, рукописей Сенеки было даже похвальное слово Мессалине. Дошедшее до нашего времени, произведение Клавдиевой эпохи, «Утешение к Полибию» (вольноотпущеннику, библиотекарю Клавдия), полное самой униженной лести по адресу цезаря — едва ли не образец этих ухаживаний Сенеки за враждебным правителем. Некрасивый тон «Утешения» вызывал многих поклонников Сенеки доказывать, что сочинение это либо подложно, либо ошибочно приписывается философу. Так утверждали, Денис Дидро, Bouillet, а из новейших, в самое последнее время, Nochart. Старинное мнение Юста Линсия, что «Утешение» — домашняя рукопись Сенеки, оглашенная в публике случайно, без воли и ведома автора, поддерживает наш Модестов.

За что бы ни был сослан Сенека и как бы он ни переносил ссылку, бесспорно одно:

Клавдия, который изгнал его, подстрекаемый Мессалиной, он ненавидел, новой жене Клавдия был предан. Вызывая Сенеку с Корсики, Агрипина разом попадала в две цели: сыну дарила блестящего педагога, а себе — искреннего приверженца, годного, в случае надобности, явиться руководителем партии.

А партия слагалась. Издалека задуманный, но для всех, сколько-нибудь прозорливых, людей Клавдиева двора уже не тайный, план Агрипины — провести Домиция к императорской власти и стать самой, именем его, во главе государства, — должен был, казалось бы, представляться каждому здравомыслящему римлянину бессмыслицей со всех сторон, откуда ни взглянуть. Пусть Клавдий уже не молод, — у него есть прямой наследник: Британик. Пусть Рим, шестьдесят лет тому назад подчиненный конституции принципата, признает его династической собственностью Юлиев-Клавдиев только по старому обычаю, а отнюдь не по закону. Пусть, в недрах этой обычной династии, также не установлено наследственного преемства власти ни по степеням естественного родства, ни по завещанию.

Пусть каждый потомок Августа имеет возможность сделаться принцепсом, коль скоро его провозгласит армия и утвердит сенат. Пусть, наконец, в избирательном порядке этот Британик может быть отстранен от власти, как устранили уже однажды Тиберия Гемелла, родного внука императора Тиберия, в пользу Кая Цезаря (Калигулы), внука двоюродного, с пренебрежением к завещанию покойного, которое делило, будто бы, власть между ними обоими. Но, даже в случае подобного устранения, неужели не найдется в Риме никого, чтобы заменить Британика, кроме мальчика, всего тремя годами старше обойденного наследного принца? Есть Силаны, Сулла, Рубеллий Плавт, связанные с Августом не менее близким родством, чем Домиций Аэнобарб. Затем: если бы Клавдий оставил сына слишком малолетним, чтобы принять принципат, у него имеются две дочери — Октавия от Мессалины и Антония от Эмилии Петины; выдав их замуж, он станет зятьям в отца место и одного из них проведет к власти, вручив ему империю, как дочернее «приданое». Октавия даже и была уже помолвлена

за Люция Силана, юного принца тоже от Августа корня. Расстроить этот брак было первым делом Агриппины, как скоро она стала супругой Клавдия. Взгляд на империю, как на «приданое» дочерей Клавдия, по-видимому, был широко распространен. Впоследствии его очень точно и грубо выразил в лицо Нерону верный учитель его и военный министр, Афраний Бурр. Заговоры против Нерона обострились, власть его стала шататься именно после того, как он погубил супругу свою Октавию для женитьбы на Поппее Сабине. Когда последняя умерла, Нерон, чтобы укрепить себя в принципате, хотел жениться на Антонии, последней из детей Клавдия, оставшейся в живых. Отказ Антонии он принял как знак государственной измены, и несчастная женщина должна была умереть.

Кроме всего того, Рим всегда ненавидел женское господство, а было ясно, что превращенный в принцепса Домиций явится прямой ширмой действительного регентства своей матери. Она уже и при Клавдии забрала власти и наружных признаков власти больше, чем когда-либо какая-либо из принцесс

империи.

Но, несмотря на все то, вокруг Агриппины и Домиция сплотилось прочное ядро тайных соучастников. При дворе за нее стоял самый умный и влиятельный из приближенных Клавдия, его министр финансов (a rationibus), Паллант, который именно и сделал ее супругой цезаря. Из других мощных вольноотпущенников Клавдия, конечно, не все приняли на Палатине Агриппину и сына ее с радостью. Но те, кто не стал к Агриппине в открыто враждебные отношения сразу, как поступил Нарцисс, должны были со временем рассудить, что ее партия более жизнеспособна и выгоднее для них, чем мессалианская, то есть маленького Британика. Во дворце, как и в сенате, большинство не имело оснований особенно крепко держаться за Британика и скорее побаивалось его: осуждение и смерть Мессалины были еще у всех на свежей памяти, а принц помнил и любил свою мать и, став у власти, конечно, не позабыл бы отомстить за нее. В этом-то не сомневался даже такой ожесточенный враг Агриппины и приверженец Британика, хотя и главный убийца его мате-

ри, как Нарцисс. Ежедневно убеждаясь, со времени нового брака Клавдия, — по, измененному к лучшему, ходу государственного корабля, — в недюжинном уме и непреклонной воле Агриппины, группа убийц Мессалины и помощников и потворщиков убийцам доверилась звезде ее преемницы. Агриппина имела талант привлекать к себе самых умных и ловких людей века. В сенате ее деятельным агентом явился Л. Вителлий, тонкий, искусный администратор-дипломат, осторожнейший царедворец, одаренный совершенно исключительным чутьем к успеху. Уже одно то обстоятельство, что Л. Вителлий прятельствовал с Агриппиной гораздо откровеннее, чем обычно позволял себе проявлять свои симпатии этот двусмысленный человек, показывает властность придворного и силы общественного движения в пользу Агриппины: Вителлий собой рисковать не умел и к малонадежным делам не прикасался. Он завоевывал для Агриппины аристократическую «правую» сената. С левой, то есть со стоической оппозицией, должен был ее сблизить и сблизил Сенека. А затем — очень друж-

но и почти без протестов — сенат поддерживает Агриппину во всех затеях, помогая подсаживать Домиция со ступеньки на ступеньку по лестнице к верховной власти с такой ловкостью и легкостью, что мальчик и сам не заметил, как из скромного червячка превратился в куколку, из которой должен был вылететь, уже гордо сверкая императорским пурпуром.

II

Возвращенный из ссылки (в первых месяцах 49 года), Сенека был осыпан почестями: мы видим его сразу на предпоследней ступени магистратуры — претором; теперь ему осталось только побывать в консулах, чего он и удостоился впоследствии, уже при цезаре Нероне (56 г.). Тацит определенно указывает, что, в хлопотах за Сенеку, Агриппина, благодетельствуя философу, благодетельствовала и себе, так как общественное мнение осталось очень признательно ей за возвышение и приближение ко двору столь любимого в народе, широко популярного человека. Не обошлось, конечно, и без сплетен: вероятно, именно в это время и сложилась холопская

легенда о любовных отношениях Сенеки к принцессам Германикова дома — кто говорил, к покойной Юлии Ливилле, а другие — к самой Агриппине. Вероятно, с совета Сенеки, решено, прежде всего, обеспечить Л. Домицию империю именно как «приданое», — поторопиться браком его с Октавией. Назначенный на ближайший срок консул, агриппианец Меммий Поллон, внес в сенат предложение умолять Клавдия о помолвке молодых людей. Говорил Меммий в грубом, якобы республиканском, тоне гражданина, требующего от своего принцепса, как равный от равного, необходимой услуги государству. Клавдий был тиран из бессознательных; педант, законник и книжник, он имел наивность серьезно воображать себя неуклонным стражем-блюстителем старой Августовой конституции. В сути дел своих — капризный самодур, в процессе же их — кропотливый и самодовольный хвастун-формалист, он обожал архаический республиканский тон, заставлявший его исполнять свою волю, как бы против воли, по подчинению приказу верховной правительственной силы. Раньше точно такой

же речью Вителлий, «льстец четырех государей», заставил самого Клавдия жениться на Агриппине; брак был выставлен такой настоятельной потребностью, что «если цезарь будет еще колебаться, мы женим его насильно».

Итак, свадьба Домиция и Октавии решена, жених и невеста помолвлены. Войдя во дворец, как трижды родственник цезаря — двоюродный внук, пасынок и нареченный зять, — Домиций сразу становится фамильно на равную ногу с Британиком. А между тем интрига уже работает, чтобы как можно скорее сравнять принцев юридически — через усыновление Домиция Клавдием. Этот шаг труднее предыдущего. В роду Клавдиев, начиная с основателя его, сабинского выходца Атта Клавза, в римских летописях Аппия Клавдия, не было усыновленных. Фамилия продолжалась без перерыва, из поколения в поколение, естественным приростом в собственных своих недрах, уже свыше пятисот лет (250—800). Уговаривать Клавдия к нарушению семейной традиции через посредство сената представлялось если не вовсе невозможным, то неловким. Двинули пружину более интимного

свойства: за дело взялся Паллант.

Пользуясь своим неограниченным влиянием на Клавдия, Паллант убеждает его усыновить Домиция, доказывая, что через то ничуть не умалятся права Британика, но, наоборот, цезарь чуть ли не окажет сыну огромную услугу. Ослабевшей потомством династии неудобно, чтобы мужское представительство Юлиев-Клавдиев обеспечивалось только неверной жизнью десятилетнего ребенка; правящий дом получит в новом принце важное подкрепление; усыновил же Август своих пасынков Тиберия и Друза, а Тиберий — племянника Германика, хотя у первого были родные внуки, а у второго — родной сын, Друз-цезарь. Так и Клавдию следует взять в опору юношу, способного в непродолжительном времени принять на себя часть забот государственного правления. Якоби остроумно переносит на Клавдия энергическое выражение Веллия Патеркула о Сексте Помпее, сыне Помпея Великого: «вольнотпущенник своих вольнотпущенников и раб рабов своих» — *libertorum suorum libertus, servorumque servus*. Я уже упоминал, что Шампаньи остроумно

сравнивает Клавдия с ученым слоном, который всю жизнь свою шел лишь в ту сторону, куда его направляли, сидя у него на шее и стуча молотками по его голове, корнаки-вольнотпущенники. Слон и теперь остался верен корнаку: Домиций был усыновлен в торжественном обряде, перед понтификами, народным постановлением через *lex curiata* — и, будучи старше Британика тремя годами, стал не только равен ему, но даже получил право первородства. Сам Клавдий, в речи к сенату об усыновлении, поставил имя Домиция прежде Британика. Сенат благодарил Клавдия за принесенную им жертву на алтарь отечества и — уже льстил новому принцу, чутко кланяясь восходящей звезде, должной затмить остальные светила горизонта. Люций Домиций Аэнобарб граждански умер — родился Клавдий Нерон.

И напоминать Клавдию Нерону о том, что он был Аэнобарбом, стало небезопасно. Мать ревниво следила за прививкой нового имени и нового положения сына как в общественном мнении, так и в домашнем обиходе. Когда Британик, здороваясь однажды с новым

братцем, вздумал назвать его Домицием, Агрипина подняла перед Клавдием целую бурю жалких слов: Британик неспроста бросил эту шутку, его научили люди, желающие раздора в императорской фамилии; так остерить — значит издеваться над священным институтом усыновления; что же это будет, если у домашнего очага частного гражданина станут отвергать постановления сената и народную волю, облеченную в куриатский закон? Надо затушить маленькую искру неприязни, покуда не разгорелась она в пожар общественного бедствия. И прежде всего, — удалить от Британика негодяев-гувернеров, которые если не сами научили мальчика оскорбить Нерона, то не умели охранить своего питомца от злых людей, способных научить.

«Частный гражданин» Клавдий, затронутый за самую свою чувствительную жилку корректного консерватора- конституционалиста и охранителя древнего порядка, взбешен; над наставниками и гувернерами Британика учиняется розыск, одних казнят, других ссылают, а выбрать новых поручено Агрипине. Старую мессалианскую прислугу и

дворню отдалили от Британика еще ранее, под любезным предлогом, будто Агриппина сама желает ходить за пасынком. Около наследного принца не осталось ни одного преданного друга, зато окружило его неусыпным надзором целое полчище шпионов. И что хуже всего — Британику не на что было жаловаться: уход за ним был образцовый, ни в чем отказа и недостатка он не имел. Но, в двенадцать-тринадцать лет, мальчик в Италии уже не ребенок, а тем более мальчик, взращенный на Палатине, где преждевременно набраться ума заставлял каждый уголок, исторически ознаменованный преступлением; где, казалось, самый воздух, отравленный кровожадным лицемерием, предостерегающе взывал к инстинкту самосохранения: берегись!.. Между тем Британика держали, как ребенка, даже гораздо ниже его лет, внушали ему, что он ребенок, и ребенком показывали его народу, молчаливо объясняя толпе: судите сами — этому ли дитяти наследовать власть и править вами!..

Наоборот, из Нерона усиленно и спешно делали взрослого человека. Есть сорта пло-

дов, которые выращиваются в оранжереях не для употребления в пищу, но для декорации стола. Они огромны, красиво-сочны на вид, формы их благородны, краски приятны. Но кто, обманутый внешностью, вздумает попробовать их, тот находит под красивой кожурой, вместо благоуханного персика или вкусной груши, безвкусную труху. Нерон в руках Сенеки развивался именно подобно такому декоративному плоду, с той же быстротой и с теми же целями. Как декоративные плоды зреют не для того, чтобы их есть, так и царственное воспитание давалось Нерону не для того, чтобы он царствовал: это брала на себя его мать, — но чтобы производил царственный эффект. Агриппина предписала Сенеке огромную образовательную программу и строго, даже придирчиво, наблюдала за ее исполнением. Преподавать Нерону военные науки приглашен был Афраний Бурр, право гражданское, международное и дипломатию — Александр Эгейский и Херемон. Вероятно остался в числе преподавателей и ранее упоминавшийся грек Бурр (Берилл). Что он не утратил милости двора и, впоследствии, са-

мого Нерона, видно из важного назначения, которое он получил, — заведовать греческой, то есть самой интимной, корреспонденцией императора. Заметно, что Бурр имел некоторое влияние на Нерона. По крайней мере, ему, подкупленному кесарийскими греками, удалось однажды убедить императора на резкий указ против кесарийских евреев в такую пору, когда иудеи были всесильны при дворе, вооруженные наиболее могучими его протекциями, начиная с личных юдофильских симпатий самого Нерона и управлявшей им тогда Поппеи Сабины.

Педагогическая задача Сенеки осложнялась ленью Нерона: юношу все тянуло на изблюбленный путь художественного дилетанства — к пению, танцам, рысистой езде, музыке, стихотворству, пластике, живописи. К тому же, как справедливо отмечает Г. Шиллер, мальчик попал под педагогическую ферулу Сенеки, уже испорченный скверной школой Аникета. Заниматься серьезно и систематически мог заставить принца только страх матери, суровая требовательность которой поработала его гипнотически. Нерона дрессиро-

вали не иметь своей воли, слепо заменяя ее материнской мудростью. Всех вокруг юноши, кто мог иметь противовлияние, Агриппина безжалостно истребляла. С главной своей соперницей по близости к Нерону, Домицией Лепидой, она разделалась обычным в то время способом: на принцессу поступил донос, будто она пыталась известить императрицу колдовством, да и вообще неблагонадежна политически, так как содержит в своих калябрийских имениях целые полки рабов, представляющие опасность для общественно-го спокойствия Италии. В свидетели против Лепиды вызван был, между прочим, и Нерон. Запуганный домашней дрессировкой, он, в угоду матери, дал показание, неблагоприятное для обвиняемой. Лепиду казнили (807 г. от осн. Рима — 54 по Р. X.).

Сенека часто приходил в отчаяние от своего ученика, бранил себя, что взялся не за свое дело, говорил, что его время и труд пригодились бы на цели, более возвышенные, чем воспитывать испорченного мальчишку, хотя и с недурными способностями. Но в конце концов задачу свою, — как понимала и поста-

вила ее Агриппина, — Сенека выполнил блистательно. Воспитание Нерона происходило как бы в стеклянном доме. Каждый успех юноши шарлатански выносился на улицу, выхвалялся, вызывал изумление, толки и надежды. По четырнадцатому году, задолго раньше, чем позволял обычай, Нерона облекли в мужскую тогу (25 февраля 50 г.), то есть объявили совершеннолетним и способным приступить к государственным делам. Сенат, верный союзу с Агриппиной, спешит назначить Нерона консулом на срок, наступающий через шесть лет от этого торжества, в двадцатый год жизни принца, а временно облакает его проконсульской властью и титулом «главы юношества», *princeps juventutis* (804 г. Рима — 51 по Р. Х.). Это звание имело в императорском Риме почетное значение, не сопряженное видимо ни с какими особенными практическими правами, но столь же многозначительное символически, как, напр., в Российской Империи титул «Цесаревич», или в современной Англии — «Принц Уэльский». Государь в Риме был *princeps senatus*, первый в сенатском сословии, и *princeps omnium*, пер-

вый гражданин республики; а излюбленный принц его дома и предполагаемый наследник был *princeps juventullis*, *προχίριτοξ τηξ νεοτητοοξ*, и почитался номинальным главой сословия всаднического. Опять-таки и тут можно сравнить с обыкновением русского царствующего дома — назначать наследника престола атаманом войска Донского. На официальном смотре всаднического сословия, который производился императором 15 июля, *princeps juventutis*, действительно, во главе шести сословных старост, севилов, командовал сословной конницей, в рядах которой могли быть всадники только от 17 до 35 лет. Герцог полагает, что и *princeps juventutis* оставался таковым только до тех пор, покуда не вводили его в сенат, и, вообще, придает этому титулу меньшее значение, чем другие. Определиться точно в нем, конечно, мудрено, так как тут ничего не зависело от закона и очень много от обычая, времени, взглядов правящего государя и даже просьбе всаднического сословия. Ведь и цесаревич совсем не необходимый титул для наследника русского престола. Взять хотя бы недавний пример: в промежут-

ке между кончиной цесаревича в. кн. Георгия Александровича и рождением цесаревича в. кн. Алексея Николаевича наследником престола был в. кн. Михаил Александрович, но титула цесаревича он не имел. Столь же многозначительным шагом в пользу Нерона было включение его, сверх штата, *supra numerum*, в четыре главные жреческие коллегии — понтификов, авгуров, квиндецемиров и септемвигов, а имени его — в молитву арвалов за императорский дом. На играх, данных в память совершеннолетия Нерона, за Клавдиев счет, «принц юношества» предстал перед народом в одежде триумфатора, между тем как Британик стоял близ него в претексте, с детской буллой на шее^{10}. Во время празднеств в память учреждения Латинского союза Нерон назначен городским главнокомандующим. Ему предоставлено право жаловать деньги войскам (*donativum*), раздавать подарки (*congiarium*) и устраивать игры народу. Это тоже выразительные права, показывающие в Нероне юношу, которого правящая власть готовит себе в заместители, а потому не ревнует, а напротив приучает к своим пре-

рогативам. Конгиарием (от конгия, *congius*, сосуд вместимостью около 3 $\blacklozenge\blacklozenge$ литров) называлась экстренная, не в счет заурядной, раздача властью народу съестных припасов: зерна, масла, вина, мяса, овощей, соли и т.д. В республиканском Риме конгиарии предлагались народу вновь избранными магистратами или кандидатами в магистраты и, следовательно, были орудием избирательной борьбы. Цезари забрали эту важную силу в свои руки. *Donativum* — добавочный, жалованный солдатский паек: тот же конгиарий, но выдаваемый в войсках и, обыкновенно, не натурой, но деньгами. Впрочем, и гражданский конгиарий разменивался иногда на деньги. На донативы дом цезарей, по крайней мере начиная с Клавдия, откровенно смотрел, как на покупку солдат в верность династии. Со временем, как известно, донативы переродились из милости в обязательства, и чудовищные требования солдатчины обратили верховную власть в предмет аукциона. Всего пятнадцать лет спустя после Клавдия, которому Светоний приписывает первые развращающие злоупотребления донативами, импера-

тор Гальба погиб жертвой своей скупости или упрямства, за отказ удовлетворить жадные притязания солдат. Известна гордая фраза его: «Я солдат набираю, а не покупаю». Это хорошо в смысле государственного интереса, но опасно для самого государя, — комментирует Тацит.

Итак, Нерону дозволено прикоснуться к важнейшему рычагу власти: забавлять народ и покупать солдат. Поставленный в необходимость играть роль взрослого, юноша ни в чем не ударил лицом в грязь, всегда эффектный и в слове, и в деле. За четыре года перед тем едва грамотный, он, чтобы блеснуть хорошим образованием и славой красноречия, взял на себя защиту перед консулами и сенатом нескольких важных исков и ходатайств, возбужденных некоторыми провинциальными общинами. Штар думает, что первый ораторский дебют Нерона был в пользу жителей Илиона, для которых он, эффектными ссылками на родство римлян с древними троянцами, на происхождение рода Юлиев от Энея и тому подобным баснословием, выхлопотал освобождение от всех государственных по-

винностей. Но известно, что речь за Илион Нерон произнес по-гречески, и Г. Шиллер справедливо сомневается, чтобы предполагаемый наследник верховной власти, впервые изъясняясь перед высшим национально-правительственным учреждением, говорил на иностранном языке. Поэтому он первый опыт Неронова риторства видит в латинской речи о субсидии Бононской колонии, ныне городу Болонье, на новую стройку после пожара. Ходатайство, конечно, увенчалось полным успехом: бононцы, как клиенты фамилии Антониев, которой наследниками были Юлии-Клавдии, получили субсидию в десять миллионов сестерциев и колонию ветеранов. В начале 52 года Нерон просит, — с речью на греческом языке, — об автономии для острова Родоса. В начале 53-го, вскоре после своей свадьбы с Октавией, он же добивается льготы от податей на пятилетний срок для жителей фригийского города Апамеи (Aramea Kibotos, ныне Динер), пострадавшего от землетрясения. Слава молодого принца, гуманного защитника народных льгот и привилегий, должна была широко разойтись по провинциям сочув-

ственным эхом, все более и более оттесняя в тень и неизвестность темное имя маленького и поневоле бездеятельного Британика. Следы восторгов благодарного Родоса дошли до нас в монетах с именем Нерона и в стихах Антифила. Да и вообще Германики, в том числе и Агриппина с сыном, были очень популярны в провинциях. В Греции известие об усыновлении Нерона Клавдием было принято с восторгом: на некоторых монетах, современных событию, Агриппина прославляется, как «богоматерь». В Риме — та же благосклонность к новому «принцу юношества». Принято было во всадническом сословии дарить новым главам своим драгоценное оружие. Нерону оно поднесло почетный щит. Он командует военным парадом и, в доспехах военачальника, увековечен на монетах. За болезнью Клавдия, Нерон присутствует, как его представитель, в сенате. По указанию Зонары, хотя и слишком позднему, чтобы на него полагаться, Клавдий даже обратился к сенату с открытым письмом, в котором рекомендовал — буде он умрет — избрать ему преемником Нерона.

В начале 806 года а.у.с. — 53 по Р. Х., Неро-

на женили на Октавии. При этом вышло курьезное *qui pro quo*: со дня усыновления Клавдием, Нерон стал братом Октавии и потерял право жениться на ней, своей, уже четыре года помолвленной, невесте. Беде помогли тем, что вывели Октавию из рода Клавдиев, через фиктивное удочерение. Брак этот — заключительная точка в подготовке Агриппиной узурпационной кампании. Теперь Нерон был снабжен всеми данными для героя государственного переворота. Оставалось произвести сам переворот.

Тацит неоднократно, хотя и в слишком общих выражениях, упоминает, что оттесненного от власти Британика жалели в войсках. Но Агриппина и Паллант умели принять меры против развития этой жалости — как показали последствия, весьма слабой, несравненно большей на словах, чем на деле. Ненадежных трибунов и центурионов переместили в провинции, — с повышениями по команде, чтобы подсластить пилюлю. В то же время проводится хитрая реформа управления гвардейским корпусом. Клавдия убеждают во вреде двоеначалия, существующего в преториан-

ских когортах, со времени Кая Цезаря. Подражатель Августа и хранитель его конституции должен возвратиться к временам, когда единым главнокомандующим гвардии был верный товарищ и советник основателя империи — Меценат. Оба прежние префекта, Лузий Гета и Руфий Криспин, подозреваемые мессалианцы, получают отставку, и единым главнокомандующим гвардии назначен Афраний Бурр, alter ego Сенеки, профессор военных наук и второй воспитатель Нерона. Бурр — во главе гвардии, Паллант — во главе министерства финансов и собственного кабинета государя. А. Вителлий и Меммий Поллион — в сенате, Сенека — авторитетный вождь общественного мнения, и над всеми ими, как капельмейстер могучего политического оркестра, Агриппина, с ее неограниченным влиянием на Клавдия: — так сложилась неронинская партия к моменту решительного действия.

III

Оппозиция в пользу Британика была ничтожна. Собственно говоря, за права наследного принца вступился горячо и откры-

венно только один сильный человек — вольноотпущенник Нарцисс, личный секретарь Клавдия, когда-то главный виновник гибели Мессалины. Я не вижу оснований считать, вместе с Г. Шиллером, союзницей Нарцисса и партизанкой Британика Домицию Лепиду, тетку Нерона, о гибели которой было уже рассказано выше. Причины роковой ссоры между двумя принцессами определены у Тацита очень твердо: во-первых, женская зависть Агриппины к маленькому преимуществу перед ней Домиции Лепиды в знатности — она была одной степенью родства ближе к Августу, чем Агриппина; во-вторых, общее, давнее придворное соперничество двух палатинских львиц и в пороках и в успехах (*haud minus vittis aemulabantur quam si qua ex fortuna prospera ascerant*); в-третьих и главных — борьба за влияние на юного Нерона. О Британике тут нет и помина. С дочерью своей Мессалиной, матерью Британика, Домиция Лепида была в долгой ссоре, которая, быть может, поддерживалась именно тем условием, что Лепида, к обиде дочери, взяла на воспитание маленького Аэнобарба и отстояла жизнь его

от властной злобы Мессалины. Вообще, очень заметно, что сестры покойного Кн. Домиция Аэнобарба паче всего дорожили памятью брата и славой своей угасающей фамилии. Не им было злоумышлять против обожаемого племянника, которому предстояло завершить родословную Аэнобарбов, ее консулаты и цензуры, титулом принцепса-императора. Напротив, при Клавдии обе тетки, при Нероне — пережившая Лепиду, Домиция ревниво охраняли своего любимца против властолюбия самой Агриппины и очень неудачно вмешивались в ее отношения к сыну. Губя Домицию Лепиду, Агриппина уничтожила в ней не сторонницу Британика, не противницу предполагаемого переворота, но соперницу, которая могла обесценить переворот, направить его в свою пользу. Делая Нерона принцепсом, Агриппина искала верховной власти для себя, а вовсе не для дележа ее с золовками Домициями. Заступничество Нарцисса за Лепиду — отнюдь не доказательство их единомыслия в деле Британика. Иметь против себя двух врагов, еще свирепее враждующих между собой, выгоднее, чем стоять против одного врага, мо-

гуче сосредоточенного, ничем не отвлекаемого. Нарцисс спасал Лепиду не по симпатии к ней, но потому, что она ослабляла Агриппину. Да, наконец, могло же и в дурном человеке заговорить чувство справедливости и сострадания при виде, как ни за что, ни про что истребляли совсем недюжинную женщину аристократического рода, виноватую только в том, что другой женщине не нравились ее характер и физиономия.

Нет никакого сомнения, что Нарцисс был и остался при Клавдии человеком сильным. Но он казался сильнее, чем был, и часто обжигал руки, вытаскивая из огня каштаны, которыми угощались другие. Погубив Мессалину, он получил очень малую награду — квесторские знаки — и не сумел воспользоваться своей победой. Сражение свое с Мессалиной, в качестве «внутреннего врага», выиграл он, притом чересчур уж шумно, кроваво, бесстыже: настолько перепугав Рим наглостью розыска и террором казней, что симпатии общества заметно повернулись в пользу истребленных и разогнанных в ссылку мессалианцев. Следы этого настроения ясно видны, на-

пример, в «Сатире на смерть Клавдия» (см. ниже 6-ю главу) — памфлете, приписываемом Сенеке, которому любить Мессалину и мессалианцев было совсем не за что. Сражение выиграл Нарцисс, а контрибуцию взял Паллант: новой женой принцепса сделалась его кандидатка Агриппина, а не рекомендованная Нарциссом, — и династически гораздо более выгодная для Клавдия, — разведенная жена его, Элия Петина.

Агриппина, вступив в тайную связь и в явный союз с Паллантом, значительно понизила придворное значение Нарцисса. Он был не из таких людей, чтобы уступить без борьбы. В самый разгар своих политических успехов, торжествующая императрица вдруг получила несколько обидных щелчков. Чуть не погиб главный сторонник ее, Л. Вителлий, обвиненный сенатором Юнием Лупом в государственной измене и стремлениях к верховной власти. Клавдий готов был поверить. Агриппине пришлось не только просить, но даже припугнуть мужа, чтобы спасти Вителлия и наказать его обвинителя. Из тона Тацитова рассказа слышно, что Клавдий повиновался

жене нехотя, против убеждения. Затем сенат изгнал из среды своей некоего Тарквиния Приска, доносчика, фабриканта конфискации, работавшего по поручениям алчной Агриппины. Ходатайство последней о помиловании ее агента осталось демонстративно неуваженным. В обоих этих случаях античные писатели не упоминают инициативы Нарцисса, но по делу Вителлия ясно, что пружиной обвинения был некто, кому Клавдий верил больше, чем даже Агриппине, а таким авторитетом пользовался только Нарцисс. Но, во всяком случае, если даже и он подстроил Агриппине эти неприятности, маленький успех его был очень эфемерным, так как, одновременно, власть и авторитет Агриппины росли не по дням, а по часам. Она удостоилась почестей, дотоле не слыханных в Риме для женщины: получила при жизни супруга титул Августы, чего сама Ливия то удостоилась лишь по смерти Августа, в качестве вдовствующей императрицы; получила право въезда на Капитолий, председательствовать вместе с Клавдием на национальных торжествах, присутствовала на военных

смотря, ее именем названа колония ветеранов (*Colonia Ubiorum Agrippina* или *Agrippinensis*, ныне Кельн) и т.д. Первая в истории принципата, она не только супруга государя, но и государыня-соправительница. Верный советник и любовник ее, Паллант тоже все идет в гору. За один законопроект (против браков между рабами и свободными женщинами; см. в предыдущей главе), внесенный в совет лично цезарем, Паллант получил преторские знаки (в то время как Нарцисс застрял на квестуре) и медную доску на форуме, с восхвалением его античных добродетелей и бескорыстия.

Открытая борьба между Нарциссом и Агриппиной началась после резкого столкновения их на неудачном празднике по случаю открытия канала из Фузинского озера (впоследствии *Lago di Celano*, осушенное в 1865 г.) в реку Лирис (ныне *Garigliano*). Устройство этого водного сообщения было любимым планом Клавдия и стоило огромных затрат. Предприятием управлял Нарцисс. Торжество открытия обставлено было с чрезвычайной пышностью. Клавдий не пожалел ни денег

для пиршества, ни людей для гладиаторских игр на воде и суше, чтобы сделать этот момент важным и памятным на многие лета. Агриппина, председательствуя на празднике рядом с Клавдием, столь восхитила зрителей великолепием своего туалета, что почти все писатели века не забыли отметить ее парчовое платье (*chlamys aurata, paludamentum aureum textile*). Но после изумительной картины морского боя и пиршеств, очаровавших народ, наступило горькое разочарование в сооружении, которое дало предлог к ним. Невежественное и небрежное ведение дела сказалось при первой же пробе канала: слишком мелкодонный, плохо забирая воду из глубокого озера, он никуда не годился. Пришлось пересрочить открытие. При втором опыте с каналом опять много праздновали, но Нарцисс чуть не потопил участников, гостей и зрителей торжества внезапным наводнением из неумело отворенных или сломавшихся шлюзов. Клавдий очень перепугался, а Агриппина, в его присутствии и перед всеми, обозвала Нарцисса казнокрадом. Вольноотпущенник, со своей стороны, не стал молчать и, советуя

Агриппине не соваться в не женское дело, пустился в весьма прозрачные намеки относительно женского властолюбия и губительных последствий его для государства и государей. Клавдий молчал: равно боясь и Агриппины, и Нарцисса, он не смел принять ни сторону жены, ни сторону любимца. С тех пор ненависть Нарцисса к Агриппине разгорелась непримиримо. П. Гошар (Hochart) считает всю эту историю выдуманной. Она даже является в его глазах одним из косвенных доказательств, обличающих Тацита в романическом вымысле или пользовании недостоверными и крайне поверхностными источниками. С причинами и значением этого недоверия я познакомлю читателя во 2-м томе «Зверя из бездны», в главе о Таците и Поджио Браччиолини. Здесь они не важны, а важно то, что, по этому ли поводу, по другому ли, была лютая ссора и возникла свирепая вражда. Нарцисс видел интриганку насквозь и подстерегал ее ложные шаги.

— Что Британик, что Нерон, — говорил старый авантюрист, — мне, все равно, при обоих не сдобровать. Но я потерял счет благодетяни-

ям ко мне Клавдия, и долг моей признательности — открыть ему глаза на бесстыдство жены, хотя бы мне то стоило жизни. Мы опять стоим в тех же условиях, как когда я изобличил Мессалину и Силия. Коль скоро императором будет Нерон, а Британик ему только наследником, — не великую же услугу оказал я тогда государю. Молчать о губительных интригах мачехи против цезарева дома более преступно, чем если бы я скрыл бесстыдство первой жены. Эта тоже не стесняется в бесстыдстве, но, будь ее блудня с Паллантом простыми любовными шашнями, еще куда бы ни шло. Но тут опасность глубже: тут честь, стыд, тело — все приносится в жертву стремлению к верховной власти.

По всей вероятности, Нарцисс действительно успел предупредить Клавдия, потому что тот почувствовал прилив нежности к Британику и, встречая сына, бросал сентиментальные намеки, что вскоре исправит свою ошибку (ο τωσαξ χήρα ιαβεται) и возвратит наследному принцу обманно отнятое у него положение, чтобы наконец народ римский получил истинного Цезаря. За одним

ужинном у него спяну вылетела резкая угроза Агриппине.

— Уж видно — такова моя судьба: иметь развратных жен и карать их распутство. (*Sibi quique in fati esse iactavit omnia impudica, sed non impunita matrimonia.*)

Но было уже поздно: интрига охватила Клавдия со всех сторон, и угрозы теперь не устрашали, а только торопили заговорщиков действовать. Будь Нарцисс моложе и бодрее, он, может быть, сумел бы защитить своего государя, интриге противопоставив интригу, но теперь и он, как нарочно, ослаб, расхворался и поехал на воды в Синуэссу полечиться от мучившей его подагры. Это — самый южный город Лациума, расположенный при Аппиевой дороге, дачное место, прославленное в древности своими водами, плодами и вином. Развалины Синуэссы — у подножия нынешнего Монте Массико, в римское время *Massicus Mons*, на запад от Капель Рокка ди Мандрагоне. Одни полагают, что Нарцисс позволил себе этот отпуск потому, что крутой поворот в поведении Клавдия успокоил его за Британика. Другие — что старый интриган

подсчитал свои козыри, взвесил шансы противников и, убедясь, что игра безвозвратно проиграна, хладнокровно бросил карты.

Я думаю, что второе предположение вернее. Дерзкий, вызывающий тон последних манифестаций Нарцисса против Агриппины говорит скорее об отчаянии, чем об уверенности в победе. Нервная сцена нежности, которую вольноотпущенник сделал Британику перед отъездом своим в Синуэссу, заключилась истинно трагическим воплем:

— О, если бы ты поскорее возмужал, чтобы разогнать врагов твоего отца. Пусть бы вместе с тем ты отомстил даже и убийцам своей матери.

Из убийц матери Британика Мессалины, главный — он, Нарцисс. Мы слышим голос обессилевшей ненависти, которая, истощив свои крайние средства, готова призывать смерть на собственную голову, лишь бы заодно погибли и враги. Победители так не говорят.

Да и, в самом деле, спасти Клавдия и вернуть империю Британику теперь — когда против них сплотились тайной изменой

двор, гвардия и сенат, — могла лишь смерть Агриппины и Нерона. Но от убийства тайного дочь Германика выучилась охранять себя еще у покойной матери, десять лет оберегавшей семью свою от злобных покушений Тиберия и Сеяна. Что же касается открытой силы, то — если бы грозила опасность хоть волосу упасть с головы Германикова внука — разве Бурр не бросил бы на Палатин всех своих преторианцев?

Все античные историки принимают доказанным фактом, что Клавдий умер отравленным. О способах отравления — множество вариантов. Наиболее распространенный — будто Агриппина отравила Клавдия собственноручно, окормив его грибами, с приправой из кухни Локусты. Из всех литературных пересказов об этой короткой безобразной драме, поистине бесчисленных, быть может, самый сильный и выразительный по правде злоеца юмора, которым действительно налита была эта историческая минута, — лаконическая «Камэя» нашего Мея:

**Голоден Клавдий... Да что ж вы, рабы?
Скоро ли будут готовы грибы?**

**Скоро: сама Агриппина готовит.
Повар, что Гебу, ее славословит:
Прямо в собрание бессмертных богов
Явится Клавдий, покушав грибов.**

Поразительна картина злодеяния, если восстановить ее по сопоставленным рассказам Тацита, Светония и Диона Кассия. По наглой откровенности, убийство Клавдия не имеет равных себе даже в богатом разнообразии придворных преступлений римского цезаризма. Старого, глупого, пьяного, всем опротивевшего и надоевшего принцепса убивали — точно по общему согласию и соизволению. Локуста варит яд, любимый евнух цезаря, Галот, поливает им грибы, Агриппина, при всем дворе, выбирает для мужа гриб, который посочнее, тот глотает и — как пораженный громовым ударом — впадает в столбняк, сидит, выпуча глаза, не в состоянии двигать языком. — Очевидно, уже пьян, — решает равнодушный двор. Цезаря уносят в спальню, где принимает его на руки лейб-медик Кай Стертений Ксенофонт.

Ксенофонт этот фигура изумительная: более совершенного подлеца мудрено найти да-

же в длинной галерее шарлатанов, которую сохранила для потомства тогдашняя медицина. Отношение к врачебному искусству (*ars medica*) было в Риме двойственно. Врачебное знание в человеке из общества уважали (еще Катон Старший им хвалится), но самую профессию медика, практику врачебную, презирали. Так что медиками-профессионалами, при республике, были исключительно рабы, либо, по заслугам их, вольноотпущенные: *servili et liberti medici*). Таков, например, даже знаменитый Антоний Муза, домашний врач Августа, человек, по близости к государю, много сделавший для своего сословия, но сам, все-таки, не более как любимый господами дворовый человек. В 535 году Рима, 218 до Р. Х., переселяется в Рим из Пелопонеса греческий врач Архагат, сын Лиззания. Специалист хирург, он получил кличку *vulnerarius* (целитель ран) и сперва имел громадный успех. Ему дали право гражданства, открыли ему на государственный счет амбулаторию (*taberna*) в переулке Ацилия, но вскоре его выжили из Рима интриги патриотов. В вину Архагату была поставлена его «жестокая» система ампу-

таций и прижиганий каленым железом: недавнего «целителя ран» переименовали в «палача». Вообще первым греческим врачам в Риме практика доставалась трудно и жутко. Пресловутый Катон Цензор (234—149 гг. до Р. Х.) торжественно предостерегал соотечественников не обращаться к грекам, потому что они — отравители, задавшиеся целью истребить, под видом лечения, народ римский, а злобный умысел свой скрывают тем, что еще, верх нахальства, берут с пациентов своих деньги. Таким образом, Рим за две тысячи лет до нашего века был знаком с проповедью и логикой тех лжей суеверной ненависти, подстрекательством которых до сих пор вспыхивают холерные и т.п. беспорядки — в Саратовской ли губернии, в Неаполитанском ли краю. Тем не менее Архагат пробил брешь, в которую хлынуло множество его единомышленников, а также врачей с Востока и из Египта. Появление в Риме свободных врачей-чужеземцев прежде всего отозвалось на положении врачей-рабов. Они становятся аристократией рабства, самыми дорогими в фамилии хозяина и на рабском рынке. Что

касается врачей свободных, то уже Цицерон, в исчислении свободных профессий, умеет выдвинуть на первый план профессии научные, а между ними — на первейший — медицину. Либеральный демагог, Юлий Цезарь открывает врачам право гражданства. Римское гражданство — величайшее международное благо, которое мог стяжать для себя «инородец» Римского государства, как бы оно ни определялось — республикой или империей. Даже незнакомый с историей Рима читатель может оценить эту громадную силу по общеизвестным главам Деяний Апостольских, где рассказывается, как разнообразные враги ап. Павла спотыкались в интригах своих на его римском гражданстве. Кто таков был римский гражданин в античной международности, может дать намек в международности современной, пожалуй, лишь англичанин, от полюса до полюса охраняемый превосходно организованной консульской властью, перед которой англичанин всегда прав, в чем бы его ни обвиняли, и которая, как бы далеко ни была, всегда имеет право и возможность вызвать в защиту клиента своего, британского

подданного, корабли и пушки. Достаточно уже того условия, что римский гражданин не мог быть осужден иначе, как судом центральных римских учреждений, для того, чтобы оценить, какую, по своему времени, привилегию открыл Юлий Цезарь жрецам медицинской науки. Август и преемники его еще расширили выгоды врачебной профессии, включительно до освобождения практикующих медиков от всех налогов. В конце первого века Квинтилиан уже указывает, как обычную задачную тему школьных состязаний: какая из трех профессий полезнее, почетнее и выгоднее — оратора, философа или врача?

Тем не менее, чисто римских имен в списках свободных врачей эпохи принципата попадает очень мало. Все имена — либо греческие, либо смешанные греко-римские, следовательно, напоминающие о недавнем рабстве или романизованном инородчестве, как вышеупомянутое имя Клавдиева лейб-медика — К. Стертиний Ксенофонт. Это такой недавний римлянин, что Тацит оставляет совсем без внимания его латинские имена и, при упоминаниях, всюду называет его просто Ксенофон-

том. Римские имена встречаются больше в научной медицине высшего порядка: — авторы врачебных руководств (А. Корнелий Цельз при Тиберии), изобретатели лекарств (Валерий Павлин, Помпей Сабин, Флавий Клемент), окулисты, либо — врачи западных провинций, куда греческое влияние проникало слабее. В противоположность К. Ксенофону, который был родом грек с острова Коса и выдавал себя за потомка Эскулапа, другой лейб-медик Клавдия, Скрибоний Ларг, и лейб-медик Мессалины, Веттий Валент, — оба римского происхождения, а второй из них был даже всадник. Скрибоний Ларг (Десигнациан) сопровождал Клавдия в его британском походе. От этого врача дошло до нас суеверное и темное сочинение о приготовлении лекарств, содержащее 271 рецепт.

Громадные гражданские льготы, предоставленные сословию врачей, сделали его приманкой для всех неудачников и лентяев столицы. В числе преуспевающих врачей встречаем бывших сапожников, лакеев, маляров, кузнецов. Научного ценза, по-видимому, не требовалось никакого или почти никакого.

го: достоинство врача определял успех его практики. Впрочем, еще при Сулле был издан какой-то закон, угрожавший врачу карой за лечение небрежное или невежественное. При Клавдии начал входить в моду, а при Нероне гремел некий Фессал Тралльский, кариец, сын ткача и подмастерье в заведении отца своего. Этот якобы великий, один из основателей так называемой методической школы, окружен был учениками, которых он брался сделать из диких невежд совершенными врачами-практиками в шестимесячный срок. Многие врачи едва умели читать и говорили жаргоном безграмотной черни, который коробил уши образованных пациентов. Что касается риторики, диалектики и философии, то понятно, — отвечает Гален, — эта невежественная масса смыслила не больше, чем осел в игре на лютне. Естественно, что в подобном стаде малограмотных прибыльщиков профессиональная мораль не могла стоять высоко.

Доктор Ирод стянул у больного микстурную ложку.

Пойман, бормочет: «дурак! что тебе дрянь принимать?»

(Марциал, IX, 96)

Алчные вымогательства, профессиональная зависть, соперничество и бранчивость, вследствие которых консультации переходили в ссоры и драки у самой постели пациента, надутое упрямство, которое «и Аполлона с Эскулапом не послушает, если они удостоят совет дать», мужичество, неряшество, ненависть к чужому заработку, не стеснявшаяся в выборе средств конкуренции, пускавшая в ход интриги, клеветы и даже убийства: такова сословная физиономия римских скорее «рвачей», чем врачей. Великий Гален должен был бежать из Рима от злобы коллег своих. Как всегда и всюду, любимые собеседники и советчики женщин, врачи интимно втирались в богатые дома и часто вносили в них и разлад, и разврат, и сообщничество или подстрекательство тайных семейных преступлений:

Ты, Харидем, жене заведомо жить позволяешь

С медиком... Ой, берегись: без лихорадки помрешь!

(Марциал, I, 31.)

Тем не менее, учений медицинских, систем и методов было уже обильно, и полутрамотная толпа шестимесячных знахарей дробилась на множество школ (догматики, эмпирики, методики, пневматики, эклектики), а в школах на секты, называвшиеся либо по именам их основателей (Эразистрата, Менекрата и др.), либо от методов лечения: винодавцы (οιτοδοτροι), гидронаты. Лечение водой пользовалось в Риме большим уважением. Антоний Муза спас от тифа холодными ваннами Августа, но «залечил» надежду принцепата, Марцелла, сына Октавии, первого мужа Юлии, а массилиец (марселец) Хармид, воскресив метод Музы, вылечил Нерона. После того вошли в моду холодные обливания и купания, как в летнее, так в зимнее время: даже старики-консуляры, как Сенека, влезали коленеть в открытых бассейнах. Разумеется, соперничающие школы неистово ссорились и ругались между собой, не жалея крепких слов. Даже образованный умница Гален, в полемике с методиками, поражает своего противника, вышеупомянутого Фессала Тралльского (притом, лет за сто до того умершего),

такими милыми выражениями, как «дурачина», «осел из ослиного стада», «каменная голова» и т.д. За неимением под всеми этими школами прочного научного фундамента, в обществе, понятное дело, брала временный успех и торжествовала всегда новейшая школа, причем смены мод и на медицинские методы, и на медиков следовали с поразительной быстротой. В короткий срок Клавдиева принципата и первых пяти лет правления Неронова, Рим успел сменить четырех божков медицины: Веттия Валента, методика Фессала, астролога Эринаса и гидропата Хармида. Каждый из них, свая своего предшественника, считал долгом обляять его устаревшее искусство, хуже чего нельзя; а второй из названных, Фессал, прямо утверждал, что до него вся медицина была сплошной чепухой: «здесь лежит обуздатель врачей!» гласила эпитафия над его могилой на Аппиевой дороге. Отец римской практической медицины, вифинец Асклепиад из Прузы (в эпоху Цицерона), великий диагност и диететик, имел, втайне, столь низкое мнение о своей науке, что в случае если заболел сам, никогда не

обращался к врачу, ни сам себя не лечил. Вероятно, это обстоятельство и содействовало легенде, будто он никогда не был болен и, чтобы скончаться, пришлось ему ждать несчастного случая: однажды упал и расшибся насмерть. Асклепиад был всемирной знаменитостью. Помощи его искал царь Митридат с далекого Понта. Во всех странах земного круга слово его принималось, как глагол с неба. Подобно тому, как и Гален впоследствии, он наживал большие деньги письменной консультацией, рассылая советы и рецепты больным, которых он никогда не исследовал и даже не видал.

Конкуренция врачей-знахарей естественно развивала шарлатанские приемы и бессознательную рекламу. Асклепиад окружил себя легендами, будто он однажды воскресил мертвого, имеет в аптеке своей разрыв-траву, знает зелья, силой которых высыхают реки и даже моря, может обратить в бегство враждебное войско и т.п. Другие, и в самом деле, сближали медицину с магией и астрологией. Особенно в ходу было учение о симпатии и антипатии в недрах неодушевленных и бес-

словесных предметов, которое, по словам Плиния, предполагалось первоначальной и, по существу, единой основой всей врачебной науки. Медицинский авторитет Неронова века, великий Диоскорид, киликиец, авторитет которого продержался в Европе шестнадцать веков, а на Востоке и по сей час не умер, лечил по преимуществу симпатическими средствами. Некоторые врачи облекали пережитки фетишизма в теорию целебного влияния разных драгоценных и простых камней. Сам Гален верил, что яшма помогает в желудочных болезнях. Вообще, Дарамбер (Darambert) справедливо замечает, что хотя Галена нельзя ставить на одну доску с мистиками вроде Нумения Акамейского, как это делают Брукер и Тидеман, но сам он также качался на границе науки и суеверия с весьма зыбкой решительностью. Он допускал, с грехом пополам, силу заговоров, но отрицал связь между болезнями и мистическими числами Пифагора, на которой настаивали его многие коллеги. Что общего, спрашивает он, между семью устьями Нильской дельты и семидневным, по большей части, течением до кризиса воспали-

ния в легких и плеврита? Зыбкость медицины между наукой и ведовством то и дело перетягивала врачей в сторону последнего. Об этих уклонениях еще будет речь в главах, посвященных римскому оккультизму (см. в 3 и 4 томах).

Шарлатанили тайным знанием, шарлатанили, наоборот, чрезмерной публичностью. Хирурги не брезговали производить свои операции в театре перед глазами бесчисленной публики (положим, нынешний «король хирургов», парижский профессор Дуайэн, не брезгает, ради рекламы, тоже позировать для кинематографов); либо в открытых на улицу лавочках, украшенных витринами с серебряными и слоновой кости банками, с хирургическим набором в позолоченных рукоятках. Держали зазывал, которые ловили пациентов на улицах. Но, наряду с аферистами, было достаточно и добросовестных хирургов, которые либо сами совмещали с резническим ремеслом своим достаточные общемедицинские сведения, либо, сознавая себя лишь искусными техниками, привлекали к операциям своим, в качестве консультантов высшего

контроля, знаменитых врачей. Так, например, без присутствия Галена редко обходилась трудная операция не только в самом Риме, но и в пригородах до Остии включительно. Дробление врачебного сословия по специальностям было весьма значительно. Особенно велик был спрос на окулистов: сохранилось свыше ста рецептурных печатей их, не считая упоминаний в подписях и литературе. Известный вольноотпущенник Калигулы и Клавдия, К. Юлий Каллист держал в дворне своей нескольких рабов-окулистов. Зубные врачи и обдελывание зубов золотом известно Риму уже в эпоху XII таблиц. Затем идут специалисты по ушным болезням, лечение грыжи, лихорадки, чахотки, трахомы, лишаяев. В Риме, где беспрестанно происходило передвижение населения из рабского класса в свободное сословие, должна была выгодной быть специальность снятия с лица и тела рабских клейм: промысел, хорошо известный «мертвым домам» старинной русской каторги. Марциал упоминает об одном таком искуснике. Его звали Эрос. Хирургия дробилась чрезвычайно мелко. Почти каждая операция (камне-

сечение, чревосечение, грыжа, глазные недуги, переломы и вывихи) опять-таки имела своего специалиста. Эти знаменитости окружали себя ассистентами, которые делили между собой обязанности фельдшеров, аптекарских учеников и санитаров, заботились о перевязочном материале, следили за самочувствием больного и т.д. Что касается до студентов собственно, то вокруг светил медицины толпилось их великое множество. За неимением клиник, они изучали болезни, посещая вместе с профессорами пациентов их. Поэтому визит знаменитости оказывался иногда тяжелым испытанием для больного: в дом вваливалась толпа в тридцать и даже в сто человек, перед которыми профессор ставил диагноз, излагал нормальный ход болезни и метод лечения, а часто и самих студентов припускал к исследованию пациента. Эти неприятности хорошо знакомы бесплатным койкам современных клиник. Сатирик Марциал высмеивает обычай таких нашествий в эпиграмме на врача Симмаха:

Раз прихворнул я; и вот — провожаемый сотней студентов,

Ты, Симмах, пожаловал тотчас ко мне.

Сотня коснулась меня рук, промерзлых под ветром:

Не лихорадил, Симмах, я, но вот затрясло!

Чтобы покончить со специальностями римского врачебного сословия, необходимо отметить наличность в вечном городе не только обыкновенных повивальных бабок, но и ученых акушеров и, может быть, даже женщин-врачей, т.е. знахарок сравнительно высшего образования и обладавших какими-либо специальными, им одним известными, рецептами. Пороком этих женщин была доходная практика изгнания плода. Пороком врачей-мужчин — торговля ядами, на которые был большой спрос в этот век интриг и отмищений, а главное, постоянной охоты за наследствами и страха счастливых наследников, не успел бы завещатель сделать новую духовную. Впрочем, крупнейшей знаменитостью по части отравлений, в эпоху последних Юлиев-Клавдиев, была женщина, пресловутая Локуста. Она приготовила яд для Агриппины и Нерона. Тип врача-отравителя у нас налицо: все тот же достопочтенный К. Стер-

тиний Ксенофонт, лысое, безбородое лицо которого любезно смотрит на потомство с бронзовой медали в cabinet de France. А на обороте — эмблема острова Коса: Гигия, т.е. медицина, божественная дочь божественного Эскулапа, кормит из потира змею. Когда знаешь, что за птица был Ксенофонт, эмблема принимает двусмысленное значение злейшей карикатуры.

Опасность от ядов естественно должна была вызвать потребность в изыскании и разработке противоядий. Марциан, врач Августа, изобрел какое-то общее противоядие, должно быть не весьма действительное, так как тайный яд неутомимо работал в недрах Августовой семьи, — даже и о самом-то Августе шла, ведь, молва, будто он умер отравленный. Врач Клавдия, Скрибоний Ларг, напротив, составил множество рецептов против заведомого отравления наиболее частыми ядами: цикутой, опиум, беленой, известью, свинцом и т.д. Это, конечно, осторожнее, так как, в случае неудачи, честь противоядия всегда может быть спасена ошибкой в диагнозе отравления. Наконец, преемник Ксенофонта в звании

лейб-медика, архиатр Нерона, Андромах изобретает териак — универсальное средство, которое считалось не только всеобщим противоядием, но и предохранителем против злых умыслов на того, кто его регулярно принимает.

Кроме врачей практиков Рим, конечно, имел и теоретиков медицины, «врачей-софистов» или «логиатров». Гален говорит об их публичных лекциях, читаемых на форуме, с высокой кафедры, в довольно насмешливом тоне. По его мнению, толпа считает логиатром уже всякого медика, который врачует не наобум, но справляется с книгами и изъясняет пациентам метод лечения и назначаемые средства теоретической мотивировкой. Между логиатрами и врачами-практиками, как и ныне, замечался известный антагонизм. Публика, всегда дорожающая во враче более знахарем и чудотворцем, чем ученым, стояла на стороне практиков. Сохранились отчеты Галена о публичных рецептах ученых врачей с последующей дискуссией, которая иногда производила настоящий переворот в господствующих методах и взглядах. Писали и пуб-

ликовали врачи очень много. Имена знаменитостей связаны с десятками и даже сотнями книг. Так, лейб-медик Тиберия, Клавдий Менекрат, открывший пластырь «диахилон» (спарадат, липкий пластырь), употребляемый доныне, — автор 150 томов. Брат Антония Музы, Эвфорб открывает целебные свойства растения, ему одноименного (семейство молочайников). Андромах оставляет поэму об изобретенном им териаке. На этом именно основании Рене Врио считает К. Стертая Ксенофонта, который не оставил по себе решительно никакого ученого труда или открытия, но лишь память своих исторических гнусностей, отнюдь не медицинским светлом, но лишь пронырливой и ловкой темной личностью.

Знахарский характер римской медицины заставлял врача чрезвычайно дорожить тайной своих рецептов. Так как врачи были сами своими аптекарями, то сохранять секреты им было не трудно. Школы школами, методы методами, но почти каждое медицинское светило, опять-таки не исключая Галена, имело свои тайные средства, которыми и заслужи-

вало репутацию чудотворца. Какую важность этим секретам придавали, видно из того, что свой рецепт против чахотки — какое-то усовершенствованное народное средство, — врач Пакций Антиох завещал, по смерти своей, принцепсу Тиберию, как великую драгоценность, а тот велел поместить его в публичную библиотеку во всеобщее пользование. Рецепты подобных секретных снадобий часто изображались тайнописью, превращавшей их для непосвященных в безнадежную неразбериху. Либо ревнивый профессор, вынужденный обстоятельствами открыть секрет ученикам своим, нарочно замалчивал какой-нибудь важнейший ингредиент. Либо умышленно искажал дозировку. Тем не менее, почти все рецепты, сохранившиеся от Рима, носят характер личной традиции — так называемых «патентованных средств» нашей аптеки. Этикетки медикаментов дают обязательно: название средства, имя его изобретателя, болезнь, против которой оно употребляется, и имя больного, для которого оно было приготовлено в настоящем случае или на котором оно было удачно испробовано в прошлом. Напри-

мер: «глазная мазь, которой Флор пользовал Антонию, мать Друза, после того, как она едва не ослепла от лечения других врачей». Иногда на рецепте обозначаются составные части лекарства и способ его употребления: с яйцом, в воде, вине и т.п. Для дополнения сходства с современными патентованными средствами, римские медикаменты часто получали собственные имена: Амброзия, Нектар, Аникет (Непобедимый), Фосфор (Утренняя Звезда), Изидра, Гален и т.д.

В мою тему не входит рассмотрение медицинских учреждений города Рима. Достаточно будет сказать, что дело врачебной помощи в Риме поставлено было довольно недурно, с правильным делением города на участки, находившиеся в заведывании архиатров, т.е. главных врачей. Уже самая этимология слова показывает, что архиатры имели под своим начальством по несколько простых врачей и служебный персонал, включая сюда и участковых акушеров. Общественное положение городских архиатров было, вероятно, почетно. Право так думать дает та аналогия, что из лейб-медиков государей римских титул архи-

атра получали весьма немногие, избранные любимцы двора: К. Стертиний Ксенофонт — архиатр Клавдия, Андромах, изобретатель териака, — архиатр Нерона; затем титул этот пропадает до времени Марка Аврелия. Архиатром обоих родов, то есть и городским врачом, и лейб-медиком государя был великий Гален (131—201 по Р. Х.). Какой работой был обременен городской врач, видно из того, что, в течение одного лета, через руки Галена прошло 400 тяжких больных. Кроме того, титулом архиатра пользовались старшие врачи некоторых провинциальных городов, а также президент медицинского клуба (*schola medicorum*) в Риме. Он помещался на Эсквилинском холме. Сохранилась мозаика, как думают, его изображающая. Положение архиатра в Палатинском дворце было чрезвычайно важно, влиятельно, и если несло громадную ответственность, то и оплачивалось, даже если оставим в стороне колоссальный гонорар, громадными же правами и почестями. Антоний Муза, за исцеление Августа, не только сам вышел из вольноотпущенных во всадники и удостоился постановки на форуме бюста

своего, но и освободил сословие свое от пода-тей. К. Стертиний Ксенофонт, кроме должно-сти лейб-медика, служил в интимнейшем от-делении императорской канцелярии, по гре-ческому столу, имел чин военного трибуна, значит, всадническое достоинство, а в бри-танский триумф Клавдия, получил знаки от-личия — золотой венок и почетное копьё (*hasta pura*). Положение архиатра делало его неизбежным участником всех важных при-дворных интриг. Иногда обвиняли архиатров также в любовных похождениях с принцесса-ми правящего дома. Но надо сказать, что два знаменитейшие романа этого рода — связь врача Эвдема с Ливиллой, женой и отрави-тельницей Друза Младшего, и врача Веттия Валента с пресловутой Мессалиной — имеют героинями особ, никем не превзойденных в половой распущенности: их соблазнять было нечего, скорее мужчинам от них бегать при-ходилось. Придворный архиатр — лейб-ме-дик, блюдуший исключительно особу госуда-ря и, с его приказа или разрешения, чле-нов государевой семьи. Он не имел ничего об-щего с громадным медицинским персоналом,

который обслуживал дворцовое ведомство, и, принадлежа к нему, имел особую организацию и управление. Звания «начальник медиков» (*supra medicos, superpositus medicorum*) сохранены надгробными надписями уже от эпохи Августа, равно как чин декуриона (*decurio*), десятского, т.е. начальника той или другой группы, того или другого отделения либо отряда в однообразно сформированном медицинском дворцовом персонале. При дворцах имелись больницы (*valetudinaria*). По-видимому, врачебной помощью все императорские учреждения обслужены были весьма тщательно, ибо надгробные надписи сохранили даже, например, имя некоего Кв. Домиция Гелика Гименя, как «врача при библиотеках» (*medicus a bibliothecis*).

Гонорары модных врачей были очень значительны. К. Стертиний Ксенофонт жаловался, что, получая в качестве лейб-медика 500,000 сестерциев (50,000 рублей) в год, он теряет, так как вольной практикой в городе он добыл бы на 100,000 сестерциев (10,000 рублей) больше. Нынешние медицинские светила, даже русские, которые дешевле других,

вроде Боткина, Захарьина, Остроумова, Отта, зарабатывают еще больше, но надо принять в соображение тогдашнюю высокую стоимость денег, да и то обстоятельство, что, как доказал Рене Брио, этот Стертиний Ксенофонт далеко не был научной звездой крупной величины, но просто счастливый знахарь, случаем попавший в милость Клавдия и овладевший его расположением. Хирург Алькон, впав в немилость и отправленный в ссылку, провинциальной практикой в Галлии составил в несколько лет капитал в 10 миллионов се-стерциев, т.е. миллион рублей. Сверх чисто медицинских консультаций, врачи много зарабатывали аптекой, так как сами приготавливали свои лекарства, а богатый римлянин считал унижительным принимать дешевое снадобье. — Это средство для нищих! — возразил Галену на какой-то дешевый рецепт один из его аристократических пациентов. Аптека и сейчас одно из выгоднейших торговых дел. Соединение же медицинской практики и аптекарской кухни в одних руках, конечно, большая и быстрая сила к накоплению капитала. Так как врачи были по большей части

иноземцы, то деньги их в Риме не оставались, а уплывали в места их происхождения. На счет врача Эринаса Марсель воздвиг городские стены, а Эринас, все-таки, умер миллионером. В маленьком, глухо провинциальном Ассизи город прямо таки жестоко эксплуатировал для всех нужд своих местного врачавольноотпущенника, по-видимому, охотника до почета, П. Децима Эрота Мерулу. И, опять-таки, он кончил жизнь хотя и не бессчетным богачом, но, во всяком случае, крупным тысячник. Раскопки на острове Косе открыли благодарственные надписи в честь и молебственные за здравие «К. Стертиния Ксенофонта, сына Героклитова, друга Цезарева, друга Августова, друга Клавдиева, сына народа, друга отечества, благочестивца, благодетеля своей родины». Благодеяния Ксенофонта родному Косу настолько значительны, что родство с ним поставлено согражданами в прямую заслугу его ничем не замечательному дяде, тоже удостоившемуся, по этой причине, почетной надписи в Калимне. Брат Ксенофонта, Тиберий Клавдий Клеоним, которого прежде исследователи считали тоже придворным вра-

чом, был военным трибуном в легионе 22-м Примигенийском, имел знаки отличия и, при протекции брата, несомненно играл какую-то важную роль при дворе и в дипломатии, так как Клавдием было положено ему жалованье в том же размере, как и Ксенофону. По свидетельству Плиния, брата, хотя сильно истратились на какие-то роскошные постройки в Неаполе, еще оставили наследникам своим ни больше, ни меньше, как тридцать миллионов сестерциев (три миллиона рублей). Наряду с этими богачами, нищая медицина врачей-неудачников, — по крайней мере, в раннюю эпоху Плавта, — оплачивалась грошовыми гонорарами в несколько сестерциев. Драмбер считает от 1♦♦ до 2 франков — за «излечение», а не за визит, конечно. За визит 2 лиры и сейчас приличная плата в Италии врачу, который не успел составить себе громкого имени.

Остров Кос был обязан Ксенофону громадными милостями. По ходатайству своего лейб-медика, Клавдий предложил сенату постановление, освобождавшее родину Ксенофонта от всяких податей, объявлявшее ста-

рый остров Эскулапа священным и предназначенным исключительно для культа этого бога. Можно было бы, — замечает Тацит, — указать на многочисленные заслуга косцев перед римским народом, так как они участвовали в наших победах. Но Клавдий, с обычной ему бестактностью, не набросил, как требовало приличие, вуали на то прозрачное обстоятельство, что милость целому народу даруется за службу одного лица.

Это было зимой 806 (52 по Р.Х.). Я думаю, что акт этот, по всей вероятности, был внушен Клавдию Агриппиной и прошел в сенате под ее влиянием. Потому что в следующем 807 году Клавдий был отравлен Агриппиной при несомненном соучастии Ксенофонта. Как ни гнусен тип этого греческого знахаря, но, из уважения к породе человеческой, хочется думать, что он, совершая злодеяние, по крайней мере, имел право не считать себя нравственным должником жертвы своей, быв уверен, что благодеяния, которыми он осыпан, лишь носят штемпель Клавдия, действительный же источник их — не Клавдий, но те, кому нужна смерть Клавдия.

Пьяный Клавдий одурманился ядом быстро, но умирал медленно. Его вырвало — была, значит, надежда спасти его. Агриппина струсила и, от испуга, как бывает со многими политиками на краю провала, обнаглела: забыла всякую осторожность и, в шкурном страхе, заработала на пан или пропал. Вот тут-то и выступил на сцену Ксенофонт. Получив в свое распоряжение полуживого Клавдия, бесстыжий грек прикинул в уме, что выгоднее — спасти принцепса или добить, — и решил, что добить. Знал он, объясняет Тацит, что, чем больше риск преступления, тем больше будет награда. Под видом, будто хочет помочь начавшейся рвоте, он вводит в гордо больного перо, смоченное быстродействующим ядом. К утру Клавдий покойник.

Смерть Клавдия скрывали несколько часов, — суеверная Агриппина выжидала, чтобы халдейские астрологи возвестили час, благоприятный для восшествия на престол нового государя: кажется, единственный исторический пример, чтобы во дворцах устраивались обсерватории для своевременных предсказаний на случай цареубийства!.. За здра-

вие Клавдия служили молебны, возносили обеты, а он лежал уже бездыханный, хотя Ксенофонт с приспешниками, выигрывая время для Агриппины, продолжал гнусную комедию лечения: труп грели под одеялами, парили компрессами.. Даже заставили придворную труппу актеров сыграть перед покойником какой-то фарс! Официально умереть императору Клавдию позволено было лишь в полдень 13 октября 807 г. Рима — 54 по Р. Х. года.

Тогда — распахнулись на обе половинки главные двери дворца, и Нерон, в сопровождении Бурра, вышел к дежурной гвардейской когорте, державшей дворцовый караул. Конечно, когорта была выбрана из самых надежных. Бурр дает знак, и молодого цезаря встречает громовый солдатский крик императорского приветствия. Нерон садится в носилки и, сопровождаемый частью караульной когорты, отправляется в преторианский лагерь, на Нументанской дороге. Иные из гвардейцев, не посвященные в заговор, в недоумении спрашивают: — А где же Британик? — Молчи, говорят им, не твоего ума дело! не рассуж-

дай, служи, как приказывает начальство... В лагере Нерон произносит красивую речь, обещает жаловать солдат деньгами — щедрее даже, чем жаловал отец. Гвардия присягает ему, как императору. Сенат беспрекословно утвердил волю солдат своим постановлением. Провинции подчинились новому владыке без малейшего колебания. Главой вселенной стал Нерон-Клавдий-Цезарь-Друз-Германик, человек с пятью смертными именами, слившимися для будущего человечества в одном грозно-бессмертном слове — Нерон.

Пока ловкость и энергия Бурра создавала принцепса из узурпатора, Британик, — еще даже не зная, жив ли отец его или умер, — оставался с Агриппиной. Она казалась вне себя: истерически рыдая на груди у пасынка, звала его живым портретом отца, молила утешений, обнимала то Британика, то сестер его Октавию и Антонию и... никому из них не позволяла выйти из своего покоя, покуда Нерон не возвратился во дворец императором. Как ей удалось провести детей Клавдия в такую трудную минуту, прямо непостижимо. Всего два года назад, — по отметке Тацита, —

Британик ненавидел мачеху, презирал ее фальшивую любезность, не верил ей ни в одном слове. Очевидно, эти дурные отношения со временем исправились, и Агриппине удалось приручить своего сурового пасынка. Потому что, каким бы великим трагическим талантом ни обладала Агриппина, как бы эффектно ни разыграла она сцену отчаяния, — трудно предположить, что заведомый враг мог слезами и жалкими словами удержать при себе сына, наследника власти, в час смертельной опасности для отца-государя. По свидетельству историков, Британик был, хотя эпилептик, мальчик неглупый. Что отец тяжело заболел — от него не скрывали. Что его прямая обязанность быть при одре умирающего и принять последний вздох Клавдия, он, конечно, понимал. Если бы он подозревал интриги Агриппины, всякая задержка, каждое препятствие со стороны ее к исполнению сыновнего долга могли только увеличить его сомнения и усилить настойчивость — и, конечно, приказу наследного принца, быть может, мгновение спустя, государя, никто не посмел бы противиться. Так что гораздо вероятнее

будет заключить, что свои злые умыслы Агриппина умела одеть в маску искренней дружбы к Клавдиеву потомству, и между старой мессалианской семьей Клавдия и новой, приемной, царило в данное время согласие не только показное. Давно ли Нарцисс предостерегал Британика против Агриппины? А теперь он ей верил. Что касается Нерона, он тем легче мог быть с Британиком в гораздо лучших, чем прежде, отношениях, что вряд ли новый цезарь сам подозревал козни матери. Не такова была Агриппина, чтобы вверять свои секреты дрожащему пред ней молокососу. Нерон узнал о перевороте, доставившем ему императорский пурпур, быть может, лишь в то мгновение, как Бурр пришел за ним, чтобы вести его к преторианцам. Власть над вселенной свалилась ему в руки, как зрелое яблоко с яблони, — сам он, чтобы добыть ее, не ударил пальцем о палец.

Агриппина похоронила Клавдия с пышностью, превзошедшей великолепие похорон, устроенных божественному Августу его вдовой Ливией — и по тому же церемониалу. Сенат объявил Клавдия святым (*divus*), Вне обы-

чая, осталось неоглашенным завещание покойного цезаря. Потому ли, что оно было составлено в пользу Британика, о чем есть указание у Светония, или, как полагает Тацит — затем, чтобы явно вынужденное предпочтение, оказанное слабоумным завещателем сыну в ущерб интересам родного сына, не смутило умов народа своей несправедливостью и не отвратило его симпатий от молодого государя. Во всяком случае, Шиллер основательно замечает, что о преемстве верховной власти в этом документе не могло быть речи, по избирательному характеру принципата. Предпочтение, о котором упоминает Тацит, надо понимать в том смысле, что, вероятно, главными наследниками своего личного имущества Клавдий назначил Агриппину, дочь Октавию и, в качестве мужа последней, Нерона, а Британику предоставил только вторую долю, определил его, как наследника *in* *spem* *secundam*. В защиту верховных прав Британика так и не раздалось ни одного голоса. Нерон стал государем: половина Фразиллова гороскопа сбылась.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗВЕЗДНАЯ НАУКА

I

Здесь будет уместно остановиться на вопросе о тайне, с влиянием которой, политическим, общественным и семейным, нам почти погранично приходится встречаться в книгах античной литературы, на источнике авторитета всех этих Фразиллов, Бальбиллов и пр., на истории и прикладном значении в римском народном строе звездной науки, астрологии.

В веке Юлиев-Клавдиев мы застаем ее в полном расцвете практики, но золотой век ее литературы, теоретических обоснований и победоносной полемики был еще далеко впереди. Однако, Буше Леклерк справедливо говорит, что римские противники астрологии целиком высказались всем арсеналом своих возражений и противодоказательств еще в веке Цицерона, который, в свою очередь, разрабатывал полемическое предание основателя третьей академии Карнеада. А затем поле-

мисты, столетиями, только топтались на месте, в узких спорах мелочного словесничества, и тем лишь подсказывали астрологам усовершенствования их методов и толкали слабое первоначально ведовство к перерождению в сильную и крепко бронированную, для своего времени, науку. Во втором и первом веке до Р. Х. образованный римлянин борется с халдеями во имя высшего разума, их наука представляется ему реакцией общественного интеллекта. В третьем и четвертом веке по Р. Х. дело стоит наоборот. Астролог — наиболее образованный человек эпохи, истинный представитель общественного интеллекта, противники же его — грубые невежды, оставшиеся недвижно там же, где они были за пятьсот лет назад. В промежутке шла медленная упорная борьба, в которой, через трения или полемики, или сочувствия, на астрологию положили отпечаток свой решительно все течения античной философской мысли. Через это, сама она обратилась в род эклектически-философской религии и, в последующих веках религиозного синкретизма, заставила одни богословские системы заключить с

ней дружеский союз, другие — объявить ей лютую, многовековую войну. Из последней астрология всегда выходила победоносной все по той же причине: диалектика врагов ее, крутясь в заколдованном круге истертых возражений и не находя новых в малом запасе тогдашних математических, астрономических и физических знаний, разбивала вдребезги копыя свои о броню науки, которая, во-первых, какова бы ни была, но, все-таки, неустанно двигалась вперед и обрастала новыми теориями и опытами; во-вторых, была и нужна и симпатична обществу; в-третьих, исцеляла все раны свои первым же счастливым случаем — благоприятным совпадением звездного предсказания с действительностью, удачным, то есть проницательно составленным, гороскопом. Астрологию не могли разрушить ни философские секты, ни само христианство, обрушившее на нее, после государственной победы своей, наиболее грубые и жестокие приемы преследования из всех, которым подвергалась она в многовековой полемике. Ее убило только конечное падение античного мирозерцания; ее обес-

смыслил отказ человека от гордого взгляда на землю под ногами своими, как на центр мировой системы; у нее отняло методы и доказательство планетное определение земного шара; она почувствовала неминуемую смерть лишь, когда Коперник воскресил идеи Аристарха Самосского, чтобы утвердить недвижимое солнце и указать вокруг него путь крутящемуся шару земли. И — поразительная насмешка истории: умирая, астрология завещала свое, веками скопленное, имущество злейшему врагу своему — католической церкви. Наследство было принято с удовольствием. Компрометированное имя астрологии не проносится с католических кафедр, но Галилея судили и осудили на основании чисто астрологического мировоззрения, и в католических университетах Бельгии, например, оно до сих пор пользуется правами полного гражданства.

Итак, астрология двигалась, критика астрологии — нет. Это обстоятельство не только дает возможность, но и обязывает к тому, чтобы римские века ее развития рассмотрены были не в розничном, но в общем, целостном

обзоре. Мы увидим, что многовековой организм астрологии был однороден, как на детской заре своей, так и в зрелом возрасте: менялись люди, формы и средства; никогда не менялось существо.

Рим был обслужен астрологией из Греции и Александрии. Звездочетство — научное ли, гадательное ли — было в высшей степени неримским занятием. Рим не произвел ни одного сильного астронома, а те мнимые римляне, которые входили в славу и делали эпохи в этой науке (Агриппа при Домициане, Гемин Прокул), были не более, как греки с римскими именами. Громадным астрономическим авторитетом почитался знаменитый ученый-энциклопедист М.Т. Варрон. Однако, Юлий Цезарь пригласил к реформе календаря не его, но грека Созигена из Александрии. Обстоятельство выразительное, если принять в соображение, что столь важное национальное предприятие несомненно требовало от власти предпочтения в пользу национальных же научных сил. Очевидно, их не было, и Цезарь, который сам был не чужд астрономии, почитал Варрона лишь более сведущим, но,

все-таки, своим братом-дилетантом. Другая астрономическая знаменитость Рима, Сульпиций Галл (во втором веке до Р. Х.), хотя и почитался учеником греков, страшно отстал от уровня их науки. Современник Гиппарха Родосского, работавший веком позже Аристарха Самосского, гениального первоначальника Коперниковой идеи, Сульпиций Галл твердил зады еще Пифагоровой науки. Плиний, современник эпохи «Зверя из бездны», в восторге от греческой астрономии, но, — замечает французский историк науки этой, Т. Мартэн, — он ее совершенно не понимает, путается в терминологии и лоскутки знания, схваченного у греков, перемешивает с наивнейшими баснями простонародной космографии.

Говорить об астрологии, в древности, значило говорить об астрономии. Первое слово начало принимать нынешнее свое таинственное значение лишь в Августову эпоху. Раньше астрология и астрономия — всегда отдельные в предмете — смешивались в языке общежития: бывало, что астрология шла за астрономию, бывало и что астрономия

шла за астрологию. Во избежание путаницы, люди научные прибегали к эпитетам: когда они имели в виду говорить об астрологии, то называли ее безразлично астрологией ли, астрономией ли, но с определенным прилагательным: γενεθλιακη (рождения ведающая), αποτελεσματική (концы начал ведающая), то есть — гороскопическая. Или же обращая прилагательное в существительное, создавали науку «генефлиологию»: рождений судьбоведение. В обществе, где астрология была фамильярнее старшей и ученейшей сестры своей, она подразумевалась под общими именами «учения» (malthesis), либо «математики». «Математик» было общеупотребительным званием как для астронома, так и для астролога, но последний имел еще специальные титулы «генефлика», либо «аποτεлезматика». В народе же астрологов звали «халдеями» (chaldaei), а науку их халдейским искусством, ars или doctrina Chaldaeorum.

Это слово точно определяет историю римской астрологии. В Рим она пришла из Греции, а в Грецию, вместе с обратными войсками Александра Великого, от халдеев и егип-

тян. Вторжение халдеев, то есть греков, выдававших себя за халдейских ученых, началось в Риме снизу. В то время, — говорит Буше Леклерк, — как греческая литература завоевала аристократию, астрология покорила чернь. Люди образованные еще долго относятся к пророкам по звездам с презрением: это — уличные шарлатаны, астрологи цирка. Катон запрещает управляющему своему гадать у халдеев. Энний, за 200 лет до Р. Х., говорит об астрологах тоном глубочайшего пренебрежения. В 139 году до Р. Х. халдейское искусство запрещено, и все халдеи изгнаны из Рима преторским приказом. В это время астрология понемногу начала уже пробираться в высшие круги общества. Бурное время, наступившее для Рима после революционного движения Гракхов, очень тому содействовало: почти на двести лет уравновешенная логика консервативной аристократической республики уступает руководящую роль авантюре, случаю, для которых один бог — удача, то есть Счастье, Фортуна, Судьба. Когда Кн. Октавий зарезан был кинжальщиками Мария, на нем нашли халдейскую диаграмму с успокоитель-

ным предвещанием, доверившись которому, он остался в Риме. Это — тот первый период тайного знания, когда образованные суеверы уже не прочь тайком забежать к простонародной гадалке, но еще стыдятся в том признаться, ибо считают гадалку вульгарной. Аристократия еще верна исконным своим гадалателям, этрусским гаруспикам. К. Гракх, Сулла, Ю. Цезарь содержат при себе еще домашних гаруспиков{11}, а не астрологов. Но, по свидетельству Цицерона, уже все честолюбцы эпохи прибегали к халдеям и были обмануты их льстивыми гороскопами: Помпей, Красс, даже сам Цезарь. Да и Цицерон, по справедливому замечанию Буше Леклерка, бичует астрологов, как философ, но уже заимствует у них догматические выражения, как оратор, и заставляет Сципиона Африканского говорить совершенно астрологическим языком. Знание это смущало и волновало его. Переводил же он зачем-то астрологическую поэму Арата.

Век Августа, по-видимому, был благоприятным для астрологии. Комета, явившаяся после смерти Юлия Цезаря, ввела небо в моду.

Гаруспики объяснили ее чудесный символ, как того требовал государственный интерес; но, по всей вероятности, и астрологи не дремали: слишком соблазнителен был случай обобщить в философское пророчество эффективное совпадение двух таких замешательств на небе и земле. Я уже отмечал, при обозрении секулярных игр, что то была эпоха ожиданий нового века, перерождения вселенной. Август воспользовался кометой, чтобы поддержкой народного поверья укрепить свою власть и положить начало династическому апофеозу: он объявил комету душой своего отца, т.е. убитого Юлия Цезаря. Но мы видели уже, как нравилась ему идея «нового века», как старался он вкоренить ее в свою современность. На комету он смотрел, как на звезду второго своего рождения, через усыновление. Астролог Теаген составил ему гороскоп, исходивший из этого отправного момента, и Август принял астрологический документ, как доказательство и логическое оправдание законности своих полномочий. Он настолько верил в свою судьбу, — говорит Светоний, — что опубликовал свой гороскоп и чеканил монету со

знаком Козерога, под которым родился. Гороскоп, предвещавший ему верховную власть, был, говорят, составлен — по просьбе родного отца его — еще самим Нигидием Фигулом.

Естественный антагонизм между старой гаруспицией и новой модой на астрологию Буше Леклерк считает погашенным через взаимовлияние обеих дисциплин. Людей, которые могли содействовать этому взаимовлиянию и освежить этрусскую ветошь новшествами халдеев, редактированными в Александрии египетской, было более чем достаточно. Между ними на первом плане только что названный претор 696 года (57 по Р. Х.). Публий Нигидий Фигул, страстный тип разностороннего оккультиста, которого неукротимая мистическая жажда впоследствии завела таки в кровавые преступления, нео-пифагореец, которого Моммсен считает предтечей неоплатоников. Затем великий энциклопедист Варрон, ловкий и постоянный специалист по компиляциям и сближению вычитанных или усвоенных теорий. Как бы то ни было, многозначителен уже тот факт, что в это время в астрологии блещет Люций Таруций Фирмий-

ский, ученый с несомненно этрусским именем, — следовательно, променявший родную гаруспицию на звездную науку или умевший соединить их в цельное смешение взаимодействий. Путем к тому могли быть области, общие обоим видам тайноведения: толкование молнии и других небесных явлений, учение о божественном или звездном воздействии на внутренности жертвенных животных и т.п. Таруций совершенно серьезно определил, гороскопическим путем, время рождения царей Ромула и Нумы и даже основания Рима и, при помощи своей халдейской и египетской мудрости, поддержал свидетельства римской хроники.

Никогда звезды не занимали столько места в литературе, как в веке Августа. Вергилий, Проперций, Овидий — настоящие знатоки астрономии и говорят астрономическим языком с легкостью людей большого знания и опыта. Гораций кокетничал с публикой своим мнимым равнодушием к тайнам звезд, но был счастлив, когда его гороскоп оказался чрезвычайно, «до невероятности», схожим с гороскопом Мецената. Астрология восходит

на Палатинский холм и обращается в придворную силу. Германик, в часы досуга, переводит с греческого стихами гекзаметрические «Феномены» Арата (жил около 270 до Р. Х.), в чем, как упомянуто, ему предшествовал — хотя противник астрологии — Цицерон. Манилий, — может быть, сам греческого происхождения, — пишет специально для большого римского света свою странную и темную поэму (*Astromicon libri V*), захватывающую смесь восторженной веры и туманнейшей доктрины.

Когда верховная власть разглядела суть и смысл астрологии и поверила в нее, естественно, что она нашла необходимым обратиться науку эту — грозное ведение неотвратимого будущего — в свою монополию и поставить вокруг нее, между нею и остальными классами римского государства, стены строгих запретов. Это однажды навсегда определило для астрологов в римском государстве то действительное положение, которое Тацит очертил известной энергической характеристикой: «род людей, для властей ненадежный, для претендентов обманчивый, который

в городе нашем вечно будет запрещен и вечно в нем удержится». Астрологов выгнал из Рима Агриппа, но они остались в чести при самом Августе. Тиберий Цезарь принимает против халдеев крутые меры, но сам он — из халдеев халдей: ученик и сотрудник великого родосского астролога Фразилла, вечно углубленный в анализы гороскопов — своего собственного и всех, ему подозрительных, знатных лиц. Буше Леклерк остроумно замечает, что астрологическая обсерватория Тиберия обратилась в настоящий «черный кабинет», в котором угрюмый принцепс вскрывал улики не в письмах и документах, но в чертежах и цифрах непогрешимого неба, а назавтра летели в прах все подозрительные и уличенные звездами головы. По дружному рассказу трех основных наших историков, Тиберий предсказал будущему императору на полгода, С. Гальбе, что однажды и он попробует императорской власти. Кай Цезарь уцелел, может быть, только потому, что Фразилл уверил Тиберия, будто скорее Кай Цезарь переедет верхом Байянскую бухту, чем когда-либо придет к власти. Тацит указывает, что в 26 году по Р.

Х. Тиберий покинул Рим под таким сочетанием созвездий, которое совершенно закрывало ему возможность возвратиться в столицу. Думали, что, значит, он скоро умрет, но — никто не ожидал, что старик пережитет самую судьбу и проживет еще одиннадцать лет, платя звездам дань лишь своим добровольным изгнанием на Капри.

Нет надобности собирать здесь бесчисленные анекдоты об удачных астрологических прорицаниях, которые, в эпоху первых цезарей, сочиняли придворные сплетни и городские легенды. Гороскоп, будто бы составленный Фразиллом для Нерона: будет императором, но убьет свою мать, — достаточный их образец. Все эти сказки любопытны только как свидетельство интимности, в которой астрология уживается теперь с новой властью и держит ее под своим обаянием. Мы только что видели, как Агриппина, в опаснейший, почти отчаянный момент своего преступления, все-таки, медлит и тянет время, покуда звезды не примут положения, благоприятствующего Нерону. Со временем мы увидим, как Нерон, по предписанию астроло-

га Бальбилла, казнит сенаторов, как Отон, по наущению астролога Птолемея, начнет гражданскую войну и т.д. Астрологи — это — «самая скверная рухлядь в супружеском хозяйстве государей», выразительно определяет Тацит. Власть скверной рухляди последовательно испытывают и смысленный буржуа Веспасиан, не побрезговавший унаследовать от Нерона его кровожадного астролога Бальбилла, и умный, образованный, тонкий Тит, и жестокий Домициан (тоже переводчик Арата), и дилетант, эстет и самодур Адриан, и философ Марк Аврелий, и свирепый Каракалла. Большинство из них были сами астрологами, либо, по крайней мере мере, оставили после себя такую славу. Адриан же и Септимий Север умерли с репутацией даже выдающихся, глубоких математиков, которым, в буквальном смысле слова, была звездная книга ясна. Спартиан рассказывает легенду, будто Септимий Север женился на Юлии после того, как ее гороскоп сказал ему, что муж это девушки будет императором. В этой легенде вполне правдоподобна та часть, что знатные женихи, экзаменуя предполагаемую ярмарку невест,

запрашивали их гороскопы. И, обратно, мы видели, как Агриппина, по смерти первого мужа своего, охотилась именно за теми жеманностями, о которых был слух, что им предсказана верховная власть.

Заявленная властью монополия на астрологические предсказания, в ревности своей, неоднократно изгоняла из Рима всех халдеев, кроме собственных, некоторых казнила, сбрасывала с Тарпейской скалы и пр. Но известно, что никакая вера не возбуждает большего к ней стремления, как запретная, особенно, когда власть, ее монополизировав, сама подтверждает тем обществу, что вера эта преполезная и превыгодная в житейском обиходе. И вот, астрологи, изгнанные одними воротами, быстро возвращаются через другие, и на место казненных приезжают из Греции либо из Александрии новые. В конце концов, власть должна была уступить общественному тяготению и начала смотреть на «математиков» сквозь пальцы, под разными ограничительными условиями, которые, конечно, были столько же бесполезны, как изгнания и казни. Еще Август запретил тайные гадания или

хотя бы и явные, но вопрошающие о чьей-либо смерти. Затем из этого ограничения вырос строжайший запрет вопрошать о судьбе государя и его фамилии: источник бесчисленных политических процессов в эпоху Тиберия, Кая Цезаря, Клавдия и Нерона, любимое орудие кровавого шантажа, которым добывали богатства свои тигрицы, вроде Мессалины, Агриппины, Пoppей. Подданный, которому гороскоп его сулил верховную власть, — как справедливо замечает Фридлэндер, — тем самым ставился в необходимость выбора: или составить заговор на смерть главы государства, или самому погибнуть. Астрологи неизбежные участники всех заговоров и политических процессов императорского Рима. Расправлялись с ними круто. И — что же? Казни, изгнания, конфискация нисколько не унимали и не обескураживали ни охотников до звездных откровений, ни ученых, звезды ведающих. Мы увидим впоследствии, как участники одного из заговоров на жизнь Нерона, Антей и Осторий Скапула, посылают из Рима гонцов к изгнанному математику Паммену — именно гадать о судьбе Цезаря. На этих посы-

лах они попались, через донос другого астролога, и должны были кончить жизнь самоубийством. Более того: пострадать в политическом процессе для астролога значило сделать себе карьеру и составить репутацию. Особенно, в глазах женщин, которые были особенно страстными поклонницами и покровительницами науки халдеев.

Большое же всех к халдеям доверье. Что скажет

Им астролог, приемлют, как будто глаголы
Бога Аммона — затем, что дельфийский
оракул

Смолк, человека лишивши прозренья в
грядущие мраки.

**А из халдеев всех лучший, кто чаще был
сослан,**

С кем за приязнь и чертеж гаданий про-
дажных

Гражданин знатный погиб, серьезный со-
перник Отона.

**Видят пророка лишь в том, что звякал
ручными цепями,**

**Либо в военной тюрьме страдал долго-
срочно.**

Не был халдей осужден — так для них он и не математик!

Вот, если чуть не казнен, едва не попал на Циклады,

Либо с Серифа маленько удрал, — чудесное дело!

(Ювенал, IV.)

По уверению того же сатирика, женщины были под властью астрологии во всем объеме своей жизни, от важнейших вопросов о смерти ближайших родных или о верности мужа либо любовника до мелочей, вроде поездки в деревню: «не поедет за мужем она, если ее расчеты Фразилла задержат». Настоящая любительница астрологии, истинная дилетантка ее, которая уже не советуется, а с ней советуются, не возьмет в рот пищи иначе, как в определенный благоприятный час, указанный ей альманахом «Петозириса».

Этот «Петозирис», игравший в обиходе римских суеверов такую же роль влиятельного соведателя, как, лет сто назад, в русском обществе Мартын Задека и Брюсов календарь, а еще ранее Оракул царя Соломона, почитался египетским иератическим творени-

ем приблизительно восьмого века до Р. Х. и приписывался, как авторам, жрецу Петозирису в сотрудничестве с царём-пророком Нехепсо. В действительности, он — александрийская подделка, с успехом отбившая у Халдеи в пользу Египта честь первенства и старшинства в астрологии. Альманахи, календари и периодические листки (эфемериды), извлеченные из Петозириса, начали появляться в Риме, быть может, уже в веке Суллы, но, может быть, и столетием позже, за что говорит заметное знакомство Петозириса с герметической литературой. Сила и обаяние Петозириса заключались в том, что он открыл для науки звезд новый победительный путь: иатроматематику, врачебную астрологию, звездную медицину. Породниться с медициной для доктрины, научной ли, религиозной ли, — конечно, самое верное средство к быстрому успеху. В предыдущей главе я упоминал о враче, марсельце Эринасе, оставившем по себе десять миллионов сестерциев после того, как, на его счет, родная Массилия окружилась стенами и получила много других сооружений. Этот колоссальный капитал был нажит

Эринасом на сравнительно новом тогда еще «Петозиризе»: в строгом соответствии с его календарем, по часам, сметливый врач распределял питание больных своих и отлично их вылечивал — вероятно, на почве диеты. При той общественной невоздержности, которая царила в Риме цезарей (см. том 3-й), каждый диетический опыт, хотя бы лишь некоторая упорядоченность в сроках питания и пищеварения, уже должен был творить чудеса.

Вера в астрологию, таким образом, стала всеобщей, с невежественных низов до высокоинтеллигентных верхов, со множеством ступеней и оттенков, глядя по образовательному уровню классов. Серая масса верит буквально, что у каждого человека там вверху, на небе, есть своя звезда, более или менее яркая, соответственно его общественному положению здесь, на земле: звезда загорается, когда рождается человек, и падает, когда он умирает. Среднюю полуинтеллигенцию питают и держат под своим авторитетом астрологические листки. Интеллигенция, ученые и дилетанты ищут для астрологии научных обоснований на обобщающих путях философской

полемики. Сто лет спустя, наступит на их улице величайший праздник: астрология подчинит себе величайшего астронома эпохи, Клавдия Птолемея Александрийского, и его «Четверокнижие» (Τετραβιβλος) создаст астрологический кодекс, в котором материалы богатого опыта остроумно обобщаются на почве спекулятивных теорий, ловко пригнанных из философии пифагорейской, перипатетической и стоической. Авторитет Птолемея вырывает из рук врагов астрологии главное оружие: теперь уже смешно было бы утверждать, будто наука халдеев — только жульничество, кормящееся от дураков. Но и над этим научным фазисом астрологии тяготел ее прежний фатум: чем больше ей верили, тем строже и ревнивее охранялась ее монополия, тем запретнее становилась она для широкой публики. Для дворца астрология остается, по преимуществу, искусством гадать о благополучии государя, а искусство это делается тем более опасным, что, уже со времени Антониев, к астрологии начинает приплетаться магия, и, в народном представлении, светлая наука звезд смешивается с черной наукой демонов,

а халдеи-астрологи — с египетскими колдунами. Легкий отдых от репрессий вольная астрология имела, кажется, при либеральном синкретисте Александре Севере. Он будто бы даже предоставил математикам свободу преподавания и кафедру в Риме. Известная уступка в сторону терпимости, но только бытовой, а не правовой, — чувствуется при Константине. Зато Диоклетиан налагает на астрологию категорический запрет (296 по Р. Х.), энергичически повторяемый наследниками Константина, перешедший в византийское законодательство, принятый преемниками Юстиниана: «геометрия общественно полезна, следует ей учиться и применять ее к делу; но математическое искусство преступно, оно безусловно запрещено». Валентово преследование философов, конечно, не делало исключения для астрологов. Конец Рима освещается из Равенны костром, на котором, по указу Гонория (409), пылают астрологические книги. Математики тем же указом изгнаны не только из Рима, но и из всех городов, за исключением ренегатов, которые бросят свое учение и исповедуют ортодоксальное христианство.

Несомненно, что этот грубый и неумолимый вид полемики был единственно сильным, если не против развития астрологии (ему то, как всякому учению, гонимому властью, административно насилуемому, ревность государственной монополии только помогала, вызывая естественное моральное противодействие свободномыслящих) — то против ее публичного распространения. Стоя беззащитной перед рожном, против которого не можно прати, астрология пыталась найти теорию компромисса, который бы выпустил ее из-под дворцового ига. Около 336 г. по Р. Х. астролог Юлий Фирмик Матерн, в то время еще язычник, впоследствии христианин и апологет (я не вижу необходимости разделять его на двух писателей), пишет и посвящает крупному государственному деятелю, проконсулу Мавортию Лоллиану, восемь книг о звездной науке (*Matheseos libri VII*). Они прожили все средние века, дожили до книгопечатания и ушли в архив забвения только, когда и астрология, наконец, в самом деле, смертельно заболела: последнее издание вышло в 1551 году. Этот язычник на христианской сте-

зе предлагал собратьям своим, математикам, в обход дворцовой монополии, объявить раз навсегда лицо императора, как наместника Бога на земле, стоящим вне естественной компетенции звездного чтения и не подведомственным астрологическим законам. Отвечать на вопросы о судьбе императора, для Фирмика, не только законопреступно, но и профессионально бесчестно, как обман вопрошающего, потому что знание астролога в этом случае совершенно бессильно и не в состоянии сказать ничего, кроме лжи. Император — единственное в мире существо, исключенное из-под влияния светил. Звезды о нем ничего не знают и, значит, ничего не могут сказать. Император — хозяин вселенной и, в этом качестве, подчинен, в судьбах своих, только воле Верховного Божества, и сам он — живой бог, из разряда тех, которым Верховное Божество поручает зиждительство и блюстительство мира сего. Если перевести это последнее определение на язык гностической антелологии, то окажется, что император равен архангелам: духам — «космократорам», управляющим вселенной от имени Божия.

Поэтому судьбы императора закрыты как от астрологии, так от гаруспиции: их сверхъестественные средства слишком слабы, чтобы проникнуть в тайны высшей силы, которая живет в императоре.

Прозрачная лесь Фирмика, конечно, ни не волос не изменила императорской политики по отношению к свободной астрологии. К тому же Фирмик и сам, в чрезмерном усердии своем к императорскому культу, оказался не весьма тверд. В предисловии к книге своей он совсем непоследовательно делает обзор владык мира, испытавших на себе влияние звезд, упоминая в том числе и Юлия Цезаря, и Суллу, и возносит молитву за династию, в которой просит Солнце, Луну и пять планет сохранить империю на века вечные за потомством Константина. Теория его об исключении императора из-под влияния звезд, по-видимому, заимствована у христиан. Они так точно исключали из-под этого влияния И. Христа, а гностики — всякого, принявшего крещение. Как бы то ни было, императоры идеей Фирмика не пленились: быть живыми им нравилось, все-таки, больше, чем быть бо-

гами. *Sit divus, dum non sit vivus!* Со святыми упокой, только б не был живой! — цинически воскликнул Каракалла, отправив на тот свет брата своего Гету. Божественности без всеведения и предвидения довольно было этим людям в титуле и посмертных почестях. Божественно выходить из-под закона звездной судьбы и способности знать свое будущее, что предполагалось возможным для каждого смертного, значило не находить новую привилегию, а терять старую. Поэтому, как средство страховки жизни против несчастного случая, астрологию и в Риме, и в Византии императоры сохранили в своих ежовых рукавицах. Гонимая наука ушла в тайные общества, где смешалась с эзотерическими учениями Пифагора и Платона. Принцы, как Юлиан Отступник, люди высшего круга, как дед поэта Авзония, блестящие светские молодые люди, как св. Августин в студенчестве своем, страстно увлекались тайным изучением астрологии. Августина, под влиянием скептических рассказов одного из товарищей, скоро постигло разочарование, но Юлиан Отступник донес веру и восторг свой к Солнцу и све-

тилам небесным до ранней своей могилы и был большим знатоком звездной грамоты. Для многих утомленных умов астрология казалась святым прибежищем, очищающим душу человеческую от житейских дрязг и грязей. Таков Фирмик Матери, покинувший для того, чтобы писать астрологическую книгу свою, доходную, но «собачью» профессию стряпчего.

Зато маленькая, домашняя астрология, на которую власть смотрела сквозь пальцы, будничная математика обыденной жизни, процветала широко и пышно, в пошлости, поистине чудовищной. Лукиан уверяет, будто всякий неудачник философии, выдохшийся настолько, что перед ним уже запирались все двери, перекидывался в астрологи, и тогда снова всюду находил любопытство и радушный прием. Аммиан Марцеллин, видевший Рим в 380 году, почти триста лет спустя после Ювенала, застал в вечном городе мужчин как раз на том мелочно суеверном уровне, на котором древний сатирик высмеивал еще только женщин. Римский барин уже не садился обедать, не шел в баню, не справившись

предварительно в астрологическом листке, где сейчас знак Меркурия и в каком отношении к созвездию Рака ползет по небу луна. За консультацию более общего и серьезного характера, напр, о свадьбе, о дне для закладки дома, выборе времени и успехе путешествия, платили довольно дорого. В «Метаморфозах» Апулея, за гаданье о коммерческом путешествии, халдей Диофан берет 100 денариев, т.е. около 50 рублей. В Александрии, где астрологи платили налог, эту бюджетную рубрику прозвали «пошлиной на дураков», то есть на клиентов, доверием которых обуславливались астрологические доходы. Совершенно, как сейчас в Италии слывет «пошлиной на дураков» пресловутая государственная лотерея, еженедельно собирающая, через лавчонки свои, с народа миллионы франков. Кто хочет познакомиться с пошлостью общих мест, которыми довольствовались невзыскательные клиенты уличных астрологов-практиков, изобильно найдет их в знаменитом «Сатириконе» Петрония. Как критерий, позволяющий высчитать размеры захвата астрологией среднего римского общества, Тардуччи указы-

вает известный эпизод Деяний Апостольских. После проповеди апостола Павла в Эфесе, местные поклонники астрологии сожгли свои библиотеки. Книг в этом auto-da-fe погибло на 50,000 денариев, т.е. на 75,000 итальянских лир — почти 30,000 р. Это в одном городе, правда, первоклассном, а вернее сказать, в одной общине одного города — и, конечно, далеко не аристократической и не плутократической, а той, где всегда развивалась проповедь Павла: среди ремесленников и крамарей, мелких торговцев. Исходя из такой единицы, хотя бы и значительно преувеличенной, для всей республики придется вообразить оккультический рынок миллионных размеров. Да это оправдывается и показаниями языческих писателей. В конце Августова правления был извлечено из народного обращения и уничтожено 2.000 названий книг по тайным наукам (*libri fatidici*), необходимо и конечно включая сюда, на первом плане, как царицу их, астрологию.

II

Кроме полемики династически-государственной, астрология была постоянной

жертвой свободной полемики философов. За исключением стоиков, ей родственных и благоприятных, астрологи последовательно имели своими неприятелями почти что все философские школы: диалектиков новой Академии, позже скептиков, нео-пирронистов и эпикурейцев. Физики отметали астрологию, как шарлатанское злоупотребление астрономией; моралисты — как вредное учение фатализма, подавляющее свободу воли; наконец, теологи, то есть нео-платоники и христиане, — как ересь, несогласную с их догмой.

В начале главы я указал выгодный для астрологии характер этой полемики и результаты, к которым она привела. Изложить пути ее значило бы написать историю философии за шестьсот лет римской образованности: задача, колоссальность которой не вмещается в размеры моего труда. Я возьму на себя только наметить главные идейные точки, вокруг которых развивалась эта многовековая дискуссия, как в школах, так и в лицах. Их возникновение, борьбу за существование и затем исчезновение в расплывчатых компромиссах проследить необходимо, так как все это вно-

сит в исторический фон, на котором должны пройти фигуры «Зверя из бездны», столько красок и влияний, что без них весьма часто теряют рельефы свои и самые фигуры. В кратком обзоре своем я буду руководствоваться, главным образом, прекрасно планированным очерком римской астрологии, в шестнадцатой, заключительной главе капитального труда Буше Леклерка («Astrologie Grecque»).

Собственно говоря, из всех римских полемистов против астрологии, — предполагая, что полемист выступает против учения не с тем, чтобы только щекотать его или язвить, но чтобы убить и уничтожить, — был грубо последователен и совершенно искривлен один лишь старый Катон. Этот умный «дикий помещик» античного Рима отлично предвидел будущую культурную власть и опасность греческого новшества, которое вползало в страну, вместе с греками-философами, врачами, грамматиками и диалектиками, и гвоздил по астрологии с плеча, как гвоздил он по обреченному на гибель Карфагену, по греческим школам красноречия, по врачам, по депутации Карнеада, по всем чужеземным сопри-

косновениям, коробившим его подозрительный сердитый национализм. Не вхожу, мол, об вас в обсуждение по существу — а вы жулики! ваша наука разврат и чепуха, не надо вас! вон! *non licet esse vos!* Эта полицейская откровенность в черносотенном, как теперь говорят, духе настолько единичная в литературе (власти ее слушались), что надо ждать шестьсот лет для того, чтобы найти ей пару. Только шестьсот лет спустя, выступит на полемическую арену такой же полицейский фанатик, но уже в монашеской рясе. Бл. Августин произнесет, во имя государственной церкви, истребительные слова, которые старый республиканец, мужик-аристократ, произносил во имя нации. Катон и Блаженный Августин — начало и конец — поднимаются над астрологической полемикой, как два грозные утеса, их же не сокрушиши. Между ними лишь зыбь и шум прибрежных бурнов, скрежещущих камнями прибоя и отбоя. Удар приходит, разбивается и уходит.

Обще-эллинский и обще-философский корень астрологии со школами ее оппонентов позволял полемике широко разветвляться, но

ни одна ветвь не получала ни права, ни возможности отрицать существо другой, так как для всех одинаково это значило бы отрицать свое собственное существо, резонность и законность своего собственного происхождения. Все ветви философской оппозиции могли упрекать ветвь астрологии только в том, что она растет неправильно, то есть не так, как им нравится и угодно. Но ни одна не в силах была доказать, что ветвь эта — с чужого ствола, и ни у одной не достало ни внутреннего убеждения, ни аргументов для того, чтобы отсечь ее напрочь безвозвратным ударом. Вся эта полемика — не столько по воле, сколько по обязанности разума; последнему втайне очень жаль той силы знания, которую взялся он обессилить, и втайне же, в задней мысли своей, он весьма был бы не прочь приспособить как-нибудь силу эту к своему двору. Конечно, не малую роль в том играло и громадное уважение к авторитету греческой науки, от которой Рим принял астрологию, как спорный, но все же философский отдел. Особенно, при эклектическом характере римской философии, которая с начала до конца своего была

чем-то вроде винегрета или рагу из объедков эллинских школ и значение свое получила не от новости или самостоятельности идей, но от временных и полуслучайных талантов, которые ей себя посвящали: Цицерон, Сенека, Музоний Руф и т.д. Римская философия, в этом отношении, имела общую судьбу с нашей русской. Философствующих — множество, философа — ни одного. Мышления, счастливо приспособляющего внешние усвоения, сколько угодно; новых открытых кардинальных идей и методов — нет или почти нет. Прикладная этика процветает, чистая философия еле прозябает и должна питаться соками извне. Рим тоже имел своих Львов Толстых и Владимиров Соловьевых, но у него не было ни Канта, ни Гегеля, ни Шопенгауэра.

Итак — мы в области полемики, так сказать, «по-родственному»: покладистой и бьющей больше по словам и формам, чем по глубинам основного содержания.

— Планеты отстоят слишком далеко, — говорит Цицерон, — по крайней мере, главные планеты, а неподвижные звезды еще дальше.

Астрологи возражают:

— Солнце и Луна также далеки, однако они вызывают приливы. Халдеи, основатели звездной науки, конечно, еще не знали, что мир так велик. Зато они и планеты считали гораздо меньше. Теперь мы установили, что они бесконечно больше. Это создает компенсацию. Для того, чтобы дать твердую опору астрологической догме, достаточно отождествить звездное воздействие с звездным светом.

— Позвольте, — ловил их оппонент, — если звезда излучает свет всей поверхностью своего шара, почему свое астрологическое влияние она осуществляет только под известными углами или аспектами?

— А вот почему: подобно тому, как планет только семь^{13}, то, во имя мировой гармонии, и каждая звезда действует только в семи же смыслах или аспектах, но никак не более.

Мистический ответ такого рода совершенно не удовлетворял логиков, зато приходился по душе пифагорейцам.

— Но уверены ли вы, что планет только семь? — раздается авторитетный голос блестящего Фаворина (современник императора

Адриана), — и если их больше, то вычисления астрологов, не принимающие их в расчет, не суть ли, тем самым, сплошная ошибка?

Сомнение не новое. Оно было возбуждено еще Артемидором Эфесским (за сто лет до Р. Х.), но платоники отстранили его, как противное мировой гармонии. Если астролог считал ниже себя отделаться от вопроса голым отрицанием гипотезы, он возражал, что с невидимыми звездами нечего и считаться, так как свет их, а следовательно и влияние не достигают земли, но что влияние это тщательно учитывается, когда невидимая звезда приближается к земле и становится видима, в форме кометы. Несомненно, было бы лучше ввести в вычисления положения всех звезд, не ограничиваясь только планетами и знаками Зодиака. Но это — идеал астрологии. От какой науки человек имеет право требовать, чтобы она уже достигла своего идеала?

Ученый и умный скептик Секст Эмпирик (200—250 по Р. Х.) ставит практический вопрос — фундаментальный и тем более сильный, что уж очень простой и необходимый.

— На каком основании строите вы свои

претензии определять природу астральных влияний? Откуда вы знаете, что вот эти планеты — благодетельные, а те злодетельные — и сегодня больше, завтра меньше, смотря по случаю? Как вы оправдаете странные сочетания идей, связанных с чисто воображаемыми фигурами Зодиака, взаимное влияние планет на знаки и знаков на планеты? Ведь мы же знаем, и с давних веков, что планеты отстоят от созвездий на громадные пространства, и мнимые внедрения их в созвездия не более как эффект перспективы?

Тут ответ астрологов двоился.

Людам положительного образа мыслей они возражали ссылками на давность халдейской науки, на накопления наблюдений не только в течение столетий, но даже целых периодов космической жизни, на повторность явлений, однажды бывший, отошедших и должных вновь возвратиться. Таких людей, как Цицерон или Фаворин, подобные мнимо-исторические ссылки мало убеждали.

Легче было с мистиками, для которых затруднение разрешалось простым способом божественного откровения. Грек верил, что

тайну звездного гадания открыли людям старые падшие боги, революционеры против железной Мировой Судьбы: Атлант, сын Урана, титан Япет, отец Плеяд и Гиад, Прометей, творец и воспитатель человечества, либо кентавр Хирон, который обожествился в Зодиаке созвездием Стрельца. Орфики ставили на место этих просветителей Орфея, Музея или Евмолпа. Ново-египтяне вызывали легендарные тени своего Гермеса Thoth'a и Аскления-Эшмуна, уверяя, что от них получили науку свою Пехенсо и Петозирис. Евреи, по крайней мере александрийские, оспаривали, что астрология — их наука: в Египет принес ее Авраам, наученный в Месопотамии халдеями; из Египта получили ее финникияне, а финикийский переселенец Кадм перенес ее в Беотию, где поэт Гезиод собрал ее рассеянные временем крупы. Халдеи (Kaslim) выводили свои откровения от самой Истар, то есть планеты Венеры: в имени Гермеса, как ученика ее, воскресает выразительная связь между легендарной первокультурой Халдеи, Египта и затем греко-римского мира. Эфиопы имели претензию, что они еще старшие астрологи, так

как Атлант был ливиец или сын Ливии. Из Геракла-Мелькарта, якобы ученика Атлантова, мифографы сделали, по остроумному выражению Буше Леклерка, какого-то коммивояжера астрологии, который разносит науку звезд всюду, где им нравится ее насадить. Все эти выдумки находят себе опору во множестве апокрифических трактатов о звездной науке, усердно фабрикуемых в Александрии от имени Орфея, Гермеса Тривеликого, древнейших патриархов и философов. Впоследствии иудео-христианская полемика пользовалась этими преданиями, утверждая, будто астрология идет от Хама, сына Ноева, наученного ей злыми духами, тогда как астрономии научили Сифа, Еноха и Авраама добрые ангелы.

На расстоянии трехсот лет друг от друга, Цицерон (106—43 до Р. Х.), Фаворин и Секст Эмпирик поддевают астрологов одним и тем же упреком, что, наблюдая, они считаются только с временем, а не с местом, и что для них все, рождающиеся в одно время, объединяются в общую судьбу, независимо от стран, где рождения имели место. Это обвинение не весьма справедливо, так как астрология не

только в веке Цицерона, но еще в Халдее умела ограничивать астральные влияние климатическими соображениями и признавала, что одно и то же восхождение светила может иметь два разные значения для двух разных стран. Но оно любопытно соприкасается с старой обвинительной формулой Карнеада: 1) Двое, рожденные в разных обстоятельствах, имеют одинаковую судьбу. 2) Двое, рожденные в одинаковых обстоятельствах, имеют разную судьбу. Как же это? Каким образом, если каждый человек имеет свою специальную судьбу, возможны единовременные массовые погибели людей, рожденных ни в одно время, ни в одном месте, при кораблекрушениях, приступах, в сражениях?

— Неужели, — восклицает Цицерон, — все, убитые в битве при Каннах, родились под одной звездой?

Аргумент Карнеада, через Фаворина, Секста Эмпирика, отца церкви Григория Нисского, дожил до XVI века и успел еще послужить Кальвину. Астрологи отвечали теорией мировых влияний (ꙗдолицꙗ), господствующих над влияниями, которые управляют рождениями

отдельных лиц. Ураганы, войны, моровые болезни, вообще все бичи человеческого коллектива, берут верх над вычислениями меньшего размаха и могут результаты их изменить. Птоломей советует даже оставлять в гороскопах частных людей белое место — на непредвиденный случай вторжения непобедимых кафолических влияний. Ответ был остроумен и согласен со здравым смыслом, но не исчерпал возражения.

— Почему, — спрашивает Карнеад, — имеются на земле целые народы, в которых все люди — одного и того же темперамента и тех же нравов? Значит, все уроженцы этих рас явились на свет под одним и тем же знаком?

Триста лет спустя, греческому эклектику поддакивает скептик Секст Эмпирик:

— Если созвездие Девы дает белую кожу и гладкие волосы, значит, под знаком Девы не родится ни один эфиоп?

Это была запоздалая придирка. К эпохе Секста астрология успела разработать гипотезу кафолических влияний и, переведя их из случайности в постоянство, установить этнические типы и теорию о влиянии среды. По-

следняя поражает своей живой современностью, так как заключает в себе совершенно определенное учение о приспособлении, обусловленном особенностями почвы, вод, воздуха и наследственности, также, впрочем, стоящими под влияниями звезд. Именно черного и курчавого эфиопа и белизну германца или галла Птоломей приводит в образец неизменности этнического типа. На сомнения о расовом неравенстве астрологии отвечали географическими картами астрального влияния, соображенного с условиями среды.

Четвертый век продолжает Карнеадову нить уже устами христианского богослова Григория Нисского:

— Если раса образуется средой, которую создает совокупность земных и астральных влияний на страну ее жительства, то каким образом известные человеческие группы, напр, иудейская раса, христианское общество или секта персидских магов, умудряются во всяком климате сохранять свои нравы и законы? Разве иудей, всюду влачащий за собой клеймо природы своей, исключен из компетенции звезд?

Еще в веке Марка Аврелия, Бардезан, «последний гностик», противник астрологии только в фаталистической ее догме, ставил на вид, что, вопреки всем влияниям среды, обычаи данного народа могут быть изменены чисто механическим вмешательством воли деспота или работы законодателя. Если человек подчинен среде и обстоятельствам, как же выходит, что одна и та же страна производит людей совершенно разного развития? Если человек подчинен расе, как выходит, что страна, переменив религию, например, став христианской, становится совсем другой, чем она была прежде? Казалось бы, после таких вопросов, странно и спрашивать, каких взглядов на астрологию держался Бардезан. Однако, св. Ефрем и Диодор Антиохийский обличали его, как ученика и единомышленника халдеев. В его школе астрологическое начало идет рядом с теологическим. Он высчитал, подобно древнему Таруцию Фирмийскому, астрологическими вычислениями, что мир существует 6.000 лет. Он допускал существование звездных духов, пребывающих на семи планетах, а главное, на солнце и луне, кото-

рых ежемесячное соединение сохраняет мир, вливая в него новые силы. Этот Бардезан — более или менее тип всех мистических полемистов против астрологии: он недоволен ею потому, что влюблен в нее, и спорит с ее фантастикой потому, что в его пылкой голове есть другая фантастика.

— Если состояние неба и расположение звезд имеют столько влияния на рождение живых тварей, то необходимо не ограничивать область этого влияния одним человеком, но распространить его и на животных. Так, ведь, это же абсурд! — восклицает победоносный Цицерон, а его запоздалое эхо — Фаворин и Секст Эмпирик — вторят ему островами насчет гороскопов лягушек и мошек, на счет затруднительного положения астролога перед гороскопом, единовременно родившихся человека и осла.

Буше Леклерк справедливо отмечает это возражение, как аристократическое: несколькими сотнями лет раньше, надменное мнение Цицерона о животных тогдашний «царь природы», строитель первобытного общества, с такой же уверенностью высказал бы о ра-

бах. Ему тоже показалось бы нелепостью, что раб имеет претензию на личное бессмертие и воображает, будто судьба его написана на небесах. Но глубокий внутренний патетизм астрологии делал ее неизбежно демократической; объединив управляющей властью звезд человеческие расы и сословия, она не побоялась, если не теоретически, то практически, разрушить границы между всеми царствами природы. Зодиак, в большей части знаков своих, заполнен животными, Рак, Козерог, Рыбы, Скорпион, Лев, Овен, Телец. Возможно ли, чтобы эти типические небесные звери сосредоточивали свое воздействие только на человеке, минуя прямых своих земных родичей? И вот, звериных гороскопов, которых философы и злые шутники требуют в насмешку, ищут совершенно серьезно скотоводы и торговцы скотом, хозяева породистых собак и т.п. Затем астрология подчиняет себе законы растительности, выправляет земледельческий календарь. Известный писатель по сельскому хозяйству Колумелла, современник Сенеки, возражает против чрезмерно точных вычислений, как непосильной пре-

тензии, но сам дает длинный приблизительный календарь отчасти астрономических, отчасти астрологических примет, когда пахать, когда сеять, когда жать, когда начинать сбор винограда и т.д. И, наконец, позднейшая союзница астрологии, алхимия, простирает власть звезд даже на образование металлов и драгоценных камней: союз планет с царством минералов зачат еще в Египте.

В противоположность однообразию нападений, защита астрологов тем тверже и сильнее, чем она выше в веках.

— Почему, — спрашивает Фаворин, твердя Цицероновы зады, — наблюдая те же сочетания созвездий, мы не видим, чтобы под ними повторялись и оптом рождались Гомеры, Сократы, Платоны?

— Почему, — добавляет, двумя веками позже, св. Василий Великий, — не каждый день рождаются цари? Или почему сыновья царей, все равно, будут царями, каков бы ни был их гороскоп?

Астрологи имели полное право возразить им.

— Потому что вы дилетанты и ничего не

смыслите в звездной науке. Еще никогда не бывало двух совершенно тождественных гороскопов. Элементы вычисления: семь планет, их взаимные аспекты, двенадцать знаков зодиака, их аспекты и отношения к планетам, деканы (треть каждого знака зодиака, тридцать шестая доля годового круга, знак декады, т.е. десяти дней), додекатемории и пр. — все это, расчисленное по степеням и минутам, дает миллионы математических комбинаций, перестановок и переложений. Даже близнецы имеют уже разный гороскоп. Как же ждать общих гороскопов для людей, родившихся в разных местах и в разное время? Новых Сократов и Платонов мир увидит лишь после того, как исполнится астрологический «великий год», и αλοζατασταςιζ, общее возрождение, снова поставит вселенную на первоотправную точку ее существования, для повторной жизни.

Вопрос о близнецах играл большую роль в астрологической полемике. Сперва оппоненты не понимали, каким образом два близнеца, родясь под одной звездой, могут иметь разную судьбу? Еще Нигидий Фигул разре-

шил это недоразумение известным опытом с гончарным колесом, которым и заслужил он свое прозвище Фигула (гончара). «Повернув гончарное колесо с такой силой, с какой в состоянии был это сделать, Нигидий во время кружения дважды прикоснулся к нему черной краской с величайшей скоростью, как бы в одном и том же месте. Когда колесо остановилось, сделанные Нигидием знаки были найдены на немалом расстоянии один от другого. Так же точно, сказал он, при известной быстроте небесного круговращения, хотя бы один после другого рождался с такой же скоростью, как я два раза прикоснулся к колесу, это делает большую разницу в пространстве небесном». Блаженный Августин находит аргумент этот слабым, — однако, после него, придирчивый допрос должен был перекинуться на другую сторону:

— Если небо движется с такой быстротой, то вы никогда не в состоянии уловить на нем истинный момент рождения.

Возьмем даже, говорит Секст Эмпирик, самый благоприятный случай, что один халдей ждет у постели роженицы, готовый при появ-

лении ребенка немедленно ударить в гонг, а другой сидит на вышке, чтобы, по звуку гонга, немедленно же составить гороскоп. (Был такой случай.) И, все-таки, это будет ни к чему. Во-первых, собственно говоря, нет уловимого момента рождения, как и зачатие. Это — длящиеся процессы, и их точные моменты не могут быть определены. Во-вторых, если бы даже существовал астрологический момент, вы не в состоянии им овладеть. Звук имеет скорость сравнительно небольшую. Значит, покуда удар гонга дойдет на вышку, истинные данные для гороскопа уже умчатся в пространство.

Свое основное нападение Секст Эмпирик обставил многими побочными подкреплениями, вроде случайности горизонта от высоты обсерватории, возможности атмосферической рефракции, условности силы зрения, невидимости звезд днем, сомнительности вычислений не по открытому небу, но по таблицам восхождения, неточности водяных часов и т.д.

Удар Секста, укрепленный на непреодолимом физическом законе, что свет быстрее зву-

ка, был нанесен ловко, но он сам ослабил впечатление, подсказав астрологам, во второстепенных укорах своих, прежний броненосный аргумент:

— Ты все говоришь не о принципе, а о практических несовершенствах науки. Мы их нисколько не отрицаем и прилагаем все старания устроить их. Но несовершенство и грубое состояние науки еще не отрицает ее существования. Со времени халдеев мы сделали громадные успехи, которые всем очевидны. Из того, что наука наша не дошла до идеалов, которые она перед собой видит, следует только, что она и еще способна к прогрессу.

Щекотливый вопрос о моменте рождения очень беспокоил древнюю науку. В самом деле: если близнецы выходят из одной утробы под разными созвездиями, то, в случае затяжных родов, не может ли быть, что голова и ноги одного ребенка также родятся в разных условиях? не потому ли рождаются сильные головы на слабых ногах и наоборот? Египетская астрология принимала этот вызов и отдавала голову под покровительство Солнца, глаза — Венеры, волосы — Млечного пути и т.д. Фило-

софская астрология, с ее претензиями точной науки, не могла воспользоваться столь зыбким определением и предпочитала оставить свое решение в тумане. Практическая же отвечала на спрос публики простым предложением по здравому смыслу, считая важным не акт рождения, но факт родившегося ребенка. Поэтому дилемму близнецов она решила, как наличность общего факта, но двойного акта: один ребенок — один акт и один факт, два ребенка — один факт, но два акта, отдельные и подлежащие различению. Наконец Птоломей положил конец придирам логиков, установив для гороскопов принцип приблизительности.

Последним капканом, который логики ставили астрологам, была теория предопределения. Если звездное влияние существует, то в судьбе каждого человека уже содержится судьба его будущих потомков, а его собственная судьба заключалась в судьбе его первого предка — и так далее вглубь веков, к самому сотворению мира и началу бытия. Словом, в ту ночь, когда земля впервые узрела над собой звездную твердь, все ее дальнейшие судь-

бы были уже написаны на таинственной небесной синеве. Это учение астрологи не только принимали, но, быть может, даже и положили ему начало. В каждом гороскопе имеется «дом родителей», заключающий догадки об астральном прошлом предков, а также «дом брака» и «дом детей», определяющие астральное будущее потомков. Так что научная вина астрологов не в том, что они откачнулись от теории предопределения, но, напротив, что они ее слишком горячо усыновили. Спор между провиденциалистами и фаталистами — битва козла с отражением своим в гладком озере, битва условных слов. Так как астрологов всегда били с двух фронтов, и за да, и за нет, то Фаворин не преминул пощипать их и как союзников предопределения. Его атака остроумна, но, как всегда, легковесна и, сверх того, сплетает уж слишком тонкую паутину софистической диалектики, которая легко рвется на противоречиях.

Таким образом, логический бой с астрологией кончился в ее пользу, а вернее — кончился вничью, разрешился в ожидательность. После Секста Эмпирика в рядах ее вра-

гов мы не встречаем уже ни одного чистого логика. Астрология заставила признать, что основное ее положение правильно: звезды, действительно, влияют на судьбу человеческую силой физической энергии, познанной практическим опытом; существо этой энергии определить и измерить, может быть, трудно, но не невозможно; ошибки и пробелы астрологии зависят от еще несовершенного ее состояния, но сама она — наука, несомненно способная к прогрессу, и имеет достижимый идеал. На той мировой античная наука звезд и разошлась с положительной мыслью своего времени. На поле битвы выступили теологи: нео-платоники и христиане. Их полемика была еще менее действительна, так как противников теперь разделяли не основные идеи мирозерцания, но лишь подробности и оттенки, и теологи, еще более философов, стремились не столько раздавить астрологию, сколько сделать ее ортодоксальной.

III

Прежде чем излагать эти новые битвы астрологии, будет полезно установить и выяснить ее связь с философской стои-

ческой школой, с которой читателю уже пришлось и еще часто придется встречаться на страницах «Зверя из бездны»: группа стоической интеллигенции — единственный и весьма незначительный по размерам и влиянию плюс, которым моральный век Калигулы, Клавдия и Нерона отвечал на грандиозный этический минус, унижительно сравнивавший одичалое общество{14}. Стоическую школу нельзя рассматривать как открытую сторонницу и покровительницу астрологии, но последняя, несомненно, ей немного родственница. Стоа, единственная из философских школ, относилась к астрологии с постоянной и убежденной терпимостью. Из всех знаменитых стоиков, если не считать Панеция (род. 180 до Р. Х.), отрицательно, да и то с оговорками, смотрел на астрологию только Диоген Вавилонский, *magnus et gravis stoicus*, в половине второго века до Р. Х. В общем же, стоицизм признавал звездное воздействие на человека. Астрологи же, в греческом периоде звездной науки, с того и начали, что заимствовали у стоиков начала фатализма, положенные в основу их ведения, и логику примирения меж-

ду фатализмом и моралью. Цельная стройность мира и целесообразность всех его частей, — подобие каждой части целому, — единство человека со вселенной, а пламени разума, которым он одушевлен, со звездами, откуда получил он в себя искру жизни, — сродство человеческого тела со стихиями, в движении которых оно погружено, и которые наглядно подведомственны влиянию великих небесных двигателей и распорядителей, — теория «Микрокосма», наконец, — весь этот стоический арсенал был принят астрологами и много помогал им в полемике с другими школами, которую мы только что рассмотрели.

Мы видели, что в спорах этих оппоненты астрологии не касались или почти не касались вопроса об ее этическом достоинстве, о роли ее в общечеловеческой морали. Наоборот, именно с этой стороны повели на нее атаку нео-платоники и христиане.

Для морали, предполагающей человеческую волю свободной, всякое учение, обозначающее действия человеческие заранее предрешенными и не подведомственными воле

нашей, подозрительно и кажется безнравственным. В этом разряде оказываются все системы гадания и, на первом плане, как наиболее выразительная и развитая из всех, — астрология. Теологи обоих названных религиозных учений однако объявили ее нечистой с двух точек зрения: 1) она снимает ответственность с человека; 2) она перемещает ответственность на Бога и объявляет его способным творить не только добро, но и зло.

Ответ астрологов представляет попытку, не отрекаясь от своей доктрины, согласовать ее с ходячей моралью века, с уровнем общественной нравственности. Неумолимая судьба и неизбежность преступлений, которые она повелевает, — для Манилия, — «еще не причина извинять порок или лишать должной награды добродетель. И это тоже фатальность: искупать карой даже predetermined тебе судьбу». Птоломей менее решителен.

— Большинство астрологических предвидений, — говорит он, — как все научные предсказания, в одно и то же время, и неопределенны, и условны. То есть: они непременно ис-

полняются, если работа вычисленных природных сил не будет расстроена другими природными силами, которых вычисления в расчет не приняли. Но весьма часто от самого человека зависит сообразить эти привходящие силы и упорядочить свою судьбу. Например — медик искусными лекарствами может остановить болезнь, которая иначе повела бы к неминуемой смерти. В худшем случае, если жребий гибели неотвратим, предвидение будущего дает человеку, — скажем, стоику, — время подготовиться, чтобы встретить роковой удар с хладнокровием и достоинством.

Буше Леклерк на это замечает:

— Нельзя сказать, чтобы старания Птолемея доказать прикладную пользу астрологии много прибавили к репутации ее морали. Умеренный полу-фатализм всегда опаснее фатализма совершенного. Все преступления, о которых сложилось мнение, что они совершены под влиянием астрологов, имели целью поправить предвидимое будущее. Чистый же фатализм, наоборот, предоставляет события их естественному течению, оставляет вещи, как они есть. Практическое вмешательство в

жизнь для него, по здравому смыслу, бессмыслица. Тиберий безжалостно истребляет «поправимых» претендентов на принципат, но юного Гальбу, как истинный фаталист, бесспорно и мирно приветствует будущим императором. Полу-фатализм — всегда длительное ожесточение практической борьбы с роком. Полный фатализм — только метафизическая концепция, принципиально неспособная перейти в физическое действие единичной воли.

Развиваясь на фоне мистического третьего века, будучи преемницей пифагорейского предания, неоплатоническая школа не могла быть враждебной звездной мифологии. Но, чтобы обеспечить единство собственной метафизической системы, она отняла у звезд роль перводействующих причин, на которой настаивала астрология, обработанная по системе стоиков из политеистической астрологии, порожденной халдейским сабеизмом. Величайший пророк неоплатонизма, Плотин сомневается даже считать звезды в ряду вторых причин. Он низводит их на степень предвещательных знамений, гадательных орудий

через наваждение или непрямо́е откровение, теорию которого он принимает целиком и без всяких возражений. Движение звезд возвещает каждой вещи ее будущее, но не производит его. Силой мировой симпатии каждая часть Бытия сообщается с другими и — для того, кто сумеет прочесть, — кладет на них свой отпечаток; гадание через наваждение или косвенные намеки есть не более, как «умение читать письма природы». Учение Плотина имело громадное значение. Умягчая астрологический фатализм и давая выход и опору свободной воле, позволяя почитать звезды не самостоятельными двигателями, но лишь зеркалами божественной мысли, уподобляя их движения и соотношения фигур писанной грамоте, Плотин открывал астрологии способ ужиться со всеми теологическими системами, не исключая монотеистических. Даже евреи, которым были противны боги-планеты или боги-декань, которых приводили в негодование идольские изображения созвездий, теперь могли с чистой совестью углубляться в эту небесную каббалу, толкуя ее, как мистический шифр, изобретенный

Енохом или Авраамом. Как всякая средняя и примирительная теория, предложения Плотина вызвали острую ненависть партизанов крайних учений. Фирмик, астролог-правовер, клеймит Плотина, как врага Фортуны, т.е. звездной судьбы, и поучительно описывает страшную смерть, которой будто бы наказан был великий нео-платоник за свою кощунственную попытку разжаловать звезды из причин в знамения: тело его заживо разложилось гангреной, опало кусками, и, на собственных глазах своих, Плотин расползся в такое, что нельзя и сказать.

Преемник Платинова авторитета, не менее знаменитый Порфирий, решительный сторонник свободной воли, всегда сохранял в вопросе об астрологии большую осторожность и некоторое недоверие.

— Наука, несомненно, превосходная, но недоступная человеку; она выше разума даже богов и гениев подлунного мира.

Однако бесконечное уважение к «Тимею» Платона помешало Порфирию разорвать связующую цепь между человеком и звездами и заставило его изъяснять, то есть оправды-

вать, целый ряд астрологических теорий — именно тех, которые наиболее противны здравому смыслу. По его толкованию, Платон примиряет фатализм «мудрецов египетских», то есть астрологов, со свободой воли, через то странное допущение, будто бы душа, перед воплощением, сама выбирает свой жребий. Там, наверху, в «Небесной стране», где она проводит свое первобытие, ей показывают всевозможные жребии, человеческие и животные, начертанные звездами, как на картине. Однажды выбрав, судьбу переменить уже нельзя: это и есть мифическая Атропос. Вот почему под одним знаком могут родиться мужчины, женщины, животные. Под одним знаком, но не в тот же момент. Получив свой жребий, души спускаются из высших сфер и ждут очереди войти в наш подлунный мир. Для этого надо, чтобы мировая громада, вращаясь, приняла астральное положение, указанное в их жребии. Вообразите себе — на Востоке, у мирового «гороскопа», толпу душ, алчущих воплощения, — перед узким проходом, последовательно открываемым и закрываемым движением великого зодиакального ко-

леса, а в этом последнем столько проделанных отверстий, сколько в нем делений. Когда наступает должный момент, Справедливость, которую также называют Фортуной, выталкивает в очередную гороскопическую дыру очередную душу, скажем, хоть собаки, а, в следующий момент, в следующую дыру, проскакивает следующая душа, может быть, уже человека.

Буше Леклерк находит, что грандиозная фантазия Порфирия смешно напоминает длинный хвост статистов, ожидающих у входа в театр и смиренно представляющих контролеру Справедливости свою астрологическую контрамарку. Старый спор астрологов с физиологами, начинается ли звездное воздействие на человека в момент его зачатия (требование вторых) или только в момент рождения (взгляд большинства первых), Порфирий разрешает той комбинацией, что душа выбирает свой жребий по гороскопу зачатия и затем входит в зародыш, а гороскоп рождения, когда она начинает вторую жизнь, является лишь осуществлением и поверкой первого выбора.

Итак, первое и последнее слово астрологической доктрины нео-платоников, что звезды — «знамения» судьбы, а отнюдь не ее «агенты»; души свободны от повиновения механической необходимости и управляются только предначертанием, которое они сами себе определяют по свободному выбору. В таком толковании, астрология становится еще более непреложной, чем когда она почиталась наукой о причинах. Теперь это — наука чтения писем Божиих, по правилам, почерпнутым из откровения. Астрологи обязаны нео-платоникам первым логическим истолкованием моментальности гороскопа: наиболее щекотливый пункт звездной науки, не приемлемый для здравого смысла общественного мнения. Они утвердили за астрологией принцип непогрешимости, что равносильно фатальности, и, таким образом, подняли ее из науки на степень религии. Фирмик Матери, вчера язычник, завтра христианин, сегодня называет астрологию именно религией, а астролога — священником, жрецом, sacerdos.

Ненависть его к Плотину — типический

религиозный гнев правоверного фанатика против свободного мыслителя, который для него кощун и богохульник.

В этом своем значении астрология пытается заместить наличные действующие религии, частью их поглощая, частью их вытесняя, частью в них втираясь, частью гибко к ним приспособляясь и подделываясь. Ей легко было вместить в себя и ветхую мифологию, которой озвезделые божества и легенды покрывали наследуемый ею горизонт, либо жили в стихиях, и нео-платоническую демонологию, мириады гениев которой стали в ней агентами откровения, верховными толмачами божественной грамоты, посредниками между судьбами небесными и разумом подлунного мира. Солнечные же культы — ближайшая астрологии родня и прямой союзник.

— Зачем, о человек, — восклицает лже-Манефон, — приносишь ты бесполезные жертвы блаженным богам? Даже тени пользы нет в жертвах бессмертным, потому что ни один из них не властен изменить природный жребий человека. Воздавай почтение Хроносу, Аресу,

Киферее, Зевсу, Менее и царю Гелиосу (т.е. планетам, Луне и Солнцу). Вот эти, в самом деле, владыки людей, и владыки всех текущих вод, и гроз, и ветров, и земли плодоносящей, и воздуха, непрестанно движимого.

Египтянин, солнечный жрец фивский, говорит здесь языком апостола новой веры, который многобожному веку должен был казаться атеистическим. Астрологи подобных вызовов никогда себе не позволяли. Напротив, Фирмик старается доказать, что астрология способствует почитанию богов, внушая человеку, что все его действия управляются божественными силами и душа его — младшая сестра божественных звезд, подателей и распределителей жизни. Манилий выразил ту же мысль тремя сильными стихами, которыми, восемнадцать веков спустя, Гете, на Брокене, высказал свой восторг от зрелища Гарца:

Кто усумнится вот здесь, что человек небуроден?

Кто бы мог небо назвать иначе, как даром от неба?

Кто бы мог бога открыть, если б сам не

Был частью богов?

С этой растяжимой формулой могли от- лично ужиться все религиозные системы, не исключая монотеистических. Все, кроме христианства. А именно той победоносной части его, которая жила духом палестинского иудейства, чуждым эллинизма, александрийских и самаритянских влияний.

Первохристианство, смутно поднимаясь среди толков гностических и платонических, было далеко не чуждо астрономических влияний. Апокрифическая Книга Еноха, апостол Павел, Апокалипсис Иоаннов часто говорят языком астрономических воспоминаний, доказывающих, что авторы и сами были знакомы, хотя бы в общих чертах, с наукой звезд, и что обращали они речь свою к пастве, которой такой язык был совершенно ясен и привычен. В гностицизме, если исключить наиболее христианского из гностиков, сирийца Бардезана, который восставал против астрологического фатализма, наука звезд торжествует по всему фронту. Достаточно вспомнить 365 небес и великий царственный Абракас (анаграмма 365) Васи- лида, его Додекаду

и Гебдомаду. Доктрина ператиков (peratel) или офитов была насквозь пропитана астро-логическими теориями и потому именно так сложна и сбивчива, — от хитроумных стараний обратить традиционный звездный рисунок и сказание в иудейско-христианский символ. Числа и логическая связь звездной науки окружились в гностицизме бреднями откровений, упразднявших всякий здравый смысл невероятной смесью всевозможных преданий и текстов самого пестрого происхождения, набором аллегорий, пифагорических, орфических, платонических, герметических иносказаний, евангельских и библейских притч. Это настоящий карнавал мистической мысли. На толпы, ошеломленные чудесами богообщения, сыплется, подобно confetti, дождь оракулов и апокрифических евангелий, магических и гадательных рецептов, талисманов и филоктерий. Нет образа, достаточно дикого, чтобы не найти себе место в буйстве этого религиозного маскарада. Уверяют, будто манихеи почтили зодиак гидравлическим колесом с двенадцатью бадьями, которое вычерпывает падший свет из нижне-

го мира, из царства дьявола, и наливает им челн Луны, и та перегружает его в барку Солнца, а Солнце уже снова возносит его в царство высшего мира.

IV

Когда из всей этой туманной мешанины выплывает корабль торжествующей ортодоксальной церкви, он сразу становится во враждебную позицию ко всему философскому хаосу, который он за собой оставил. Некоторое исключение делается только для Платона: он подкупил христианских судей, по крайней мере некоторых, теорией бессмертия душ, нисходящих в человечество из сфер небесных и обратно туда возвращающихся, как скоро откроется их земная тюрьма, — и для Сократа. Их снисходительно принимают предтечами мессианического Откровения. Но остальному философскому накоплению объявляется беспощадная война. В особенности же неоплатоникам, с их бесконечными тучами всевозможных ипостасей и эманаций, с их демонологией, магией и теургией. Решительным ударом церковь объявляет дьявольским изобретением все способы и виды гадания, а в осо-

бенности астрологию.

Последняя, следуя обычной своей системе приспособления, спешит укрыться под защиту того самого авторитета, именем которого ее громят. Книга Бытия (I, 14—18) и Псалтырь (СXXXV) убеждают Оригена, как раньше Филона, платоника-иудея александрийского, к уступкам в пользу астрологии. Приводятся примеры, что Творец светил сам часто пользовался ими, чтобы открывать свои предначертания: видение Авраама, с обетованием потомства, многочисленного, как звезды на небе; переменное движение тени на солнечных часах Езекии; вифлеемская звезда; затемнение солнца в миг крестной кончины Иисуса Христа; знамения небесные, должныя предвозвестить Его второе пришествие.

Вифлеемская звезда в особенности смущала теологов. Ее легенда представлялась полной реабилитацией астрологии. Три волхва, «халдейские философы» и даже, по Блаженному Иерониму, «ученики демонов», видят звезду Рождества Христова с обсерваторий своих, все трое сразу узнают ее и, следуя за ней, приходят для поклонения новорожденному Царю

Славы как раз вовремя и в должное место. Итак, астрология оказалась в силах составить гороскоп, при том царственный, даже для Богочеловека. Ясно, что такой успех оправдывает и силу ее ведения, и богоугодность ее средств.

Церковь возражала на это, что значение звезд не умаляет демонского происхождения и значения астрологии. Так как Иисус Христос пришел положить конец земному царствию демонов, то волхвам, ученикам демонов, было нетрудно узнать звезду, столь для них роковую. Поклонение же волхвов Христу-Младенцу обозначает именно отречение астрологии от своей прежней власти и знания. Так говорили св. Игнатий, Тертуллиан, Иоанн Златоуст. Гностики-валентинианцы, как упоминалось выше, развивали на этом основании мысль о перемещении из-под власти предопределения в непосредственную власть Христова Промысла, как непременно следствии таинства крещения для каждого христианина, а в особенности гностика. Гипотезы, далеко не убийственные для звездной науки, за которой они, таким образом, при-

знавали полную действительность для всех прошлых веков, а в настоящем и будущем — действительность для всех язычников. Астрологам больше и желать нечего было. За ними оставляли все человечество в природном его состоянии, у них отнимали только часть людей, пожелавших уйти из-под условий общего мирового закона. Привилегия гордая, но мы уже видели, что ею, в предложении Фирмика, не спешили воспользоваться даже императоры. Очень может быть, что позднее, обыкновенно уже предсмертное, крещение царственных язычников, Константина и иных, обуславливалось, в числе множества других причин, отчасти и этим соображением: несогласимостью полного, открытого христианства с дивинацией, которую полухристианские владыки полагали для себя необходимой и утратить ее могущество совсем не желали. Валент, воздвигший на философов и гадателей свирепейшее гонение, в котором погибли лучшие люди последнего язычества, держал при дворе своем астролога Гелиодора, брал у него уроки красноречия, весьма слушался его советов и даже, говорят, именно им подвиг-

нут был к преследованию ученых. Одна рука подписывает указ: «Nemo haruspicem consulat, aut mathematicum nemo etc.» (Да никто не вопрошает ни гаруспика, ни математика и т.д.). Другая жадно ищет астрологического листка. В подобных условиях века, то, в чем гностики видели свою привилегию, астрологи могли принять совсем с другой стороны:

— Вольно же вам себя обездоливать отказом от предвидения!

В конце четвертого века церковь, возвращаясь к все еще

висящему вопросу о вифлеемской звезде, находит удобным отрицать ее естественный характер. Это была ни звезда, ни планета, ни комета. Она шла своим особым путем, ничего общего не имеющим с путями всех известных звезд, так как была специально предназначена привести волхвов в Вифлеем. Словом, это не гороскопическая звезда. Затем: гороскопы составляются в определение судьбы новорожденных младенцев, а вовсе не предвещают ожидаемых рождений. Звезда волхвов была просто чудесным светочем, — может быть, то был ангел или даже сам Дух Святой, — и, в

своим исключительном качестве, она не входила в состав обычных и доступных астрологии данных, а следовательно и не могла быть основой гороскопического вычисления.

— Нет, — возражали астрологи. — Вы видите, что волхвы угадали сверхъестественность звезды. Это свидетельствует о точности методов, которыми они располагали, так правильно определив явление, совершенно непредвиденное. Почему им удалось это? Потому что они наблюдали и вычисляли отклонение звезды от обычных планетных путей. И это несомненно внушение Божеское. Потому что, если наука астрологов демонского происхождения, то непонятно, зачем Бог именно этого рода ученых избрал в первые свидетели самого возвышенного мистического момента во всех веках и народах?

Были в ученом христианстве люди, полюбленные аргументацией астрологов. Таков неведомый автор трактата «Герминн» и Ориген, который, рассуждая по Книге Бытия, Псалмам и книге Иова о целесообразности всех творений Божиих, а следовательно и светил, сотворенных, чтобы «давать знамения и

указывать времена», дошел до тех же миролюбивых компромиссов с астрологией, как раньше нео-платоники. Раз звезды — не причины действий, а только их знамения, то астрологический фатализм теряет свой преступный характер попытки к узурпации всемогущества Божия: мир остается во вседержительстве Божиим, а, следовательно, звездная наука — не более, как стремление прочесть грамоту Божественных предначертаний. Жаль только, что эта задача недостижимая: у разума человеческого нет для нее средств.

Последнее пессимистическое предостережение никогда не обескураживало умов смелых и пытливых, а колоссальный авторитет Оригена (еще не анафематствованного Византией) должен был отразиться в христианстве терпимостью к астрологии. И действительно, в IV веке звездной наукой увлекается даже духовенство. Лаодикийский собор был вынужден запретить ее для церковников особым постановлением. Евсевий, епископ Эмезский, был за этот грех лишен сана. Суровый ортодокс, св. Афанасий открыл в книге Иова следы, а следовательно, подтверждение одной из

основных теорий астрологии: учение о «домах» (οἶκοι) планет. Что касается общества и народа, Евсевий Александрийский бичует, как распространенный порок христиан своей паствы, постоянную астрологическую божбу и приметы: «Побей чума твою звезду!», «Лопни мой гороскоп!», «Под несчастной звездой родился!» и пр. Многие же, по словам Евсевия, открыто двоеверничают: молятся звездам и просят милости у восходящего солнца, «как делают солнцепоклонники и еретики». Последнее слово здесь очень показательно.

Эти упрямые пережитки сабеизма были несомненно главной причиной, почему церковь, в страхе рецидивов живучего язычества, не могла оставить астрологию в покое и вечно подозревала в ней тайного и опасного врага. Было бы совершенно бесполезно и скучно следить за дальнейшей полемикой ортодоксов с астрологами. Топтание на месте, так характерное для всей этой полемики, теперь усерднее, чем когда-либо. Ортодоксы стоят перед астрологами в неловком положении, без доводов. Как оригеновцы, они не смеют употребить против них оружие богослов-

ское, а как диалектики, они много ниже своих предшественников и неумело бьются их запоздалым оружием с гораздо более искусными врагами. Опять всплывает старинный покор астрологии ответственностью за зло мира сего, которую она, будто бы, нечестиво возлагает на Бога, творящего только благое. «Если Бог справедлив, он не мог создать определяющих судьбу звезд, силой которых человек необходимо становится грешником» (св. Ефрем). Не в силах справиться с астрологией аргументацией, ортодоксы взяли за тексты и стали бить ими не столько по самой науке, сколько по ее материалам и научным основам. Нашлось достаточно текстов, запрещающих принимать шарообразность земли или повелевавших считать небо твердью, за которой скрыты хляби водные. Наивность перерождалась в нетерпимость. Невежество проповедовало вражду к знанию на площадях, благословляемое из церквей. «Рази Пифагорово молчание, Орфеевы бобы и эту надутую поговорку: «сам сказал!» Рази Платоновы идеи, переселение и круговращение наших душ, припамятование и вовсе не прекрасную лю-

бовь к душе ради прекрасного тела, рази Епикурово безбожие, его атомы и чуждое любо-мудрия удовольствие; рази Аристотелев немногообъемлющий промысел, в одной искусственности состоящую самостоятельность вещей, смертные суждения о душе, человеческий взгляд на высшие учения; рази надменность стоиков, прожорство и шутовство циников» (Григорий Богослов). Это время, когда Иероним приходит в отчаяние от того, что он ученый. Время, напуганное царствованием философов, в лице Юлиана Отступника, до совершенно слепой ненависти к языческой интеллигенции, до сокрушающей потребности разрушить и позабыть все, что она изобрела и знала, время опрощения умов, воистину — опять употребляю выразительное и общеупотребительное слово русского XX века — во истину черносотенного. «Церковь-то Христова, насилуя себя, — уверяет образованнейший покаянник интеллигенции, Иероним, — не из Лицея да Академии сделалась, а сбелась из народишка черного (*de vili plebecula congregata est*)». Строительство демократической веры переходит в демагогию, которая,

прежде всего, приносит в жертву науку. Арианнин Валент, повырезав и перевешав философов, под предлогом чародейства, значительно облегчил ортодоксам, хотя в гонении и им жестоко досталось, задачу эту, освободив их от логической оппозиции. От космографии Гиппарха и Птолемея мир попятился к трем китам. Последние хранители греческой науки, астрологи могли со справедливым недоумением видеть, что ортодоксы навязывают им ту самую первобытную космографию древних халдеев, из зерен которой выросла гонимая звездная наука. Естествознание и мироведение зачеркнуты и сужены до младенческого лепета. «Шестоднев» Василия Великого, рассуждая о премудростях Провидения, посрамляет астрологию даже барометрическими способностями морского ежа. «Никакой звездочет, никакой халдей, предсказывающий по звездам воздушные перемены, не учил ежа, но Господь моря и ветров — и в малом животном — положил ясные следы великой своей премудрости». Когда ум морского ежа ставится в пример и урок уму человеческому, натуральная философия начинает чув-

ствовать себя не весело и должна ждать тяжелых дней. И они пришли.

Последняя битва, которую астрологам пришлось выдержать уже над готовой могилой умирающего Рима, была особенно выразительна, так как ее можно назвать эпилогом к покладистой полемике древних и прологом к угрюмой и варварской полемике надвигающихся средних веков, которой орудие не диалектика под небом Эпикурова сада или сводом портика, силлогизм предлагающая и чужой силлогизм вровень приемлющая, но — заученный наизусть и возглашаемый с амво-на и паперти догмат. А за ним стоят опорой и защитой не посылки и доводы, но грозный окрик торжествующей церкви и твердо союзного с ней государства. Это — знаменитая пятая книга «О Граде Божиим» Блаженного Августина. Логическая часть этого грозного труда очень стара и слаба. Августин вертится все в тех же примерах и анекдотах, с которыми нападал на звездную науку еще Карнеад. Разница — разве, что в пресловутом аргументе близнецов место Диоскуров теперь занимают Исав и Иаков. Бесполезно и неуместно изла-

гать здесь длинную полемическую атаку Августина на Посидония, Нигидия Фигула и др. Сила и новизна полемики не в ее частных эпизодах, а в ее тоне, в ее безапелляционной надменности законодательности. С совершенным презрением отталкивает Августин от союза с собой всех прежних борцов против астрологии, которые полемизировали с нею от разума. Цицерон ему столько же отвратителен, как и общие их противники. Августин выходит против астрологии один на один и не рассуждает, не морализирует, а просто глушит ее догмой, равнодушно притворяясь, будто не слышит и не знает возражений. Он очень образован, но образование служит ему только декорацией, скрашивающей течение речи, и, может быть, старой привычкой начитанного студента. Но не в образовании черпает Августин основы свои и не из образования подкрепляет их спорами. Впервые после Катона (тоже весьма ученого по своему веку), астрологи видят перед собой врага, из-под монашеской мантии которого смотрит на них не философ и даже не теолог, но полицейский духовного ведомства. Впервые с неумолимой

силой брошено им в лицо прямое страшное обвинение: вы — атеисты. Впервые смакуется и вбивается в память властей и общества пресловутый текст — «рече безумец в сердце своем: несть Бог». Текст этот, затем, на добрых тринадцать столетий лежит недвижным прессом на европейской свободной мысли и запретительным лаконизмом своим избавляет властные силы церкви и государства от всякой иной аргументации. Наш Достоевский, со свойственной ему глубиной, использовал этот грозный текст в «Братьях Карамазовых», обратив его известным анекдотом Федора Петровича о покаявшемся Дидероте в такую мучительную язвительность, что, право, эту бесовскую сцену можно принять за исторический символ. Читая пятую книгу «О Граде Божием», вы на каждой строке чувствуете, что философия ложится в гроб, а в колыбели лежит и кричит новорожденная цензура, что в этом монахе-критике — семя будущих инквизиторов, что огонь его нетерпимых негодований — первая искра, которая некогда разгорится по всей католической Европе кострами еретиков.

Ученый, но суеверный, наполненный теориями, легендами и предрассудками трех своих последовательных религий, — языческого синкретизма, среди влияний которого прошла его первая юность, манихейского дуализма, с которым он расстался на тридцатом году, и монашеской ортодоксии, — сознательный демономан и бессознательный дуалист, Августин запутался в кругу своих доказательств против астрологии и — как все инквизиторы, кончил тем, что, разрушая авторитет науки, упрочил ее более, чем кто-либо. Он ее проклял, но признал ее наличность и возможность. Он объявил чтение будущего — откровением демонов, но — откровением. Буше Леклерк основательно заключает:

«Это значило отрекомендовать астрологию язычникам, для которых демоны Августина были боги, не отпугнув от нее христиан, которые, как присциллиане (в них-то, собственно, и метил Августин), сокращали области демонского влияния, поселяя на планеты ангелов, а на созвездия Зодиака патриархов, и, таким образом, как бы освещали старую астрологическую утварь, заношенную язычеством, в

новую христианскую пригодность».

Итак, христианской полемике также мало удалось истребить астрологию, как и полемике философской. Более того: католическое христианство не решилось даже обрушиться на звездную науку какой-либо общей, принципиальной мерой. На Востоке церковь держалась по этому поводу довольно нейтрально: рассматривала астрологию, как более или менее спорную часть астрономии, и предоставляла ее личному убеждению каждого, разумеется, в тех ограничительных размерах, которые выработала полемика оригенистов. На Западе авторитет Бл. Августина и борьба против манихеев и присциллиан дали ход и господство идее, что астрология одна из форм магии, идольская религия, для которой боги — демоны, живущие на планетах и деканах Зодиака; мать всех видов чародейства, в приложении к медицине, химии, а вернее сказать, ко всем путям, открытым человеческой мысли и деятельности. Но никогда и никто не решился объявить магию и астрологию пустыми химерами. А потому астрология, вопреки всем полемическим громам, вошла в

средние века, как уважаемая и господствующая отрасль астрономической науки, а эта последняя — как служанка, обязанная доставлять ей данные для ее вычислений. Тайна непобедимости астрологии скрывалась в том, что она, кроме великого соблазна предвидением будущего, имела то громадное преимущество перед всеми почти знаниями древнего мира, что не была голым умозрительным словесничеством, но, хотя и самообманно и криво, имела внешние признаки науки опытной; идущей, хотя по путям ложным и под бременем суеверий, но — как будто к какому-то положительному знанию; работающей над наблюденным материалом, а не над голдой гипотезой. Общество чувствовало, что, из всех доступных ему философских знаний, одна астрология — пусть слепо и неудачно, потому что с глазами, завязанными традицией метафизических догматов и методов, — но, все же, — одна она вертится вокруг да около биологической тайны и ловит природное начало жизни не только словами, но и фактами. То был призрак, более того: призрак искусственный и сочиненный, — но непобедимый,

потому что служебный союз астрономии и вековое опытное накопление давали ему средства к материализации, перед наличностью которой диалектика врагов его расседалась туманами привидений, еще более бледных и бессильных. Призрачность астрологии могли понять и принять только те века, которые осветились настоящим астрономическим знанием. Движением земли и недвижностью солнца Коперник спутал нити астрологической сети, и она обратилась в бессмыслицу. И, как всякий призрак, освещенный солнцем, растаяла с поразительной быстротой. Заклинания церкви и аргументы кафедры шли астрологии только на пользу. Эта удивительная дочь могла погибнуть только от руки своей матери. Обсерватория породила астрологию, обсерватория и убила ее. Тысячи лет философских споров и религиозных преследований бессильны были нанести ей хотя бы одну серьезную рану. Опыт положительной науки спокойно и мирно истребил ее в какие-нибудь сто лет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ

I

Итак, Нерон стал римским государем. Посмотрим теперь, что заключалось в сане, им захваченном? какой объем и какую энергию власти получил он в свое распоряжение? как уравнивались в ней обязанности, если были таковые, и права?

В 27 году до Р. Х. старая аристократическая республика в Риме, уже давно номинальная, официально уступила место режиму, научно называемому принципатом, а по неточному и неудобному для его первого века, но общепринятому определению, выросшему в приблизительных аналогиях позднейшей политической практики, — империей. Уже задолго до того партии работали наперерыв над разрушением старых свобод, выкованных, как железо между молотом и наковальней, многовековой борьбой Рима-села с Римом-городом; кондового местного землевладения патрициев, «отцовских сыновей», с пришлы-

ми населениями безземельного и малоземельного плебса; олигархических привилегий знати, то есть класса богатых и именитых мужиков-мироедов, с вольнолюбивыми стремлениями нового народа, который решительно не желал закабалиться мироедам в ба-траки, но упорно требовал себе от общины земельно-го права и гражданского равенства. В смещениях борьбы этой, с веками, потерялся самый предмет ее. Село давно переродилось в «вечный город», государство-город завоевало Италию, поползло захватом по Европе, перекинулось в Азию и Африку, обвело кольцом Средиземное море и сделало его римским озером. Правящий центр государства-гиганта перестал быть земледельческим и кормился житницами заморских провинций. Войны развили, с поражающей быстротой и в такой же удивительной громадности, институт рабства, и в нем притупился старинный острый интерес к рабочим рукам. Старый спор о пахотях, которых первая граница была уже на пятой миле от Палатинского холма, сделался спором владык мира о системе его хозяйства, о роли в его управлении, о политических пре-

рогативах. Древние свободы, сосредоточенные в руках меньшинства, составленного из знати по роду и цензу, обратились для большинства в несносное иго сословных привилегий, пережитков, обесмысленных переменявшимися временами, призраков, от которых пахло разложением и заразой мертвечины. Конституция общины, выработанная на мирских сходках для прекращения соседских ссор и в интересах мирного крестьянского общежития, вылиняла и одряхла в могучем государстве, сложная система которого, обреченная на великую цивилизаторскую миссию, уже нащупывала ее инстинктом своим и, мало-помалу, идя по военной дороге, перешла в международность. Назревало такое время, что Рим, удушаемый собственной силой, должен был пустить себе кровь. Его чудовищное расширение не могло больше удержаться в узости старо-республиканских форм и требовало решительной, во что бы то ни стало, реформы. Какой? Любовь Рима к республике, конечно, отвечала: республиканской же. Но республиканская реформа, должна охватить державством своим народы от

Атлантического океана до Сирии, требовала, если прикинуть ее на наш современный политический взгляд и опыт, федерального парламента с представительством автономных народов. Для Рима, государства-практика, государства-эгоиста, все торжества и победы которого создались сильным чувством национальности, идея международного представительства была столь антипатична, что даже исконная вражда римлян к власти одного над многими, то есть к монархии, оказалась слабее ужаса государства-победителя видеть на Капитолии своими законодателями и контролерами вчерашних своих побежденных. Рим с отвращением и гневом смотрел даже на то естественное просачивание международности во внутренний состав его, которое после Карфагенской победы обратилось в прилив. Не дождетесь, чтобы считал вас свободными людьми я, который привел вас сюда связанными! крикнул Сципион Африканский в упор новому плебсу, выросшему на полях Карфагенских войн. Ганнибалово вторжение, а затем войны, Македонская и Азиатская, подготовили много элементов для будущего монар-

хического переворота. Разрешили в сражениях, похожих на бойни, старую республиканскую знать, что в остатках ее не могло не повысить самосознания своей аристократической исключительности, должно было дать новые опоры сословной гордости и обострить индивидуальные честолюбия духом военного авантюризма. Воспитали привычку видеть надеждой государства, его спасителем или погубителем, военного человека, полководца. Уронили значение села. Под страшным громом африканского нашествия, оно, естественно, не могло работать, а потому ушло в город и там переделалось частью в солдатчину, которая опытом познала, что война профессия опасная, но выгодная, частью в обывательскую чернь, естественно тоскующую, в трудных заработках, по собственному хозяйству и, в номинальности прав, по фактическому их осуществлению. Создали случайные хищнические капиталы, плутократию и крупную буржуазию, которой понадобилось не правительство-гражданин, но правительство-городовой. Убили мелкое землевладение и способствовали росту латифундий, а в них быстро и

окончательно пало земледелие, заменяясь более выгодным скотоводством. С падением земледелия громадная масса деревенских рабов, оставшись незанятой и не имея чем кормиться, должна была перекочевать в города и села на шею хозяев своих, которые были полными господами их души и тела, но за то и обязаны были их, хотя бы и скверно, как-нибудь питать. Это, с одной стороны, сложило в Риме начало тех нравов, что были изображены ранее в главе «Рабы рабов своих». С другой, заставило рабовладельцев обратить это человеческое стадо, требующее пищи и крова, на новые отрасли труда — создать либо барщину городских промыслов и производств, либо таковую же оброчность. Рабский труд своим дешевым предложением на все спросы ослабил связь и счета привилегированных владельцев с гражданским равноправием свободной бедноты, а размеры и производительность новых плутократических хозяйств нуждались опять-таки в правительстве-стражнике гораздо более наглядной и близкой ощутительностью, чем в правительстве равноправия. После революции Гракхов,

в полуторавековой смене военных авантюристов, авторитет аристократии и сенат, орган его, пали бессильно и позорно. Наследственный ужас к царской власти и справедливая национальная брезгливость к тому, чтобы Рим, владыка народов, единая свободная мощь под Солнцем, перенял обычай варваров, не умеющих жить иначе, как поработившись единому из среды своей, — эти две громадные силы народной психологии встали между Римом и назревшей потребностью в единовласти настолько крепкой стеной, что штурмовать ее открыто не посягнул ни один из бесчисленных политических авантюристов II и I веков до Р. Х., хотя многие из них стояли в самых благоприятных к тому условиях. Рим желал иметь республику — и республику пришлось ему оставить. Но, в течение всего сказанного периода, в быстрой смене народных вождей и любимцев, решительно ни один не довольствуется положением, которое открывает ему старая республиканская конституция, и каждый старается наполнить республиканские формы монархическим тестом, каждый норовит сочинить госу-

дарственный подлог, не нарушающий республиканской видимости, но низводящий к нулю республиканское существо. Поиски монархических прерогатив совершаются в масках продления республиканских магистратур и полномочий. Гракхи мечтают о постоянном трибунате, избавленном от интерцессии товарищей. Марий — о бесконечно возобновляемом консульстве. Помпей — о неограниченном проконсульстве. Сулла, прикрываясь намерением раздавить демагогию и возвратить конституцию к ее правым основам, первый вводит в Рим войска и захватывает, в полном смысле слова, неограниченную власть насильем государственного переворота. Все это ясные показатели, как много в Риме было хорошей привычки к республике, но как мало под привычкой этой оставалось фактических подпор. Старая конституция осилила, в свое время, перерождение из сельского устава в городское положение, но ее растяжимости не достало, чтобы управлять государством с мировыми претензиями. С тех пор, как право гражданства распространилось на всю Италию, уже невозможно было считать толпы,

вотирующие на форуме, истинным народом римским: его объем и понятие переросли их. Август, в сознании этого затруднения, думал ввести по городам и колониям письменную подачу голосов, но его проект оказался неисполнимым. Спасти республику и в сути, и в форме могла только представительная система, но ее древность не знала. Раздираемый междоусобиями, утопающий в крови, жертва авантюры партийной и личной, Рим пошел на компромисс и позволил отнять у себя суть, под условием, чтобы сохранены были формы. Пожертвовал фактом республики, сберег имя и внешность республиканского государства. Тут в особенности сказали свое слово провинции, ободранные центром до седьмой шкуры, до отчаяния доведенные жестоким равнодушием республиканской метрополии к их политическим интересам и материальным нуждам, до голой нищеты истощенные сменой губернаторов, каждый из которых приезжал с единым твердым планом — поправить в течение года свое состояние, расшатанное выборными расходами. «Наши провинции стонут, — восклицает Цицерон, — свободные на-

роды жалуются, все царства мира вопиют против нашей хищности и насилий. Нет столь отдаленного или столь сокровенного уголка до самого океана, куда бы ни проникли наши несправедливости и тирания. Народ римский не в силах далее переносить не войн и восстаний народов, но их воплей и слез». Из чьих уст льется эта яркая тирада человеколюбивого негодования? Увы! Ее произносит далеко не ангел бескорыстия, но господин, который сам, за год своего управления маленькой Киликией, нажил состояние в миллион се-стерциев. И цель его речи — сказать грабителям народов вовсе не «перестаньте грабить!», но лишь — «ты бери, да по чину бери». «Что же, — спрашивает профессор Петров, — подумать о других, менее благодушных правителях? Что подумать о страшном финансовом истощении провинций, когда, кроме этого частного грабежа проконсулов и их чиновничьей когорты, на них лежало все бремя государственных податей, сбор которых сопровождался обыкновенно насилиями публиканов и откупщиков, пытками несостоятельных плательщиков и тому подобными ужаса-

ми?» Провинции искренно рады были принять единого главу, которого власть хоть несколько сравняла бы их, окраинных пасынков Рима, с балованными гражданами центра однохарактерным управлением, в приблизительно, если не совсем, равных ответственностях и правах общего подданства.

Был момент, когда республиканская декорация едва не рухнула. Государственный талант, личное обаяние сверхчеловеческого характера, бесконечная отвага авантюриста-аристократа и любовь обожающей солдатчины подняли над взволнованным хаосом республики гениального узурпатора и тончайшего из демагогов, Юлия Цезаря. Он становится пожизненным диктатором, то есть фактически единым государем, и подумывает уже, как ему определить и назвать эту свою новую государеву власть. Но тут живой бог солдат и плебса встретился с кинжалами «последних римлян»: 15 марта 44 года до Р. Х. он пал среди сената под ударами заговорщиков из партии республиканцев-аристократов. Его приемный сын Октавий, будущий Август, употребил семнадцать лет, чтобы устранить

все препятствия к окончательному торжеству нового режима. Битва при Акциуме, самоубийство М. Антония, присоединение Египта и общая военная ревизия Востока выяснили и Риму, и самому Августу, что долго подготовляемый переворот созрел, и как раз теперь время сорвать его плод, мирно и тихо, без всякого противодействия, напротив, при дружных рукоплесканиях усталого в междоусобицах общества. 15 января 27 года до Р. Х. Август, сочтя, что все пружины государственного механизма сосредоточились в его кулаке, объявил государству «успокоение» и, сложив с себя чрезвычайные полномочия, которыми он был облечен, как триумvir, назначенный к упорядочению республики (*tresviri rei publicae constituendae*), предложил «вручить управление государством сенату и народу римскому».

Конституция Августова «успокоения» — преднамеренная двусмысленность, долго и хорошо обдуманная, искусно разработанная во всех направлениях и постепенно законченная им самим и его преемником Тиберием с твердой выдержкой принципа и духа.

Вся система ее заключалась в усиленном сохранении старых республиканских форм, учреждений и имен, при постепенном монархическом обновлении и вытравлении их содержания и назначения. По-прежнему остаются магистраты, сенат, комиции, но все эти, могучие когда-то, силы совершенно лишены инициативы и самостоятельно действующей власти, сведены на положение государственных статистов. Очень ловко и тонко проведено разделение между титулярной и фактической властью. Сановный класс привык, через вековую историю, к лестнице магистрата и к ступеням ее титулов. Ему оставили и удовольствие хождения по этой лестнице, и титулы, но сопряженные с ними функции, под именами трибунских полномочий (*tribunicia potestas*), проконсульского или цензорского повелительства (*imperium*), ушли к государю и либо обусловили собой, либо расширили объем его абсолютной, постоянной, безответственной власти.

Едва ли нужно говорить, что конституция принципата со временем преобразовалась. Это ясно подсказывает уже имя «Империя»,

которым определяется позднейшая эпоха римского единовластия и которое ходячие представления неправильно распространяют и на первый период его. Конституция принципата постоянно развивалась в духе основного своего начала: к постепенному подавлению, подмену и подлогу республиканских порядков, обычаев и учреждений реформами монархического порядка, мало-помалу искусно и последовательно переместившими в государев дворец всю сумму государственных полномочий. Процесс этот был долог, зыбок и труден. Искать однообразного и точного критерия к определению его на всем его протяжении — от Августа к Диоклетиану — дело сомнительного успеха. Разные эпохи римского единовластия застают его в разных фазисах органического перерождения из номинально-республиканского принципата в абсолютную монархию империи. Но в то же время не следует и преувеличивать значение фазисов, так как их изменяющемуся воздействию гораздо более подвергались, опять-таки формы, нежели общий дух и смысл конституции.

Моммсен установил взгляд на государ-

ственную систему, введенную Августом, как на двоевластие, «диархию», в которой власти государя противопоставлялась умеряющая власть сената. Эта знаменитая теория много и авторитетно обследована в сорокалетней полемике таких ученых, как Герман Шиллер (полный сторонник Моммсена), Карлова, Герцог и Виллемс (диархики, но расходятся с Моммсеном, особенно первый и третий, в некоторых частностях), Миспуле, Мадвиг, Буше Леклерк (опровергают Моммсена, не принимая даже теории диархии) и наш Э. Гримм (критик-примиритель, удачно идущий серединой между крайних взглядов). Буше Леклерк несколько обывательски, но не без остроумия замечает, что теория Моммсена отлично удовлетворяет юристов, каким, по существу, был и, по преимуществу, остался гениальный исследователь принципата, но слишком сложна, как историческое предложение. Дело то опять и опять в том, что диархия Августа и его преемников разнится с абсолютной монархией Диоклетиана очень много формами, именами и словами, но не принципиальным духом и фактическим объемом власти. Диар-

хия Августа — осторожный опыт бальзамирования политического мертвеца. Умный, тонкий, одаренный настоящим историческим честолюбием, жадный к действительно сильной власти и равнодушный к ее звонким именам и внешним отличиям, Август — узурпатор, необыкновенный по такту и хладнокровию. Он сам вырос в конституционных формах и не только умом знает, но и душой чувствует привязанность к ним и потребность в них общества, начиная последнее, быть может, с самого себя: стоял же он первым в официальном списке граждан. Поэтому, его задача — выпотрошить труп республики так, чтобы не осталось ни в черепе мозга, ни в груди сердца и легких, ни в брюхе внутренностей, ни в жилах крови, — ни одного жизненного вещества и органа, — но не исказить черт лица и не нарушить телосложения. Так, чтобы, когда труп, взбрызнутый живой водой, встанет для нового бытия, то люди бы его приняли, и сам бы он себе в зеркале показался как раз, точка в точку, тем самым богатырем, который, с отчаяния в республике, бросился на меч свой в битве при Филиппах. Внутри себя

оживший богатырь чувствует огромную перемену: прежде деятельную жизнь в себе слышал, а теперь — неловкую праздность и томящую пустоту. Но люди и зеркало уверяют его: не сомневайся в себе, ты тот, истинно говорю тебе, — тот самый. Вот твои консулы, вот твой сенат, твои комиции: все твои любимые свободы, все твое древнее политическое право. Правда, появилась новость, которой ты не знал: принцепс, первый сенатор в сенате и первый гражданин в народе. Но именно его-то воле и благочестию ты обязан тем, что разные авантюристы не растаскали твоих свобод, покуда ты лежал мертвым телом. Этот принцепс, хотя выдвинулся силой демократии, но аристократ родом, хороший и честный «республиканец» убеждениями. Он не называет себя «царем», с негодованием отвергает название «господина» (*dominus*), не принял даже пожизненной диктатуры. Ни царь, ни владыка, ни диктатор — просто главнокомандующий, *imperator* войск — он желает, вместо всяких титулов, слыть в государстве, как всякий гражданин, только под своим именем — *Caesar*, Цезарь. Он большой знаток

и любитель старины, которую ты, о, последний римлянин, тоже обожаешь. Поэтому можешь быть уверен, что принцепс не только не обрежет исконных твоих обычаев и учреждений, но еще воскресит для твоего удовольствия множество исконных институтов культа и быта — таких архаических, что ты и сам уже позабыл об их существовании. Словом: ты республиканец, но со всеми выгодами монархиста и без единой неприятной стороны как монархии, так и республики. Итак, живи, благоденствуй и признательно лобызай властную руку, которая возвратила тебе, напрасному покойнику, поспешному самоубийце сдуру, отлетевшую было жизнь.

Этой бальзамировки живого трупа, этого исторического самообмана достало государству на триста лет. То медленно, то бурно погашался государственный фарс величайшего исторического комедианта в смене династий, которые все рождали, в редкую перемежку с государями умеренной власти и сознательной гражданственности, чудовищных деспотов. И каждая очередь смены смывала с Августа живого покойника какое-либо из поли-

нявших притираний старого конституционного рецепта. Следить, как совершался этот процесс, не входит в мою, ограниченную первым периодом принципата, задачу. Читатели, которым хотелось бы подробно ознакомиться с историей развития римской императорской власти, найдут ее, по выбору, в превосходных работах вышеназванных германских ученых, в особенности же у Моммсена и Герцога, а на русском языке — в стройном и внимательном труде талантливой Э. Гримма. Здесь достаточно будет кратко указать предельные столбы трехвекового процесса. Зародыш монархического абсолютизма, зачатый Августом, развился в зрелый и законный организм империи Диоклетиана. Реформа последнего заключалась, главным образом, в том, что этот император уже имел возможность и смелость объявить труп трупом и отказал ему в соблюдении конституционной вежливости, которую, хотя с грехом пополам, считали для себя приличной или обязательной государи более ранних династий. Государственный переворот Диоклетиана, собственно говоря, ничего не перевернул такого, что не было бы уже за-

долго до него перевернуто и отменено временем. Реформа сводится просто к широкой редакционной правке: к исключению из законов и обычаев значительного количества лицемерных «диархических» уловок, изобретенных Августом, и к соглашению формы и содержания власти в ясное и гласное единство. Глава неограниченной монархии заговорил языком неограниченного монарха.

В европейской науке не раз выражалось удивление, что это случилось так поздно, что так долго нельзя было истребить старинное почтенное имя Республики, так трудно было императорам почувствовать себя царями, — назваться же царями они так и не назвались. На эти насмешливые недоумения хорошо отвечает московский профессор Виппер в блестящей своей работе «Очерки истории Римской империи»:

Это вовсе не смешная претензия фактически пригнетенных людей. Те новоевропейцы, которые смеялись над республиканской традицией, сохраняющейся в школе, суде и литературе императорского периода, показали этим только, что сами не избавились от неко-

торых феодально-крепостнических привычек и идей средневековья. Соответствием к царю, тех или dominus, ведь было по понятиям тогдашнего римского гражданина — servus; подданными, т.е. рабами, а не гражданами были в его глазах обыватели восточных деспотий. Не надо забывать, что «римское гражданство» заключало в себе не только материальные выгоды, но и моральное достоинство, в свою очередь закрепленное республиканской традицией: оно между прочим означало свободу от телесного наказания, а властям ставило преграду к смертной казни. Если в Европе XX века есть множество людей еще не достаточно прочувствовавших это право элементарной телесной свободы, то из этого не следует, чтобы в римском обществе 2000 лет тому назад не было реального сознания важности такого права. Культура идет неровным шагом, и кое в чем эти древние, жившие так грубо и неудобно, были пожалуй впереди нас. Наивная политическая вера в Риме утверждала, что был «народолюбец» Валерий, раз навсегда закрепивший неприкосновенность личности римского гражданина,

предоставив осужденным на смерть обращаться к народу за амнистией. Хорошо известны были также старые законы трех Порциев, воспрещавшие пытки, истязания и вообще телесные наказания по отношению к римским гражданам.

II

Из всех обманных средств, которыми Август бальзамировал и раскрасил труп республики, диархия была несомненно самым искусным и могучим. Коварное, полупрозрачное раздвоение власти создавало для державца необыкновенно выгодную неопределенность, в которой бесследно расплывалось и утопало множество монархических обязанностей и ответственностей, без потери или ограничения хотя бы одного монархического права. Напротив: диархия давала государю открытую и поощряющую возможность плодить монархические права по желанию почти беспрепятственно, пока не выростали они в безбрежный деспотизм — власть обращалась в бешеного зверя, подданный в терзаемого скота. За 95 лет, что Римом управляла по Августовой конституции Августова же ди-

настия (27 до Р. Х. — 68 по Р. Х.), «республика» успела разнообразно пережить ужасы Тиберия, Кая Цезаря, Клавдия и Нерона. Имена первых трех достаточно выразительны. Однако четвертый и последний имел же какие-нибудь особые основания хвастаться, накануне самой гибели свой, будто до него государи не понимали, что такое власть, и не умели ею пользоваться. Между тем, диархическая конструкция старой Августовой «республики» не только не была отменена этими тиранами, но, напротив, незыблемым и целым куском пережила и их самих, и междоусобия, которыми ознаменовалось крушение их династии, и стала фундаментом власти для нового правящего дома Флавиев. Документ, из которого мы больше всего знаем о принципе первого века нашей эры, есть *lex de imperio Vespasiani* (закон о правительских полномочиях Веспасиана), известный у юристов под названием «царственного закона» (*lex regia*). Документ этот, найденный в XIV веке вырезанным на бронзовой доске, представляет собой копию сенатского постановления, коим Веспасиану были предоставлены сразу все

права, которые его предшественники получали понемногу.

Лукавая неопределенность верховной власти в так называемом императорском Риме лучше всего выражается тем, что у нее весьма долго не было названия. Она жила и правила без имени, не имея особого титула, вполне ее выражающего, охватывающего цельность ее компетенции. Вместо титула, верховный владыка снабжен целым рядом определений, прибавляемых к его собственному имени. Фамилия «Цезаря» и прозвище «Августа» сперва обозначают его обычную, но никогда не законенную и не наследственную, — так что вернее будет сказать: привычную, — преемственность, а впоследствии, когда настоящие Цезари вымерли, династическую фикцию, указывающую происхождение и непрерывность идеи «государя» в институте римской верховной власти. Уже полвека спустя после Августа, выморочную фамилию и таковой же титул присваивают плебеи Флавии, потом испанские выходцы Нерва, Траян, Адриан и др. В ум стучатся, конечно, аналогии новой истории. Преемники угасшей Августовой дина-

стии, наоборот, старательно отстранялись от ее кровного родства и традиций, но воспользовались фамильными прозвищами первых державцев Рима, чтобы показать свою духовную связь с конституцией, которая положила начало державству. Фамилия и титул Октавия Цезаря Августа обратились в характеристику колоссальной власти, которую он сам не хотел назвать, а преемники либо тоже не хотели (Тиберий), либо не умели (Кай Цезарь, которого успели убедить, что титул «царя» — $\gamma\epsilon\chi$, βασιλευς — для него слишком низок), либо не смели или не успели (Клавдий и Нерон). Но все пятеро понимали объем и характер своей безымянной власти в совершенстве и умели пользоваться ею широко и глубоко.

Однако в фамильных эпитетах этих «Цезарь» и «Август» заключалось и некоторое ограничение власти. А именно: как преемники величайшего патрицианского рода Юлиев, все, приемлющие имена эти, должны были быть патрициями. Те, которые по рождению своему не были таковыми, как Веспасиан и многие в позднейших веках, получали это звание сенатским постановлением. Иначе,

глава государства не мог бы быть, вместе с тем, первосвященником, pontifex maximus: то есть главой государственной религии, президентом верховной жреческой коллегии и министром духовного ведомства. Номинальным, конечно, так как понтификат свой императоры всегда правили через заместителей, promagistri.

Наоборот, патрицианство государя, казалось, отрицает возможность для него трибунских полномочий. Между тем, именно они-то, potestas tribunicia, возобновляемые из года в год, являются истинной и главной силой государя: оградой его неприкосновенности и орудием его всемогущего и всеведущего контроля. Один из самых значительных и талантливых исследователей принципата, тюрбингенский профессор Эрнст Герцог, отрицает большую важность трибунской власти в общем составе власти принципата. Но в основных источниках нет недостатка в свидетельствах, что сами Цезари, по крайней мере настоящие первые Цезари, Юлии-Клавдии, видели в трибунской власти палладиум принципата.

Август придавал такую важность передаче

ему трибунских полномочий, что день, когда она свершилась, 27 июня 23 года до Р. Х., значится на его монетах и памятниках, как начало его правления. Единственно о власти трибунской поминает он в знаменитом своем политическом завещании — важнейшем из документов истории принципата — в храмовой надписи, известной под именем *Marci* или *Monumentum Ancusgarum*, и хвалится, будто не имел власти больше своих трибунов-коллег. В 22 году по Р. Х. родственник правящей династии, М. Силан, сделал было даже попытку вытеснить старое римское летоисчисление по консулам летоисчислением по держателям трибуната, то есть по принципсам. Но республиканские традиции, как всегда, более цепкие за имена, чем за дело, не уступили новшеству принципата, хотя предложение М. Силана было поддержано даже одним из консулов того года, хотя этот самоотверженный Гатерий предлагал занести сенатское постановление о том на золотую доску. Консульский счет годов уцелел, а трибунский не приivilся. Даже и указы римских государей помечались именами консулов, что, впрочем, мог-

ло тут иметь значение не только хронологическое, но и контрастирующие высшего республиканского магистрата.

Третье определение римского государя — император, *imperator*. Это звание, соединенное с проконсульскими полномочиями, обозначает в государе главнокомандующего армией. Сверх того, он консул, цензор, отец отечества (*pater patriae*) и, со времен Траяна, проконсул. Он отмечен теми же знаками, что и высшие магистраты, — ему присвоены тога претекста, военный плащ из пурпура (*paludamentum*, порфира) и меч, право носить который он сохранял и в Риме, караульное кресло или трибунская скамья (*subsellium*), сперва двенадцать ликторов, потом двадцать четыре, с лавровыми связками, и лавровый венок.

Хаос званий верховного римского владыки — только кажущийся, потому что коллекцию их Август собирал с выдержкой и не только по мере возможности, но и по мере надобности, не горячась, не жадничая и не спеша. Бывали случаи, что он и Тиберий сами укорачивали предлагаемые им властные пра-

ва: вместо пожизненного принимали только десятилетие, либо даже переизбрание в годовой срок, отклоняли почести и титулы, которые подносила им знать, но которые могли не понравиться народу, и т.д. Но в подобных отказах Цезари никогда не проигрывали, а всегда выигрывали. Они выжали из государственных магистратов весь существенный сок и оставили только корки. Поэтому, в мнимом хаосе своем, их звания и привилегии комбинированы в последовательном и логическом накоплении.

Силы, которые Август утягивал у государства одна за другой, он передал своим преемникам всей совокупностью, сложившейся, сама собой, очень ловко и жизнеспособно. Все звенья и силы как будто в противоречии между собой, а в действительности отлично рассчитаны, чтобы друг друга поддерживать. Опорными точками в движении и деятельности римской верховной власти выделяются из выше перечисленных три коренные полномочия:

1. Власть трибунская,
2. Imperium (повелительство) проконсуль-

ское, обер-команда.

3. Высший понтификат.

Совершенно аномальное сочетание трибунских полномочий со званием патриция, стоящим с плебейским институтом трибуна в историческом взаимоотношении, было одним из самых смелых нововведений Юлия Цезаря.

Только такой исключительный любимец народа мог провести этот политический парадокс, в котором демократия отреклась в пользу демагога от самой себя: сдала, веками выработанную, коллективную самозащиту в руки единичного политика, происходившего из того самого, принципиально враждебного, сословия, именно против которого коллективная самозащита и сложилась.

Юлий Цезарь перенес на особу державца величайшее государственное «табу» древнего Рима, — живое и деятельное табу, способное и очень усердное распространять от себя новые властные табу порядка законодательного и исполнительного. Не надо думать, что облечься трибунской властью для римского государя значило то же самое, что быть трибу-

ном. Он не сотоварищ коллегиального трибуната, но обладает его свойствами и силами в мере высшей, чем сам трибунат. Его запретительное право (интерцессия) распространяется и на трибунов, но трибуны не имеют запретительного права на него. Трибунская власть — расширяющее уподобление, но отнюдь не тождество власти трибуна.

Имя указывает источник, откуда взят образец и характер новой государственной прерогативы, но оно гораздо уже ее содержания. Если римский государь — трибун, то трибун с расширенными и преувеличенными правами (особенно в главнейших и действительнейших полномочиях отрицательной их части) и без всякого сословного обязательства и риска.

Получив трибунскую власть, Юлий Цезарь сделался заклятым и неприкосновенным (*sacrosanctus*) и положил руку на право интерцессии, без ограничения сроком и пространством. Август, по примеру Цезаря, переименовал в 36-м году свое звание триумвира — одного из трех, уполномоченных к упорядочению республики (*tresviri reipublicae*

constituendae) — на пожизненные трибунские полномочия. Позже (в 23 г. до Р. Х.) он нашел более надежным возвратиться к старому порядку их ежегодного возобновления, через официальное признание и утверждение сроком на один год. Таким образом, римский государь окончательно уподобился непрерывно избираемому трибуну над трибунами: — без ограничений, которые заключали власть обыкновенного трибуна в тесный круг Рима, да и в его пределах ее обуздывали, и даже без обязанности личного присутствия в столице, потому что, отсутствуя из Рима, государь оставлял за собой право пользоваться своими прерогативами через своих делегатов. Государь-трибун становится символом правовой совокупности, по которой живет народ, живым воплощением его самозащиты в области внутренних дел, — не только от борьбы сословий и состояний, но можно сказать: защиты народа от самого народа. Именем трибуна, он — государь демократии. Собственно говоря, это — символическое воплощение тех легендарных мужицких царей, если не демократов, то демагогов, роман об изгнании ко-

торых связан с самым основанием римской республики. Защитительной замены их суррогатом трибунского института плебс потребовал от патрициев уже в первых годах народоправства и добился ее знаменитой первой «сецессией», то есть всеобщей забастовкой в форме выселения на Священную Гору. Идею такого государя Моммсен, как убежденный демократ-империалист, считает национальной римской идеей. Тринадцать веков спустя после Августа, Кола ди Риензи, восстановив на короткое время, под именем республики, несомненный принципат, справедливо не нашел более выразительного и полного титула в символ своей новой власти, как «трибун римского народа».

Читатель, быть может, замечает, что, говоря в этой главе о представителях верховной власти в Риме, я обозначаю его лишь общими, неопределенными именами: государь, верховный правитель и т.д. Это очень затрудняет меня в изложении, но до тех пор, пока не будет выяснена и усвоена общая идея принципата, я старался избегать ходячих титулов, которых безразличное употребление

привычкой позднейших веков, с толкованием вчерашнего дня нынешним, затемнило в истории и сказанную общую идею и ее осуществительные формы. Я не могу употребить слова «монарх, монархия» там, где предомной наглядная диархия, там, где основатель конституции сам употребляет слово «монарх», как последнюю политическую угрозу: — Я не отдам государства в руки черни, ведомой авантюристами, «хотя бы мне десять тысяч раз пришлось умереть или даже сделаться монархом» (Дион Кассий). А слова «диарх» нет в русском языке, и я не берусь предложить его в неологизм, так как не слышу и не чувствую в нем полноты и точности. Не могу я довериться и таким определениям, как «царствовать», «царствование», «воцарение», «сесть на престол», «престолонаследник» и т.п., потому что их этимология выражает идею единовластия не только не римскую, но антиримскую, и порождает опасные фикции, которых в нашем вопросе и без того так много, что лучше их сокращать, а не умножать. Одной из таких сбивчивых фикций, которую мы должны разобрать, являются

ся слова «император», «империя». Они в общезнании, в художественной литературе, а иногда и в научной, применяются без разбора ко всем римским государям, начиная с Августа, гораздо шире, чем позволяют истинные условия их возникновения и развития.

Слово *imperator*, в общем смысле, значит повелитель, начальник; например, даже *imperator histrionum* — директор труппы актеров, режиссер. В государственном смысле, первоначально императором зовется всякий римский магистрат, которому дается повелительство, *imperium*. Этим термином обозначалась в республиканском Риме всякая определенная власть, облеченная в сфере своего назначения широким правом независимой инициативы, ограниченным лишь апелляцией к народу (провокацией).

Она сопрягалась или с высшими правительственными должностями (консулы, преторы), или с управлением особой частью (главнокомандующий армией в военное время), или с специальным государственным поручением (широчайший пример этого третьего вида — при диктатуре; более узкий — в

проконсульстве, в пропреторстве, в некоторых специальных миссиях, которыми, по надобности, облакались даже частные лица). Глядя на компетенции магистрата, которому давалось *imperium*, оно имело степени: *maius imperium* — консулов; *minus imperium* — преторов; *imperium finitum* — наместническое повелительство в пределах управляемой провинции; *imperium infinitum* — в специальных поручениях, не ограниченных территориальным пространством, как было оно дано, например, Помпею во время войны с пиратами: род частной диктатуры, которую можно сравнить с полномочиями в русском XIX веке Муравьева в Литве, Ермолова, Воронцова и Барятинского на Кавказе, Кауфмана в Средней Азии и т.д. К концу республики характер *imperium*, первоначально безусловный, включительно до права казнить граждан смертью, значительно смягчился и, в гражданской части управления, свелся к праву карать тюрьмой и налагать штрафы в административном порядке. В военном ведомстве *imperium* сохранилось за высшим генералитетом, с правом смертных приговоров для солдат, но

только в военное время.

Imperium militare, развиваясь на почве армейской дисциплины, упрочилось двумя корнями: через народный закон, которым генерал облакался в полномочия главнокомандующего (*lex curiata de imperio*), и через солдатский обычай — подносить титул императора своим победоносным генералам, на полях выигранных ими сражений. Это, в громадных размерах, то, что в современных отрядах военного действия представляет собой получение военного ордена, солдатского Георгия, «по приговору роты». Как император по закону, так император по обычаю оставались императорами, конечно, только до возвращения в Рим, где они, согласно конституции, превращались в обыкновенных граждан. Однако, солдатский император по обычаю — не пустая кличка: она давала право требовать триумфа. Итак, и по закону, и по обычаю, военный император, в конце республики, есть генерал-аншеф, командующий отдельной частью действующей армии. Слагая свои полномочия, он слагает и свой титул.

Юлий Цезарь, множество раз облеченный

в *imperium*, как главнокомандующий в разных войсках республики, и часто приветствованный титулом императора на полях битвы в Галлии, Германии, Британии и т.д., привык к постоянству этого звучного и властного выборного титула, выразительного для исключительно громадных полномочий, которые он умел поднять на степень, действительно, монархической власти, и в то же время коренного республиканского, плебисцитного, не возбуждающего в свободном народе тех ненавистных подозрений, как *lex, dominna* etc. Сенат поднес ему этот любимый титул пожизненно. То есть — учредил несменяемость главнокомандующего армиями и флотами. Чтобы отметить, что он принял «императора» не в том смысле, как доступно всякому удачливому генералу, но в смысле постоянного и неперменного главнокомандующего всеми военными силами государства, Юлий Цезарь начал помещать титул впереди своего имени, тогда как другие республиканские императоры ставили его сзади. Август получил императорский титул того же типа (с несменяемостью и пожизненностью) в 39 г. до Р. Х. — за

три года до своей конституции. Что император в титуле Августа совсем не обозначает верховной государственной власти, что он не император — не только в современном общепринятом смысле, как императоры российский, германский, австрийский, но и в том, как именовались императорами выборные абсолютные монархи Рима, начиная с Диоклетиана — и даже императоры второго и третьего христианского века, уже Антонины и, в особенности, Северы, — это ясно следует из того, что титул не был оставлен Августом в свое исключительное пользование. Победоносные генералы продолжают получать его даже и при преемнике Августа, Тиберии. Последним таким полевым императором был в 22 г. по Р. Х. проконсул Африки, Юний Блез, победитель нумидийского шейха-разбойника Такфарината. «Это была старинная почесть для полководцев, которые после успешного окончания войны, среди радости и энтузиазма одержавшего победу войска, оглашались общим криком. Бывало несколько императоров в одно время, но никто не был выше других. И Август допустил для некоторых лиц

этот титул, а теперь и Тиберий для Блеза, но в последний раз» (Тацит). Упразднение Цезарями императорского титула для остального генералитета объясняется тем, что он именно — остальной. Раз Цезарь — главнокомандующий во время войны и мира, остальной генералитет не более, как его субалтерны, подручные и заместители, воюющие — по факции, оформленной в порядке государственной религии — «под его ауспициями» {15}. На этом основании Цезари отобрали у генералов своих обряд триумфа, смягчив это лишение утверждением многочисленных соответственных знаков отличия (*insignia triumphalia*), — отобрали и императорский титул *per acclamationem*. Отныне побеждать будет Корбулон, а триумф и звание императора достанется Нерону. Затем: титул «императора» (*imperatorium nomen*) разделяют даже и в позднейшие века не только соправители и наследники государей, но и многие принцы, которым он даруется милостью главы государства. И это обозначает далеко не то же, что в настоящее время «императорское высочество», «*altesse imperiale*», «*kaiserliche Hoheit*»,

«altezza imperiale»: не только близкое родство с правящим домом, но и, так сказать, осенение принца благодатью *impregium*'а, перехода на него, по поручению или доверенности, доли императорской власти.

Вот причины, по которым я не могу согласиться с мнением, принятым Любкером и множеством других, будто со времени Августа «император» сделался равнозначащим «принцепсу» (*princeps*) или Цезарю. Императора в это время — по крайней мере, на столет вперед — быть не могло, потому что не было империи, а были только *imperia*: разные виды государственной власти (*imperia gerere* значит — занимать высшие государственные должности). Из них наиболее развитую и важную, главное командование войсками, Цезари, конечно, забирали себе, но она далеко не исчерпывала объем их власти, а следовательно, не могла быть и ее выразительницей. Цезари-императоры не позволяли величать их этим военным титулом иначе, как на походе. Из преемников Августа Тиберий и Клавдий никогда не пользовались императорским титулом иначе, как в вышеизъяс-

ненном смысле «главнокомандующих». Их медали и монеты не выставляют «императора» на первое место в титуле (*praenomen*), как делал Юлий Цезарь, — напротив, император всегда на последнем месте: *Tiberius, Claudius, Augusti, Filius, Augustus, Pontifex, Maximus, Tribunicia, Potestate, Imperator* и год правления.

Что касается титула *princeps*, то есть «первый», его происхождение связывало римского государя с верховным правительственным органом республики: с коллективом сената. *Princeps senatus* значит совсем не глава сената, как иногда переводят, но первый, внесенный цензорами в сенаторские списки, и первый в очереди сенатских прений и подачи голосов. Почетное место сенатора-старосты, независимое от возраста, породы и политического положения тех, кому оно отводилось. Сила чисто морального характера, символ признанного государством уважения к личности, возвеличенной общественным мнением. Отсюда они — *princeps civitatis, principes Romani nominis*, первые в общине, первые римляне. Словом, это — красный угол сбор-

ной избы, излюбленный человек, которому община предлагает «сесть под богами». Обыкновенно цензоры назначали принципсами сената своих предшественников по цензуре. Таким образом, *princeps senatus* в республиканском Риме менялся каждый люстр (в конце республики — пятилетие). В 28 г. до Р. Х. Август ставит свое имя во главе списка сенаторов и, таким образом, оказывается принципсом сената. Естественное сенаторское обращение к первому в своей организации — «ваш принципс», *princepnoster* — Августу понравилось. Гражданский смысл титула был удобен к тому, чтобы войти во всеобщее употребление. Определение «*senatus*» отваливается и остается просто *princeps*, который обычаем начинает изъясняться уже не как первый в сенате, но как первый из граждан. В административном значении *princeps* может быть переведен, как главноначальствующий «гражданской частью республики», а в общезжитии принимает демократический смысл выборного правителя, государя народной волей. Это как раз было на руку Августу, который все усилия употреблял, чтобы показать,

что он порвал связи со своим военным прошлым, и смотрит на свое государево дело, как на охрану гражданственности и силы законов, а отнюдь не намерен обращать его в вооруженную авантюру постоянной войны с «внутренним врагом». «Штатский» звук «принцепса» успокаивал людей прошлого, что республика не пала жертвой военного захвата, не стала добычей узурпатора-тирана, а перед людьми будущего ручался за упокоение междоусобий, которого они жадно желали, и за отказ верховной власти от предпочтения военщине, которое общество, за предыдущий век, жестоко истомило. И, наконец, в этом титуле были слышны даже останки старо-республиканской традиции, память первобытной мужицкой знати. Как хорошо отмечает Вишпер: «в имени принцепса остался еще известный социально-аристократический оттенок. Зваться принцепсом по преимуществу звучало приблизительно так же, как в XVIII в. быть первым сеньором, первым дворянином в своем государстве».

Когда Август умер, народ хвалил его за то, что он, 21 раз провозглашенный императоро-

ром, не навязал республике ни царства, ни диктатуры, но правил ею под титулом принцепса. То же самое приходится сказать о тех из преемников Августа, которые не лишены были конституционного смысла и желания если не быть, то казаться закономерными. По словам Диона Кассия, Тиберий прямо определил свою власть формулой тройственности: «Я господин своих рабов, император солдат, принцепс (принципс) остальных». Все они остерегались титула император (автократор), как распространяющего на свободное государство опасное начало военного самодержавия, и, верные традиции Августа, крепко держались за гражданский строй и имя принципата. Любопытство, что в титуле «принцепса» мы, по-видимому, имеем дело превращения обычая в закон без санкции государства. По крайней мере, науке неизвестен акт, которым бы узаконялся этот титул, столь постоянный, а иногда прямо таки подчеркнутый у писателей, напр., у Тацита, и в надписях. Особенно в моде, по указанию Моммсена, был он при Тиберии, что дает Герцогу повод думать, будто Тиберий хотел сделать его официальным.

Гримм опровергает предположение Герцога на том основании, что именно в эту же эпоху словоупотребление современных писателей, Веллея Патеркула и Валерия Максима, ясно показывает, что *príncers* еще только вырабатывался, но еще не специализировался в значение государя. Оба они называют принципсами множество выдающихся и влиятельных деятелей республиканского периода, не придавая тому правительственного смысла. Некоторые из принципсов Веллея даже не были принципсами сената. Таким образом, мы присутствуем здесь при процессе, как обычное почетное республиканское имя сузилось с многих на одного и, в сужении, выросло властным значением до владыки государства. Собственно говоря, тот же процесс переживало и русское слово «государь», которое в XVII веке было общеупотребительным обращением к боярству, хотя искони значилось в царском титуле. Восемнадцатый век мало-помалу вытеснил это ходячее словоупотребление из языка официальных отношений и образованного общества в простонародные слои, где оно, однако, преспокойно дожило даже до по-

следних лет крепостного права, да, пожалуй, и сейчас еще звучит в какой-нибудь глуши, как, местами, звучит «боярин» вместо общепотребительного «барин». Но, во всяком случае, в общественном распространении, слово «государь» — конченное и умирающее; от него только уцелел «милостивый государь» в письмах, да архаический пережиток «государь мой», в современной литературе употребляемый почти исключительно в целях иронических. Подобно римскому принцепсу и совершенно тем же обычным порядком сужения, «государь» отобран у общества дворцом XVIII и XIX века и сделался специальным обозначителем носителя верховной власти. Понятно, что параллель эта годится лишь для римской эпохи, которую мы рассматриваем. Зыбкость слова «принцепс», никогда не утвержденно официально, законодательным актом, способствовала этому титулу, едва он успел сложиться от многих к одному, начать обратную эволюцию от одного к многим. Сперва его начинают получать наследники верховной власти и члены правящего дома. Затем развитие военной монархии совершенно вытесняет его

естественным для нее преобладанием титула императора. Уже Пертинакс должен был комментировать его для народа, воскресив старую прибавку: *princeps senatus*. В феодальные века *princeps* долго жил в романских народах общим именем самостоятельного государя (*il Principe* Маккиавелли), покуда не распался в общий княжеский титул.

III

Трибунские полномочия, заключающие в себе совокупность гражданских прав, вручались государю законодательным порядком и лишь по торжественному приятии им верховной власти. Не так было с проконсульским повелительством (*imperium*). Оно принадлежало государю фактически и юридически с момента, когда сенат и народ провозглашали его повелителем, *imperator*. Проконсульская власть подразумевается таким образом, как составной элемент, уже в самом избирательном на государство акте, каков бы он ни был. Ясно отсюда, что вручение государю проконсульского повелительства не могло быть подчинено какой-либо правильной и однообразной процедуре. Государь получал

проконсульскую власть в тот момент, в том состоянии, как застигало его избрание. Он избран — *eo ipso* — осенила его проконсульская власть. Моммсен пытался найти специальную и постоянную процедуру момента этого и восстановить ее в единство. Великому обобщителю, конечно, удастся это искусственный опыт. Но ему пришлось обставить почти каждый исследованный им случай такой массой исключений и особенностей, что, чем принять такое сложное и зыбкое единство, лучше поверить, что никакого единства не было.

Проконсульство есть заместительный магистрат (промагистрат) высшего порядка. Собственно говоря, слова «проконсул», взятого всеми европейскими языками с французского *proconsul*, в древности не было. Было два слова: *pro consule* — за консула, вместо консула, — по тому же образцу, как *pro praetore*, *pro quaestore*, *pro magistratu*. Промагистрат этот был облечен повелительством консульского разряда (*imperium consulare*). Проконсулам вверялось или командование действующей армией или управление провинциями, в особенности теми, которые предполагались не

вовсе замиренными или, по окраинному своему положению, требовали сильного военного гарнизона. Уже начиная с четвертого века до Р. Х. (первый проконсул Кв. Публилий Филон в 327 г.), сенат обращает проконсульство в средство сохранять при команде хороших боевых генералов. Первые проконсулы избирались плебисцитом. В последнем веке республики Сулла установил, что консулы и преторы должны постоянно пребывать в Риме; это нововведение сдало провинции всецело в руки промагистров: проконсулов и пропреторов. Помпеев закон (52 г. до Р. Х.) ограничил право консулов, кончивших срок свой, замещать проконсульские посты ранее промежутка в пять лет. Через это, вместе с размножением провинций, проконсульский институт, — имевший ранее окраску удержания у власти окончивших ее законный срок, но необходимых государственных людей, либо почетного пенсионата их через специальную военно-административную миссию, обратился в простой вид высшей, смешанной, военно-гражданской бюрократии, в класс привилегированного чиновничества для особо-важ-

ных государственных поручений, в институт вицеройства. В то же время пал и выборный порядок их назначения. Проконсул, в эпоху введения принципата, — государственный наместник с неограниченными местными полномочиями жизни и смерти над всеми народами или командами, входящими в его управление, кроме римских граждан, владыка местной войны и мира. Это, если искать разъяснительных параллелей в ближайшей истории, будут опять-таки Ермолов, Воронцов, Барятинский на Кавказе, Муравьев в Литве, Кауфман в Ташкенте. Это власть военного положения, и страна, в которой она держится, почитается в Риме не совершенно мирной, нуждающейся в исключительном правительстве особых охран. История ужасов хищничества и жестокости, которые проконсульская власть вырастила на почве этих суровых предубеждений и своих широких полномочий, общеизвестна. Я уже упоминал, что злоупотребления проконсульской власти и ненависть к ней провинций были одной из главных причин, почему принципат был приветствован во внеиталийских народах, как

надежда лучшей жизни, и всюду легко отстранял старую республику и был популярен в Греции, Азии, Египте, даже в лице таких государей, как Клавдий или Нерон.

Подобно тому, как принцепс облечен трибунскими полномочиями, но он сам не трибун, так точно он облечен проконсульским повелительством (*imperium*), но он не проконсул. Только Траян нашел нужным прикнуть себе этот провинциальный титул. В эпоху принципата проконсулами назывались начальники десяти сенатских провинций. Генерал-губернаторы Азии и Африки числились в консульском ранге и имели право на ликторский выход с 12 связками; остальные в ранге преторском, с выходом в 6 связок. Проконсульская власть принципата разливается над ними и между ними без ограничения пространством и является как бы высшим контролем сенатских провинций. Хорошо известно учение Моммсена о принципсе-императоре, как «чрезвычайном магистрате» римской республики. Этот взгляд именно здесь хорошо и наглядно оправдывается — в проконсульской власти. Мы видели выше, что, по

существо своему, каждый проконсул есть «чрезвычайный магистрат». Император же есть совокупность, слитность, дух, символ и стража этой чрезвычайной магистратуры.

Власть проконсульская принималась принцепсом пожизненно и распространялась на все государство, не исключая самого Рима. Это новость, потому что, в прежнее время, проконсулы лишались своих полномочий и становились частными лицами в уровень обыкновенных граждан, как только переходили черту pomerium'a. Теоретически так оно и осталось. Глава государства, и в принципе, считается проконсулом лишь провинций и, обыкновенно, очень осторожно относится к этому титулу. Первый, кто позволил себе удержать его и для города, был Септимий Север, но еще о Траяне, стало быть, полтора столетия спустя после августовой конституции, мы знаем, что он носил сан проконсула лишь вне Рима. Фактически же — уже при Тиберии вошла в Рим преторианская гвардия, а при Севере проникли в Италию легионы. Все солдаты — государевы и на имя государя приносят присягу. Провинциальные проконсулы не бо-

лее, как его наказные атаманы. Таким образом, ему одному принадлежит право призывать страну к рекрутскому набору, производить офицерство в чины, определять размеры жалованья и раздавать награды, объявлять войну и заключать мир. И, наконец, это проконсульское повелительство содержит в себе также и повелительство консульское и преторское, то есть высшую инстанцию суда, как гражданского, так и уголовного. А со времени исчезновения цензуры, также, после Домициана, и полномочия цензорские.

IV

Ни цель, ни размеры моего труда не позволяют мне остановиться здесь с должной подробностью на важной полемике Моммсена и Карловы о способе получения принципом проконсульского повелительства. По взгляду Моммсена, *imperium proconsulare*, «строго говоря, не даруется; им завладевают, как республиканским титулом императора, по приглашению сената или по приглашению войска». Этот взгляд — читатель вспомнит — принят и в моем труде, за исключением «приглашения войска», которое кажется

мне несообразным с эпохой — уже номинального и усыпленного, но еще сильного или, по крайней мере, уважаемого и опасаемого, в соответствии живучести своей, народоправства. Карлова, а за ним Виллеме и Гардтхаузен, определяют юридическим базисом основных полномочий принцепса тот специальный закон о повелительстве (*lex de imperio*), пример которого дошел к нам от времен Веспасиана. Все остальные прерогативы верховной власти, для названных ученых, либо истекают из сказанного закона, принимаемого народом и публикуемого сенатом, либо его окружают и дополняют.

Оставляя в стороне спор о путях, я возьму лишь их несомненные результаты, выражающие собой как раз верховную власть эпохи «Зверя из бездны». Какого бы повелительства символом ни был *lex de imperio Vespasiani* — специально и особо государственного или смешанного проконсульско-трибунского — ясно одно: он суммирует, в лице преемника Юлио-Клавдианской династии, все верховные права, которые она добыла себе от римского народовластия и, следовательно, все права, ко-

торами облечен был последний государь первой династии, принцепс Нерон.

Вот эти прерогативы в последовательном исчислении Карловы:

1. Исключительная обер-команда всеми войсками государства, как за чертой, так и в черте померия.

2. Право объявлять войну и заключать мир, союзы и договоры.

3. Право земельного вознаграждения ветеранов через ассигнационный фонд (*assignatio agrorum*).

4. Право даровать peregrinam латинское и квиригское право, муниципиям право колоний и пр. посредством *leges datae*.

5. Права собственности над провинциями государева имени (*provinciae Caesaris*) и управление ими.

6. Право расширять границы померия.

7. (Вероятное) право созывать комиции.

8. Право созывать сенат, делать доклады не в очередь (преимущественные, и по несколько в одно заседание), производить голосование и т.д.

9. Право рекомендовать кандидатов при

выборе магистратов.

10. Широкое *jus edicendi*: право указов, сохраняющих силу, покуда остается у власти магистрат, — *ergo*, при пожизненности полномочий и повелительства, коими облечен принцепс, также ему пожизненных.

11. Неограниченная уголовная юрисдикция.

12. Высшая юрисдикция по гражданским делам.

13. Финансовые полномочия.

14. Льготы от действия некоторых законов, возрастные льготы для занятия государственных должностей, послабления строгостей брачного права и тому подобные. Как хорошо выяснил и Моммсен и Гримм, это правило играло роль преимущественно в области гражданского права. Каждый принцепс выговаривал себе льготы от законов, нужные ему по времени и обстоятельствам, а *lex de imperio* его преемника переносил на последнего льготы предшественника. «Да будет император Цезарь Веспасиан свободен от тех законов и плебисцитов, в которых сказано, что ими не связываются божественный Август или Тибе-

рий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август». Конституционный характер закона ярко подчеркивается тем обстоятельством, что в нем не помянуты узурпаторы — ни Кай Цезарь, ни Нерон.

Затем:

15. Проконсульское повелительство: власть над сенатскими провинциями.

16. Трибунские полномочия: неприкосновенность, право запретное (*intercessionis*), право поддержки правительственных инициатив (*jus auxilii*), право (*jus coercitionis*).

17. Верховный понтификат и другие са-кральные должности.

По этому отделу власти принцепс становится председателем верховной жреческой коллегии, хозяином священного архива римской республики, контролером всех обрядов и установлений культа, главным редактором сибиллиных книг (политическую важность права на их толкование Август использовал для *ludi saeculares*). Словом, в духовном ведомстве он такой же полномочный начальник, как в войсках генерал. И если *imperium proconsular* дает ему возможность казнить

смертью своих виновных офицеров, то jus sacrum, священное право, позволяет ему закопать живой в землю виноватую весталку (Буше Леклерк).

Огромно сильная и всеобъемлющая власть эта оставляла в системе своей лишь одно династически слабое место, пробелом которого Рим, даже под властью самых беспощадных деспотов, ускользал от самодержавия в течение почти трех столетий: это военное государство отрицало принцип наследственности. Он был так противен римскому духу, что не ужился ни с одной эпохой римской истории. Подобно легендарной царской власти первобытного Рима, новая верховная власть, в период ли принципата, в период ли империи, всегда была и осталась избирательной. Римский государь мог только мечтать о своем наследнике, но никогда не мог быть уверен, что им будет именно тот, кто ему угоден. Особенно в ту эпоху, которую мы изучаем. Наследник верховной власти в Риме не более, как наиболее вероятный, потому что рекомендуемый самим государем, на нее кандидат. Фактически это не что иное, как высшая

претензия той коммендации, право которой Карлова, мы видели выше, ставит под № 9 одной из прерогатив верховной власти принцепса. Высшая, но — не прижизненная, а потому и не имеющая сильных средств к осуществлению. Государи, начиная еще с Августа, мечтают обратить власть в правильное семейное наследство, но ни одному из них не удается уничтожить противодинастические случайности, которые, при всем своем разнообразии, так постоянны в результатах, что очевиден их фатальный, а не катастрофический характер. Они врываются в династическое строительство, подобно обновляющим бурям, — и, в конце концов, у Рима были излюбленные фамилии, членам которых преимущественно и предпочтительно доставалась верховная власть, но не было ни одной правящей династии в строгом смысле этого слова, как его знал древний Восток и узнала средневековая и новая Европа. Впоследствии принцепсы нашли способ отчасти парализовать непредвиденные случайности властнаследия тем, что предполагаемого своего преемника они не только объявляли и наделяли

выразительными символическими титулами, — это, повторяю, сообщало ему лишь привилегию государева кандидата, — но, еще при жизни своей, вводили его в соправительство и, таким образом, давали ему средства заручиться властью, на которую, как уже привычную для народа, потом не так-то будет легко посягнуть соперничающим претендентам. Начал эту дрессировку государства на мирную узурпацию еще Август, но ему страшно не везло в ней; все, кого он сделал товарищами своей власти (Агриппина, Марцелл), все, в ком он воспитывал себе прямых наследников (дети Агриппы и Юлии, Кай и Люций Цезари), перемерли, и принципат достался в суровые руки угрюмого Тиберия. Известно горестное начало частного завещания Августа: «Так как жестокая судьба похитила у меня сынков моих Кая и Люция, то пусть уже наследником моим в двух третях имущества будет Тиберий Цезарь». Тит, сын Веспасиана, был уже *particeps imperii* (соправитель), *designates imperator* (облеченный в императорские знаки, непрременный кандидат в императоры), а Домициан, брат его, носил, столь же символически,

ческий в этом смысле, лавровый венок. При отсутствии прямых наследников, государи, чтобы несколько закрепить свой выбор, прибегали чаще всего к усыновлению своих кандидатов. Но, хотя бы и символический, акт этот, все-таки, оставался только частным актом, никогда не утверждал других прав, кроме последствий обыкновенного гражданского усыновления, и не рождал государственных обязательств, хотя мог иметь острые государственные последствия, как мы видели это на примере Британика — родного сына Клавдия, отстраненного Нероном, приемным. Адриан усыновляет сперва Л. Элия, потом Антонина Благочестивого, — оба получили титул Цезарей. Антонин точно также усыновил и объявил Цезарем Марка Аврелия. Сыновья последнего Коммод и Анний Вер в 166 году по Р. Х. уже оба получили титулы Цезарей. С тех пор обычай этот, за редкими исключениями, прочно установился. Марк Аврелий, вообще, уже носил в уме своем идею двойственной власти, которой, в форме территориальной диархии, пришлось таки кончить всемирной римской монархии, два века спустя. Марк

Аврелий первый подал пример искусственно-го соправительства, избрав себе в 161 году официальным императором-товарищем Л. Вера. Образец двойственности дал ему республиканский консульский институт, а может быть, и предания царских легенд о соправительстве Ромула и Тация. Л. Вер имел все императорские титулы, не исключая «Августа». Император- товарищ умер в 169 году, но, восемь лет спустя, Марк Аврелий привлек к империи нового соправителя, в лице своего сына Коммода. С тех пор нераздельность империи, как государства, нисколько не мешала тому, чтобы верховная власть дробилась, глядя по династической надобности, между двумя или тремя титулярными государями. Каракалла и Гета были «Августами» еще при жизни их отца. Единственную из прерогатив власти, которая не поддавалась товарищескому разделу, являл понтификат. Но в 238 году и он сделался общим, по соглашению между Бальбином и сенатским императором Пуниеном, и с тех пор уже не было иначе. Два императора оказались теперь по отношению друг к другу совершенно в том же положении, как

некогда были республиканские консулы: власть не делится между ними, но каждый имеет всю ее совокупность.

Но все эти уловки и приспособления ищущих прочности династий были не более, как обходами принципа. Сам же принцип оставался неизменным, непоколебимым. Принципат вырос в империю, императорская власть выработалась в абсолютную и безответственную, но она не в состоянии была избыть своего первоначального признака временности и чрезвычайности. Те, кто ею владеет, держат ее в пользовании неограниченном, но только пожизненном; тот, кто ею не владеет, не имеет права на нее рассчитывать, как бы ни был он близок пожизненному владельцу. Ее династии — не более, как учащенная и потворствуемая обычаем случайность, а сама она — белый лист, на котором может быть написано имя любого удачника из среды патрициата или даже плебея, облеченного в патрициат нарочным сенатским постановлением.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

САТИРА НА СМЕРТЬ КЛАВДИЯ

Сегодня Клавдия похоронили, а завтра не завтра, но еще в том же году, весь Рим хохотал над ходившей по рукам злобной сатирой на смерть жалкого старика. Беспощадно высмеивая апофеоз нелепейшего из государей римского народа, сатира сулила Клавдию не обожествление, но «отыквление» (Arokolokynthosis) и, после града свирепо-мстительных издевательств над правлением и личностью покойного принцепса, отдавала его на том свете в рабство вольноотпущеннику Менандру, который при Кае Цезаре заведовал в канцелярии принцепса справочным столом (a cognitionibus). Таков — один из древнейших прототипов злополучного аркадского принца, над которым в девятнадцатом веке хохотала публика оффенбахова «Орфея в аду». По всей вероятности, этим порабощением не кончились посмертные злополучия Клавдия, так как о превращении его в тыкву,

обещанном в заголовке сатиры, в ней нет ни одного слова. А между тем заголовок *Arokolokunthosis* установлен за ней издревле, твердо и неразлучно. Очевидно, мы имеем дело лишь с начальным отрывком сатиры, конец же ее, с дальнейшими мытарствами покойного принцепса, безнадежно утрачен. Полная смешных, именно опереточных, оффенбаховых контрастов и неожиданностей, фарсов и острот, быстро и весело развивающая комическое действие, сатира на смерть Клавдия — совершенство в своем роде. Нужен был бешеный взрыв годами накопленной ненависти, чтобы бросить в общество подобную литературную бомбу. Автор сатиры, вышедшей в свет анонимно, явил себя большим знатоком закулисных придворных отношений и несомненным, убежденным неронианцем. Насколько обидны и едки удары его бича по плачевной памяти Клавдия, настолько же сладким голосом воспевает он хвалы молодому и кроткому государю, призванному судьбой сменить безобразного, глупого, злого старика.

Произведение это, обыкновенно, приписы-

вается Сенеке, несмотря на множество мест, крайне странных для языка и пера философа этого, стоящих в прямом противоречии с его тогдашними взглядами и политикой. Я отмечу эти сомнительные места в том вольном переложении, которым я предпочитаю заменить, необходимый иначе, пересказ этого блестящего и важного памятника. Думаю, что к выгоде читателя, так как слышал о «Шутке на смерть Клавдия», или, если хотите, точного перевода: «Игра о том, как Клавдий умер», и содержание знает всякий, кто сколько-нибудь знаком с первым веком принципата и историей римской литературы, саму же сатиру редко кто читал. По-русски она существует в переводе В. Алексеева, вышедшем лет двадцать тому назад, в мало распространенном журнале «Пантеон Литературы». Я не смею назвать свое переложение переводом, так как главной задачей моей была не филологическая точность фраз и зеркальность конструкций, но — сильная передача зычного смеха, разлитого в этом бешенно-радостном памфлете, написанном в тоне и стиле менипповых сатир, усвоенных римской литературе вели-

ким ее энциклопедистом М.Т. Варроном. Французы сравнивают автора «Отыквления» с Раблэ. Мы, русские, с гораздо большим правом, можем сравнить ее с сатириком гораздо новейшим, а именно — с М.Е. Салтыковым в таких его произведениях, как «История одного города», «Сказки», «Современная Идиллия», «Дневник провинциала», вполне совпадающих характером и манерой своей с литературным определением и культурно-историческим типом «мениппей», за исключением, не свойственной Салтыкову, перемежки прозы со стихами. Тем не менее, как легко может проверить читатель, знакомый с латинским языком, в переложении своем я очень стараюсь не уходить далеко от оригинала. Но там, где точная передача сжатой латыни была бы слишком суха и мертва, в ущерб русской, любящей широко улыбнуться, фразе, я оставляю за собой право — распространять пересказ своими словами. Равным образом, некоторые пояснительные вставки мне показалось более удобным ввести в текст, чем пестрить его примечаниями. Там, где они пространны и сложны, я отмечаю их четыреугольными

скобками. Те, кого «Ludus de morte Claudii» интересуют с той же точки зрения, как меня, то есть — как в Риме первого века нашей эры писался злободневный политический фельетон, — могут читать мое переложение, не считаясь с этим знаком. Измен духу произведения, кажется, нет, а сомнительные места оговорены в примечаниях под текстом и после текста.

* * *

ОТЫКВЛЕНИЕ (Ἀποχολοχυντωσιξ)

Сатирический апофеоз божественного Клавдия

Л. Аннэем Сенекой.

I. Хочу записать в летопись, что приключилось в небе, в канун кануна октябрьских ид, в консульство Азиния Марцелла и Ацилия Авиолы, в обновленном году, в самом начале нынешнего счастливого века. [Не погрешу в рассказе моем личными счетами]: не найдете в нем ни [клевет] ненависти, ни комплиментов [своему человеку]. Так и буду резать прав-

ду-матку. А если кто вздумает ко мне приста-
вать, откуда я взял все это, так ведь, во-пер-
вых, буде мне не угодно, я могу и не отвечать.
Ну-ка, кто меня заставит? Я человек свобод-
ный: это я твердо знаю, — да, свободный с то-
го самого дня, как протянул ноги покойник,
который так хорошо оправдывал пословицу:
«Не родился царем — так родись дураком». А
если соблаговолю отвечать, скажу первое, что
придет в голову. [Что, в самом деле, за новая
мода?] Когда это было, чтобы от историка тре-
бовали: подай свидетелей, да еще под прися-
гой? Однако, если бы необходимо потребовал-
ся свидетельский авторитет, обратитесь к то-
му [почетному гражданину], который удосто-
ился видеть, как возносилась на небо Друзил-
ла. С равным правом он вам засвидетельству-
ет, что видел и Клавдия, как он на том же пу-
ти ступал *non passibus aequis*. [Дело-то в том,
что] — хочет не хочет мой свидетель, но ви-
деть все, что творится на небе, он обязан [уже
по официальному своему положению]. Ведь
он инспектор Аппиевой дороги, а, как вам из-
вестно, именно по ней проследовали к богам
и божественный Август, и Тиберий Цезарь.

Однако, если думаете расспросить его, то советую — наедине: в большом обществе он молчит, как рыба. Потому что [обиженный человек]. После того, как он, при всем сенате, принял присягу, что видел, как Друзилла восходила на небо, и — в награду за этакое-то драгоценное сообщение! — никто его видению не поверил, он клятвой зарекся, что отныне он [ничего знать не знает и ведать не ведает, и] не доказчик, если даже при нем, среди бела дня, на форуме убьют человека.

Так вот от него-то я и разузнал кое-что и передаю вам дело, как слышал. Дело достоверное, дело ясное, как день, — и дай Бог за него моему человечку такое же здоровье, богатство и успех!

II. Се уже Феб нам сиял кратчайшими днями.

Роги гордыни во тьме сонная ночь возвращала,

Цинтия царствий своих уже расширяла победы,

Чудище злое Зима губила приятные блага

Осени щедрой, и — зря, как дряхлеет на

лозах

Вакх, — виноградарь снимал запоздалые, редкие гроздья.

Думаю, что вы лучше поймете меня, если я просто скажу: стоял октябрь месяц, день — канун кануна октябрьских ид. Часа не смогу определить вам в точности. Скорее два философа сойдутся во взглядах, чем двое часов во времени. Во всяком случае дело было между шестым и седьмым часом. Ну, вот какая проза! [недоволен читатель, Бери пример] с поэтов: не довольствуясь восходом и закатом солнца, уж как они надрываются, чтобы воспеть также и полдень, — так неужели ты-то пропустишь так просто этот час, да еще такой удачный?

Феб в колеснице уже соделал пути половину

И, повернувши к ночи, ослаблял, в усталости, возжи,

**Нам с косогора небес умеренный свет
ниспуская.**

III. Пришло Клавдию время испустить дух свой, но дух никак не мог найти выхода. Тогда Меркурий, всегдашний поклонник его та-

лантов, отводит в сторонку одну из трех парк и говорит ей:

— Злокачественная ты женщина! Что тебе за радость мучить этого горемыку? Ну, право же, не стоит так долго пытаться его. Ведь вот уже шестьдесят четвертый год, как он вот этак-то барахтается, ни жив, ни мертв. Ну, что ты имеешь против него? Порадуй астрологов: дай им хоть однажды сказать правду. Ведь, с тех пор, как он стал государем, они хоронят его каждый год, каждый месяц. Правду сказать, оно и неудивительно, если они путают:[как им знать час его, когда у него] нет данных для гороскопа? Ведь никто же никогда не почитал [это чудище] человеком, родившимся, [как все добрые люди]. Делай же свое дело! Соверши должное свершиться!

Полно! рази! в опустелом дворце
пусть достойнейший правит!

— Ах, батюшки, — отвечала на то Клото, — а я было хотела чуточку позадержать в нем жизнь, чтобы он успел пожаловать в римские граждане ту остатнюю крошечку peregrinov, которые какими-то судьбами еще гражданства не получили. Ведь это же и была задача

Клавдия — одеть в тоги всех греков, галлов, испанцев, британцев. Ну, — так как, действительно, надо же оставить несколько перегринов хоть на племя, да и твое желание — мне приказ, — то уж будь по-твоему!

И вот открывает она ларчик и вынимает из него три веретена: одно — Авгурина, другое — Бабы, третье — Клавдия.

— Вот, — сказала она, — три [ближайшие кандидаты в мертвецы]: я уморю их на протяжении одного года и в короткие промежутки, [нарочно] затем, чтобы не отпустить Клавдия [тот свет] без свиты. Потому что как-то неловко, знаешь, вдруг [взять, да и] оставить одним-одинешенька человека, который привык видеть, целыми тысячами, позади себя — свиту, впереди себя — стражу, кругом уличные толпы. Ну, и собутыльники [ему нужны же: думаю, что] эти будут — как раз по вкусу.

Так рекла.

И, пряжу смотав с ужасного взору

Веретена, порвала времена жизни царско-дурацкой,

Парка ж Лахеза, главу, как на праздник украсив,

Вздев на чело и власы свои лавр Пиэрий-
ский,

Ловкой рукой начинает сучить из белей-
шей шерсти

Снегоподобную нить. Но, покорен искус-
ной работе,

Быстро меняется цвет, и на пряжу диву-
ются сестры.

Бедная, грубая шерсть обратилась в ме-
талл драгоценный,

Веком сплывают златым с кудели пре-
красные нити,

Нету конца им, — сучат парки счастли-
вую пряжу,

Полные руки напряли и рады: приятна
работа.

Труд сам собою кипит: кружась без вся-
ких усилий,

Веретено удлиняет нежнейшие нити:
Вещие век перепряли Тифона и Нестора го-
ды!

Тут же и Феб; он им песней ворожит, и
счастье пророчит:

То он, веселый, в кифару ударит, то пря-
жу направит.

**Песня вниманье живит и время труда со-
кращает.**

**Так, в чарованьи восторженном брата
кифары и песен,**

**Парки запрялись: уже человеческой жиз-
ни пределы**

**Славная нить превзошла. Но Феб: — Не ле-
нитесь, о, парки!**

**Дайте ему пережить все сроки смертного
века.**

**Пусть на меня будет он и лицом, и изя-
ществом сходен,**

**Пением, голосом также не хуже. Усталому
миру**

**Эру блаженства он даст и уста законам раз-
вяжет.**

**Как Люцифер, затмевающий робкие
звезды;**

**Или как Геспер встанет на снова звезд-
ное небо;**

**Или как Солнце, когда, ночь одолевши,
Аврора**

**Алая день приглашает к рассвету — и
Солнце вселенной**

Вдруг улыбнется лучом, колесницу из

ТЪМЫ ВОЗДЫМАЯ:

**Вот каков Цезарь у нас! Вот как увидит
Нерона**

Рим: от чела его — тихие теплые светы,
Кудри сбегают до плеч: [как прекрасен он в
их ореоле!]

Так сказал Аполлон. А Лахеза, которой и самой было любо порадеть этакому красавчику, [в точности] выполнила заказ, да, как принялась прясть щедрой рукой, так еще и от себя прибавила Нерону многие лета. А для Клавдия, по общему решению, остается одно: устроить веселые похороны.

Хаίρονταξ, ευφημοῦνταξ εἰλεμλεῖν δομῶν
(волоки его из дома веселее, в добрый час!)

И вот тут бульбулькнула его душенька [как пузырь дождевой], и на том перестал он надувать публику, будто был когда-нибудь жив. Он умер в то время, как актеры играли перед ним комическую пьесу. Недаром я боюсь актеров: вот вам пример, [как опасны эти люди]. Последним словом его к человечеству был сначала трубный звук из той части тела, которой он всегда был красноречивее, [чем устами], а затем горестный вопль: «Батюшки!

никак я весь обо...ся?» Уж не знаю, точно ли ему удалось так себя обработать; [в государстве-то] он, конечно, давно все за...

V. Что затем произошло на земле, излишне рассказывать: сами отлично знаете, да и напрасный труд спасать от забвения то, что общественный восторг прочно запечатлел в памяти сердец. Никто не забывает о днях своего счастья. А вот послушайте-ка, что было на небе. В достоверности рассказа, вы помните, у меня есть свидетель.

Вот — доложили Юпитеру, что пришел кто-то длинный, изрядно седой, не весть на что ворчит — должно быть, грозитя, потому что, не переставая, [как болванчик], трясет головой, — и пребезобразно загребает правой ногой.

Спросили мы его: да вы кто — какой народности? Отвечает каким-то нелепым бормотанием, голос предикий, невозможно понять, что за язык такой. Однако ясно — ни он грек, ни он римлянин, ни человек, из какой другой национальности до сих пор известной.

[В таком недоумении] Юпитер приказывает Геркулесу, который, в своем качестве все-

мирного путешественника и землепроходца, предполагается знатоком всех народностей, — пойти и допытаться, из каких будет этот пришелец. При первом взгляде на последнего, Геркулес струхнул таки немножко, — даром, что его не смущали страхом даже чудовища, [которых высылал против него гнев] Юноны. Зазрив этакую невиданную рожу и ничему неподобную походку, слышав голос хриплый и заикающийся, несвойственный никакому земному зверю, — а так разве тюлени ревут, — Геркулес подумал было:

— Никак мне предстоит совершить тринадцатый подвиг?

Но, взглядевшись пристальнее, распознал, что перед ним как будто что-то вроде человека. Тогда он подступил, приосанясь, и заговорил уж, конечно, как свойственно греченку, — из Гомера:

«Τίξ λοφεν εἰς ἀνδρον, ποῦτι τοι πόλιξ»

(Кто ты? откуда взялся? где народ твой и город?)

Услыхав эти вопросы, Клавдий очень обрадовался. — Э! да здесь водятся филологи! — подумал он и окрылился надеждой, что, по-

жалуй, тут ему удастся найти каких-нибудь читателей и критиков для своих «Историй». Так что и сам он, рекомендуя себя Цезарем, [пустил пыль в глаза] гомеровским стишком:

**«Ἰλιόθεν με φερον ανεμοξ Κιονεσσι
πελασσειν».**

(Из Илиона примчал меня ветр к берегам киконийским.)

Хотя более к лицу ему был бы следующий правдивый стих, — тоже гомеровский:

**«Ενθα διγων πολιν επραθον, ωλεσσα
δαιιοιυξ»**

**(Город я там разорил и убил обывателей
много.)**

VI. Ему удалось было произвести этой бесстыжей басней впечатление на доверчивого Геркулеса, да, [на беду его], оказалась там богиня Лихорадка. Она одна покинула храм свой, чтобы проводить Клавдия. Все остальные боги предпочли остаться дома в Риме.

— Этот господин, — вступилась она, — врет от первого до последнего слова. Это я тебе говорю — [а мне ли не знать?] — что лет я с ним жила неразлучно! Он уроженец Лиона

(Lugdunum), ты видишь перед собой перегри-на из муниципии Мунация Планка. Уж ты поверь мне: он родился в шестнадцати милях от Вьенны и самый настоящий галл. Вот почему он, как и следовало галлу, успел ограбить Рим. Повторяю тебе и настаиваю: [парень] этот родился в Лионе, где много лет царьком пановал (regnavit) Лициний. Ты сам, топтавший всевозможные дороги земли гораздо больше любого профессионального погонщика мулов, должен знать этих лионцев, а следовательно, и то, что дошагать от Ксанфа до Роны это — довольно таки миль!

Закипел тут Клавдий от гнева и пошел урчать и бормотать по своему. Что он говорил, того никто не понял. А он, между тем, приказывал арестовать Лихорадку: это указывал тот обычный жест руки, только в единственном этом случае и твердой, которым он осуждал людей на смертную казнь. Он повелевал и требовал, чтобы Лихорадке отрубили голову. Но — можно было подумать, что вокруг него все одни его вольноотпущенники: до такой степени никто не обращал на него внимания.

VII. Тогда Геркулес сказал ему:

— Слушай ты: довольно ломать дурака. [У нас тут шутки плохи]. Здесь, — на что маламышь, а и та перегрызает железо. Живее говори мне всю правду, не то я повытрясу из тебя дурь-то.

И, чтобы жесточе припугнуть, стал в позу трагического актера и — давай декламировать:

Ну, шевелись, говори, где родился и кто ты породой,

Или дубина моя тебя тотчас в могилу вколотит.

Много свирепых царей уколошил я палицей этой!

Что ты лопочешь там под нос себе непонятною речью?

Родина где — отвечай? Что за край породил этот череп,

Вечно трясущийся?.. Шел я, помню, в далекое царство

Биться с трехтелым царем, чтоб оттуда, с Гесперского моря.

Чудное стадо пригнать ко стольному граду Инаха.

**Видел тогда я хребет, двумя окаймлен-
ный реками —**

**Солнце напротив его утром зарю зажига-
ет:**

Холм тот Родан-богатырь огибает бурли-
вой рекою,

**Встречно ж, — с трудом выбирая, где ток
свой направить —**

Тихий Арар омывает берега неглубокой вол-
ною.

**Ты уж не в том ли краю обрести умуд-
рился отчизну?**

Все сие Геркулес прокричал с достаточным
апломбом и зычным голосом, однако, в глуби-
не души чувствовал себя не в своей тарелке и
побаивался таки *μωροῦ πλῆγην* [не поймать
бы дурацкую плюху]. Клавдий, как скоро за-
метил, что имеет дело с мужчиной дюжим,
оставил свои глупости. Он понял, что это
только в Риме никто не мог стать с ним на
равную ногу, а здесь ему подобной лафы не
дождаться: каждый петух — богатырь на сво-
ей навозной куче! И тогда, насколько можно
было понять, что он плетет, Клавдий произ-

нес речь как будто такого содержания:

— А я было думал, что ты Геркулес, храбрый из богов, окажешь мне протекцию у остальных твоих товарищей и — в случае, если бы от меня потребовали поручителя к удостоверению моей личности (notorem), я собирался указать на тебя, так как ты меня отлично знаешь. Поройся-ка в памяти: ведь, это я — тот самый, кто [надоедал] тебе, разбирая перед храмом твоим судебные тяжбы — по целым дням, не щадя себя даже в [каникулярные] месяцы, июль и август. Тебе известно, сколько неприятностей претерпевал я там [одним уже тем], что денно и нощно слушал прения адвокатов. Попади ты в подобные обстоятельства, то, хотя ты молодец и охотник блеснуть трудным подвигом, ты предпочел бы [вторично] вычистить Авгиевы конюшни: ты не мало перевозил навоза, но я много больше тебя! Но, так как я хочу...

Значительный пропуск в рукописи

Предполагаемое его содержание: объяснения Клавдия смягчили Геркулеса, и тот вводит его в сенат богов. Но здесь Клавдий принят с большим недоумением. Рукопись возоб-

новляется репликой кого-то из богов, по-видимому, ответной на речь Геркулеса, произнесенную в пользу Клавдия.

...Не удивительно, что вломился в заседание: ты привык действовать со взломом. Но скажи же нам, пожалуйста: каким богом, по твоему, можем мы обернуть этого чудака? *Ελιουρειοζ θεοζ* [бог по учению Эпикура] из него не выйдет: этот поб *οζ ουτε αυιοζ πραγμα εχει, ουτε αλλοιζ παρεχει* (сам хлопот не имеет и других ими не обременяет). Бог стоической школы? Да, ведь, Варрон говорит: ему надо быть круглым, [как фаллус], без головки и крайней плоти? Куда же этот годится? Для стоического-то бога в нем, пожалуй, еще есть кое-какие данные: хотя бы то обстоятельство, что, как вижу, у него нет ни сердца, ни головы. Если, [любезный] мой Геркулес...

Следует совершенно испорченное место, восстанавливаемое, опять-таки, лишь предположительно. Очевидно, было Геркулесом сделано какое-то предложение, чрезмерно выгодное для Клавдия, а потому оно и вызывает чью-то жестокую отповедь:

— Да если бы он просил подобного пожало-

вания даже от Сатурна, праздники которого этот удивительный принцепс, воистину государь Сатурналий, растягивал вместо месяца на целый год, — и то, не получить бы ему. А он просит производства в такие боги от Юпитера, которого он поскольку это от него зависело, обвинял в кровосмешении. Потому что казнил же он зятя своего Л. Силлана. А за что? позвольте спросить? За то, что сестру свою, первую красавицу из всех барышень Рима, которую все прозвали Венерой, он предпочел произвести в Юноны.

— Да позвольте, — возразил [Клавдий], — почему же ему именно сестра понадобилась?

— Дурак! — оборвал его бог, — поди, поучись законам. Разве в Афинах это не дозволено на половину, а в Александрии — целиком? Что в Риме, без твоей цензуры, мышь муки не полижет, так ты и к нам сюда пришел нравы наши исправлять? Что он проделывал у себя в спальне, я не приберу приличного названия. А туда же явился на небо сыщиком язв наших, да еще и в боги лезет. Как будто мало той нелепости, что ему построен храм в Британии, где дикари поклоняются

ему, как богу, и молитву сочинили:

Μωροῦ φυλάττου μηϋν

(Да убережемся, дураче, злобы твоея!)

IX. Тут, наконец Юпитер спохватился, что присутствие посторонней публики не допускается в курии ни при объявлении постановления, ни при дебатах.

— Отцы-сенаторы! — возгласил он, — это ли допрос, который я разрешил вам? Загалдели, как на базаре. Напоминаю вам устав курии и призываю вас к порядку. Что подумает о нас этот человек, каков бы он там ни был?

Удалили Клавдия из заседания. Первое слово предоставляется сенатору Янусу, почтенной особе, назначенной на очередное консульство, начиная с будущих июльских календ пополудни. Отче Янус — плут лукавейший: всегда смотрит αματροσδω και οπισω, — будущее провидит, а прошлое в запаске держит. Как практик форума (там ведь и квартира его), он развел столько блестящего красноречия, что стенограф не успевал записывать. Вот почему и я оставляю речь его без отчета: неудобно же мне передавать своими словами его прекрасные фразы. Он по-

дробно распространился о величии богов: нельзя раздавать честь обожествления направо и налево первому встречному.

— В старые годы, — говорил он, — сделаться богом было великой задачей; теперь вы довели до того, что почести этой грош цена. Итак, с оговоркой, что я отнюдь не имею в виду какой-либо определенной личности или частного случая, имею честь предложить законопроект, чтобы, начиная с нынешнего дня, не производился в боги никто из тех, кто $\alpha\rho\omicron\upsilon\rho\eta\xi$ $\mu\alpha\rho\lambda\omicron\nu$ $\epsilon\delta\omicron\upsilon\sigma\iota\nu$: (кормится плодами пашен), ни из тех кого кормит $\xi\epsilon\iota\delta\omega\rho\omicron\xi$ $\alpha\rho\omicron\upsilon\rho\alpha$ (плодоносная пашня). А кто, в противность сему сенатусконсульту, сделается богом и закажет свое, в таком виде, живописное ли, скульптурное ли, изображение, — того сажать [в ад], к ларвам, с тем, чтобы на ближайших играх выпустить его в качестве гладиаторского ученика: пусть его хорошенько почесут палками!

Затем очередной голос получает сенатор отец Дис, сын Вики Поты и тоже назначенный консул, — из менял, алтынный прибыльщик. Этот за большими барышами не гнался,

а пробавлялся помаленьку, приторговывая дипломниками на право гражданства. Подступил к старику Геркулес, с грацией поклонился и, [так как Диспитер был подслеповат и глух], вежливо коснулся кончика уха его. Тогда старина предлагает свою редакцию к порядку дня в таких выражениях:

— Поелику божественный Клавдий связан кровным родством с божественным Августом, а равно принимая во внимание, что он уже и сам возвел в богини бабуку свою, божественную Августу; поелику сказанный Клавдий мудростью своей значительно превосходит всех остальных смертных, а, главное, в том соображении, что пора же республике дать в компанию Ромулу кого-нибудь, способного тоже *ferventia gara vorare* (лопать печеную репу), — предлагаю: быть божественному Клавдию от сего дня богом, на том же праве и с теми же полномочиями, как другие, обоготворенные раньше его, а протокол о том включить в «Метаморфозы» Овидия.

Мнения разделились — однако, Клавдий, по-видимому, должен был выиграть свое дельце. Потому что Геркулес, почуяв успех,

ковал железо, покуда горячо, перебежал от одного сенатора к другому и нашептывал:

— Ну, что нам ссориться? Порадейте мне: я в этом деле заинтересован. В другой раз вы чего-нибудь искать будете, — то я вас поддержу: рука руку моет.

Х. Но вот наконец, слово, в порядке очереди, доходит до божественного Августа. Он встает и произносит чрезвычайно сильную речь:

— Отцы-сенаторы, вы все свидетели, что с тех пор, как меня произвели в боги, я ни разу не брал слова. Я привык заниматься только моими собственными делами. Но я не в состоянии далее сохранять маску равнодушия и сдерживать скорбь, тяжелую боль которой делает еще острее горький стыд. Для того ли я водворил мир на суше и море? на то ли укротил гражданскую войну? для того ли упорядочил государство законами, украсил Рим строительством? Не нахожу достаточных выражений, отцы-сенаторы: все слова ниже моего негодования. Так что остается мне лишь одно — занять у Мессалы Корвина, блестящего оратора, его известную сильную фразу: «он

лишил государство всех прав!» Отцы-сенаторы! Этот субъект, представший нам с таким видом, будто он и мухи не тронет, казнил людей так же легко и часто, как собака мочится. Но что уж! не мне говорить обо всех этих убийственных правонарушениях. Не достаает слез на общественные печали, когда посмотрю на домашние бедствия. Итак, о первых я умолчу, а вторые благоволите заслушать.

Следует совершенно испорченная греческая цитата, которую я пропускаю, так как все ее толкования натянуты и нелепы.

Этот сударик, которого вы видите, десятилетиями лет прятался за мое имя — и чем же отблагодарил меня? Умертвил двух Юлий, правнучек моих: одну казнил мечом, другую уморил голодом, — да правнука Л. Силана. Смотри, Юпитер: вина Силана, конечно, подобна твоей, — тебе будет неловко, если этот [лицемерный святоша] займет место в нашем кругу.

Скажи мне, божественный Клавдий, на основании каких законов ты осуждал на смерть всех этих мужчин и женщин, тобой умерщвленных? Ведь ты же ни о ком не произвел предварительного следствия, никому не дал

представить оправдания, а сразу ставил приговор. Это ли суд правый? Нет, на небе так нельзя!

Х. Вот Юпитер. Он правит множество лет. И что же? За все время он только сломал ногу одному Вулкану, которого

**Ῥιφε ποδοξ τεταυων ατο βηυου Θεσπεσιοιο,
(За ногу взял и швырнул от порога небесного дома.)**

Когда он рассвирепел на жену, то, правда, подвесил ее [на воздушных], но — не убил же, господи? Ты же умертвил Мессалину, которой я приходился двоюродным прадедом, как тебе прихожусь двоюродным дедом. Что? говоришь: ты ничего не знал? Да разразят тебя боги: то, что ты казнил, даже не зная о казнях, еще подлее, чем самые казни твои! Он шаг за шагом шел по стопам покойника Кая Цезаря. Тот умертвил тестя: этот — и тестя и зятя. Кай Цезарь запретил сыну Красса носить фамильный титул Великого, — этот Крассу титул возвратил, а голову снял. В одной только этой семье он погубил Красса Великого, Скрибонию, Тристионию, Ассариона: все это — коренная знать, а в особенности Красс: он был такая ду-

бина, что даже годился бы в цари.

Подумайте, отцы-сенаторы, какое чудовище возмечтало втереться в число богов. И вы хотите произвести его в боги? Да посмотрите вы на него ведь, с этакой фигурой можно родиться только по гневу богов. Словом: пусть он произнесет три слова подряд, как путный человек, — и я закладываю себя самого ему в рабство! Кто будет поклоняться этакому богу? кто в него уверует? И, наконец, если вы станете мастерить подобных богов, не остаться бы вам у людей без веры, что вы сами-то боги? Резюмирую. Отцы-сенаторы. Если я в среде вашей вел себя порядочным богом, если я еще ни по какому поводу не позволял себе высказываться с такой резкостью, примите это во внимание и отомстите мои обиды. К порядку же дня я предложу нижеследующее:

И прочел уже по писанному:

— Так как божественный Клавдий умертвил тестя своего Аппия Силана, двух зятьев: Помпея Великого и Л. Силана, свекра дочери своей Красса Frugi, [дурака], который походил на него самого, как яйцо на яйцо, Скрибонию, свекровь дочери своей, Мессалину, жену

свою, и прочих, имена коих не поддаются исчислению, то я полагал бы: 1) составить по делу его обвинительный акт по статье высшей меры наказания, 2) судить его немедленно, без отсрочки [по случаю октябрьских вакансий], 3) — и прежде всего: немедленно распорядиться его высылкой — за пределы неба в месячный срок, а с Олимпа — в трехдневный.

Сентенцию Августа сенат принял с овацией. И не успел он опомниться, как Килленийский бог уже схватил его за шиворот и потащил вниз в ад:

Ille unde negant redire quetquam.

(Место, откуда никто, говорят, не вернется.)

XI. Вот уже спустились они в Священную улицу. Тут Меркурия взяло любопытство: по какому случаю такое огромное стечение народа? уж не Клавдия ли хоронят? Кортёж был неслыханно великолепный, не даром денежки истратили, — с первого взгляда видать было, что бога хоронят.

Духовных оркестров — флейтистов, роговой музыки, всевозможных медных инструментов — набралась такая орда, такое сбори-

ще, что, [как взревели они все вместе], то даже Клавдий расслышал. Все были в духе, всюду звенел смех. Снующий по улицам народ римский имел такой вид, будто только что вышел из рабства на свободу. Агафон и кучка адвокатов плакали и, надо отдать им справедливость, от чистого сердца. Юрисконсульты помаленьку высовывали нос из темных нор своих: бледные, тощие, в чем душа держится, с физиономиями людей, которые только что воскресли из мертвых. Один из них, завидев группу адвокатов, которые, повесив носы, горько оплакивали гонорары свои, подошел и сказал [злорадно]:

— А что? Говорил я вам: не все вам, котам, масленица!

Non semper Saturnalia erunt!

Клавдий, когда увидел свои похороны, начал догадываться, что он умер. [Да и трудно было не догадаться]: такой разноголосной катавасией (*μεγαληγορια*) гремели поминальные пении, в размере анапеста.

Разрыдаемся!

Расстенаемся!

Разыграем скорбь!

Пусть по форуму
Это всплachtetся!
Умер светик наш,
Умер умница!
Ах, храбрей его Богатырища
В мире не было!
Как наддаст бежать,
Так никто за ним
Не угонит вскачь.
Он парфян разбил,
Вздул мятежников —
Сыпал в спину им
Стрелы быстрые,
Рукой меткою
Лук натягивал,
Хоть не очень-то
Тем поранил он
Удирающих Мидян — врагов,
Пестрохалатников.
И британцев он
(Живут за морем,
За невиданным),
И бригантов злых
Синеглазый люд
В кандалы одел

Наши римские.
Океан — и тот
Задрожал пред ним.
В страхе ликторов.
Ах, погиб судья, —
Нету равного!
Кто быстрее его
Мог процесс решить,
Одну сторону
Только выслушав,
А бывало так,
Что и ни одной?
Где найдем судью
Столь усердного,
Чтоб судил-рядил
Тяжбы круглый год?
Тебе место отдаст,
Сам в отставку подаст
Мертвецов судья,
Велемудрый царь
Критских ста городов!
Колотите в грудь
Себя, в горести,
Вы, продажный люд,
Адвокатишки,

И поэтики
Желторотые!
А уж паче всех
Шулерам рыдать,
Что его на костях
В лоск обыгрывали!

Клавдию очень понравилось, что его хвалят. Он бы и еще послушал, но Палфибий богов подтолкнул его и, закутав ему голову, чтобы кто-нибудь, часом, его не узнал, повел его Марсовым полем. Там между Тибром и Крытой улицей провалился он в ад.

Вольноотпущенник Нарцисс, через какую-то кратчайшую лазейку, успел таки проюркнуть вперед, чтобы принять своего патрона, — и, при его приближении, выбегает фронт-франтом, как и следует человеку, который кончил жизнь свою на водах, и говорит:

— Ах, неужели боги удостоят быть вместе с человеками?

— Ну, не проклажайся, — оборвал Меркурий, — марш вперед и доложи о нашем приходе.

Нарцисс хотел было еще малую толику польстить господину своему, но Меркурий сно-

ва прикрикнул на него, чтобы поспешил, и, так как он все еще мялся, то подогнал его железом. По такому приказу Нарцисс помчался быстрее [ветра]. Дорога под гору, катись себе вниз [шаром]. Поэтому, даром что был подагрик, он, в одно мгновение ока, очутился у врат Адовых, где лежал Цербель или, как зовет его Гораций, bellua centiceps (стоглавый зверище). Он вскочил, заметался и пристрашно оцетинил косматую шерсть свою. Нарцисс малость оробел: он был большой любитель маленьких беленьких комнатных собачек, а тут вдруг лезет на тебя черная косматая псина, с которой, конечно, не обрадуешься встретиться впотьмах. [Тем паче поспешил] он крикнуть, что было голоса:

— Изволит жаловать Клавдий Цезарь!

И, в тот же миг, выбежало множество людей, и все они, отбивая такт в ладоши, дружно запели:

Ебрияцев, сухацроцев.

(Мы его нашли, нашли —

Ай люли, люли, люли!)

Тут были: К. Силий (десигнированный консул), Юрий, префект преторианский, Секст

Травл, М. Гельвий, Трог, Котта, Веттий Валент, Фабий, римские всадники, казненные по интригам Нарцисса [в прикосновенности к делу Мессалины]. Дирижировал хором их пантомим Мнестер [долговязый красавец], которого Клавдий, по эстетическим соображениям, нашел нужным укоротить [на одну голову]. Вот уже и к Мессалине добежала молва, что Клавдий пожаловал. Первыми из двора ее прибежали вольноотпущенники Полибий, Мирон, Гарпократ, Амфей и Феронакт: всех их Клавдий, в свое время, послал сюда про запас, чтобы, где бы то ни было [хотя бы даже и в аду], не остаться без свитских холопов. Затем следовали два префекта, Юст Катоний и Руф, сын Помпея. Затем друзья: Сатурний Люсций, Педо Помпей, Лун и Целер Азиний, консуляры. Наконец, дочь его брата, дочь его сестры, его зять, тесть, теща — чуть что не вся родня в полном составе. Все они целой ордой устремляются к Клавдию, а он, узнав их, радостно восклицает:

— «Παῦτα φίλων πλήρη» (Ба! Знакомые все лица!). Как вы сюда попали?

Тогда Педо Помпей:

— Что? Ах, ты, изверг рода человеческого! Как мы сюда попали? Да кто же и упрятал нас в эти места, как не ты, истребитель всех друзей своих? Пойдем на суд [приятель]. Я тебе покажу, где раки зимуют.

XIV. И потащил его перед трибунал Эака, которому подсудны были уголовные дела, предусмотренные Корнелиевым законом о смертоубийствах (*lex Cornelia de sicariis*). Педо, в законном порядке обвинения, требует зарегистрировать имя подсудимого представляет обвинительный акт: «Умерщвлено Клавдием сенаторов 30, всадников римских 325 да и с хвостиком, остальных граждан — $\delta\sigma\psi\alpha\mu\alpha\theta\omicron\xi\ \tau\epsilon\ \iota\omicron\nu\iota\xi\ \tau\epsilon$ (сколько в мире песчинок и пыли).

Клавдий, в сильном испуге, водит вокруг себя глазами, изыскивая, нет ли в толпе адвоката, которому можно было бы поручить свою защиту, но не находит [охотников сражаться на безнадежном деле]. Наконец выступает вперед П. Петроний, старший компаньон его по выпивке, мужчина красноречия необыкновенного — не хуже, чем сам Клавдий! — и требует, чтобы его допустили к за-

ците. Эак отказывает. Педо Помпей с большим азартом произносит обвинительную речь. Петроний порывается возражать. Но Эак, который в суде своем руководствуется лишь законом высшей справедливости, лишает защиту слова и осуждает Клавдия, выслушав одну только противную сторону. А, в виде мотивировки, предлагает мораль.

Εἰ καὶ παδοῖ καὶ κρεῖζε, δίκη καὶ ἰθεὶα γένειο

(Как осуждал, так и сам осужден: вот закон наш и правда!)

Воцарилась мертвая тишина. Все онемели от восторга, потрясенные этим юридическим новшеством, либо перешептывались, что никогда еще не было такого [великолепного судопроизводства]. Одному Клавдию оно казалось более несправедливым, чем новым. Приступили к обсуждению меры и способа наказания и долго таки о нем спорили. Одни предлагали богам воспользоваться Клавдием для смены кого-либо из страдающих грешников: например, Тантала, которого пора напоить, иначе он пропадет от жажды; Сизифу — не века же вечные таскать свой камень; и надо же когда-нибудь затормозить колесо несчаст-

ного Иксиона.

Однако [по зрелом размышлении] реши-
ли: никому из этих ветеранов льготы не да-
вать — [единственно затем], чтобы Клавдий
не вообразил [в силу прецедента], что и ему
когда-нибудь будет амнистия. Постановляют
изобрести для него новый вид каторжной ра-
боты, — такой, чтобы труд был совершенно
напрасен, а, в то же время, соответствовал бы
какой-либо из его страстишек, [дразня его]
без конца и удовлетворения. И, в силу того,
Эак определяет:

— Играть ему [до скончания веков] в ко-
сти, бросая их из дырявого стаканчика!

И в тот же миг Клавдий принялся за иг-
ру — он кости ловит, а они от него ускольза-
ют, и ничего у него не выходит.

**XV. Каждый раз, что хотел бросить кости
стаканчиком звонким, —**

**Ан, уж они сквозь дырявое дно провали-
лись.**

**Снова собирает он их, сыграть не теряя
надежды,**

**Снова намерен потряхнуть, но, ах! напрас-
ны усилья**

**Снова измена! бегут обманщицы кости
И, как мошенников сброд, ускользают
сквозь пальцы.**

**Так-то Сизиф, чуть докатит к вершине
свой камень,**

Снова роняет с хребта его недоносную тягу.

Как вдруг, откуда ни возьмись К. Цезарь и заявляет претензию, чтобы Клавдия возвратили ему, как его бежавшего раба. В доказательство своих прав, он приводит свидетелей, которые подтверждают, что, действительно, видали, как К. Цезарь угощал Клавдия плетьюми, палками и зуботычинами. Эак отказывается от своего приговора [как произнесенного над неспособным], и Клавдий присуждается в собственность К. Цезарю. А тот подарил его своему вольноотпущеннику Менандру, а Менандр определил его себе под начало канцелярским служителем в регистратуру цезарева суда.

Примечание к переложению «ОТЫКВЛЕНИЯ»

1. Заглавие Αλοιολοιουνωσιζ, Отыквление, сохранено Дионом Кассием, LX, 35. «Л. Юний Каллион, брат Сенеки, всегда отзывался (об апофеозе Клавдия) в самом забавном тоне; а сам Сенека даже сложил сочинение, называемое Αλοιολοιουνωσιζ, или обожествление бессмертного» Но в Сан-Галенской рукописи, лучшем списке сатиры, дошедшем от X века, этого заголовка нет. Памфлет называется в ней: *Divi Claudii Αλοθηοσιζ, Annaei Senecae per saturam.*

Вопрос о принадлежности сатиры Сенеке будет подробно рассмотрен в 4-м томе «3. из б.» в главе, посвященной обзору литературно-философских взглядов этого государственного человека.

2. В канун кануна октябрьских ид, *ante diem tertium idus octobris* — 13 октября.

3. В консульство Азиния Марцелла и Ацилия Авиолы: 54 год по Р. Х., 807 римской эры.

4. *Anno novo, initio saeculifelicissimi*, т.е. в

начале принципата Нерона. Это первая лезть памфлетиста по адресу молодого принцепса. Потом ее будет много.

5. *Aut regem, aut fatuum nasci oportere.* Смысл пословицы: на свете счастлив только тот, кто властвует, а из остальных только тот, кто настолько глуп, что положения своего не понимает, «Дуракам счастье». Близкая с этой латинской, греческая пословица *μορφ και βασιλει νομοζ αγραφοζ*, равносильна нашей «дуракам закон не писан».

Сенека ловко и произвольно играет пословицей придавая ей несвойственный смысл.

6. Друзилла — сестра и любовница Кая Цезаря (Калигулы), обоготворенная по смерти своей под именем Пантеи. См. в главах 1 и 2. Имя лжесвидетеля, над которым издевается памфлетист, Ливий Геминий. Выходки против Друзиллы странны в устах Сенеки, старого друга «дома Германика»: ведь, Друзилла — родная сестра Агриппины, его покровительницы, и все дочери Германика были его ученицами, а злые римские языки уверяли, будто и любовницами.

7. *Non passibuis: aequus* цитата из Энеиды, II,

Dextrae se parvus Julius
 Implicuit sequiturque patrem non passibus
 aequis.

Можно перевести и «спотыкливою походкой», потому что Клавдий безобразно волочил парализованную правую ногу, а можно и — «писал мыслете», потому что был он пьяница и умер, отравленный в пьяном виде.

8. Appiae viae curator, qua etc. ad deos isse. Август умер в Ноле, Тиберий на Капри. Погребальный кортеж обоих вошел в Рим по Аппиевой дороге.

9. Jam Phoebus etc. Характерная для «мениппей», умышленно напыщенная, стихотворная пародия с мифологическими эпитетами и тяжеловесными метафорами. Цинтия, Кинфия — Луна: одно из прозвищ Дианы, от горы Кинфа на о. Делосе. Вакх — виноград.

Все это подготавливает выгодный контраст дальнейшего.


10. Mensis erat **October** etc. Эта шутливая тирада напоминает мне смыслом и тоном своим другую гениальную поэму-пародию:

В последних числах сентября (Презренной

прозой говоря)...

АС. Пушкин. *Граф Нулин*.

Поэтому я и перевел восклицание воображаемого читателя — *nimis rustice!* (слишком просто или грубо) — восклицанием: «ну, вот, проза!».. О знакомстве Пушкина с произведениями Сенеки см. во втором томе «Зверя из бездны», главу «Актэ».

11. Между шестым и седьмым часом: между 12 и 12  дня.

12. *Tu sic transibis horam tam bonam*. Расширю последнее прилагательное в три слова «да такой удачный», предполагая в нем намек на то, что полдень 13 октября убил Клавдия и отдал принципат Нерону.

13. Нам с косогора небес и пр.: *Obliquo flexam deducens tramite lucem*. Опять пародия того же типа, как выше.

14. *Tum Mercurius, qui semper ejus delectatus esset*. Ш. дю Розуар и Шарпантье переводят: «Alors Mercure, qui s'etail toujours amuse de l'esprit de Claude» — забавлялся, острил насчет умственных способностей Клавдия. Я не считаю это толкование согласным с дальнейшим участливым вмешательством Меркурия в

судьбу Клавдия.

15. Annus sexagesimus et quartus est, ex quo cum animo luctatur: борется с собственной душой. Клавдий родился 1-го августа 10 года до Р. Х.

16. О роли астрологов при дворе римских принцепсов см. главу 6-ю.

17. Nemo enim illum unquam natum putavit. Старинные толкователи считают это за намек на известную характеристику Клавдия матерью его Антонией: чудовище рода человеческого, которое природа едва начала создавать и — отступилась, бросив недоконченным (Suetonii). Claud V. 3. portentum eum hominis dicta tabat nec absolutum a natura, sed tantum inchoatum). Я сохраняю это толкование ради русской игры слов, но у Отто приведен доказательный ряд аналогичных выражений из Плавта, Цицерона, Петрония, Сенеки, Марциала и др., показывающих фразу эту пословицей. «Не то, что царями их звать, но я их и за людей-то не почитал» (sed omnino natos nesciebam) Cic. ad fam IX. 15, 4.

18. Полно! рази и пр. Vergilii, Georgicon 1. IV. 90:

Dede neci: melior vacua sine regnet in aula.

(О пчелах).

19. Ах, бабушки и т.д. Ego, mehercule, inquit, pusillum temporis adjicere illi volebam: Я, клянусь Геркулесом, — сказала она, — хотела прибавить ему малость срока.

20. Ответ Клото. Constituerai enim omnes Graecos, Gallos, Hispanos, Britannos, togatos videre.

Реплика парки Клото — злобная, типиче-ски патрицианская выходка против граждан новой, провинциальной формации — одна из главных причин к сомнению, точно ли Сенека — автор «Ludi de morte Claudii». «Странные обвинения из уст испанца», замечает Амелей Тьерри. По его мнению, Сенека, увлеченный личной ненавистью, писал здесь против собственного убеждения, так как впоследствии он, в личной своей деятельности государственного человека, сам шел в вопросе о перегринах по следам Клавдия и даже дал начинаниям последнего значительное развитие, а, в частности, рассыпал множество политических благодеяний своей провинциальной отчизне. Сатира на смерть Клавдия, по словам

того же историка, является одним из самых любопытных документов великой борьбы «между латинским Римом и римским миром». Главное и неустанно повторяемое обвинение, которым сатирик преследует Клавдия, истинное и неизвинимое преступление последнего — это — симпатии покойного принцепса к провинциям. Другое преступление (и уж это-то, по крайней мере, совсем невольное со стороны Клавдия), — зачем он родился в Лионе! (См. ниже). Этих ужасных проступков достаточно, чтобы сатирик, оскорбляющий память Клавдия, принял против него сторону «отравительниц и отцеубийц»!.. Бруно Бауэр, именно на основании речи Клото, — вместе с двумя другими гораздо слабейшими и даже совсем таки неудачными психологическими доказательствами (как бы Сенека, сам больной, издевался над болезненностью Клавдия? как бы рабовладелец-либерал позволил себе жестокие шутки над рабством, которыми кончается дошедший до нас отрывок памфлета?), — считает невозможным, чтобы Сенека был автором «Отыквления». Зато безусловно стоят на том Герман Шиллер, Герман Петер.

Из старых отрицателей Сенекина авторства замечательнейшие Юст Липсий и Дени Дидро. В новейшее время А. Штар и А. Ризе.

21. Бабу Сенека в одном из писем своих (Epist. XV) приводит, как пример круглого дурака. Авгурин — какое-нибудь дворцовое ничтожество старого принципата.

22. Позади себя — свиту и т.д. Tot millia hominum sequentia videbat, tot praecedentia, tot circumfusa. Видел столько тысяч людей, идущих сзади и впереди и толпящихся кругом.

23. Abrupit stolidae regalia tempora vitae: оборвала царственный срок дурацкой жизни.

24. Главу, как на праздник, украсив: redimita comas, ornata capillos — сделал прическу с повязкой, завив или умастив волосы.

25. Тифон — сын Лаомедона и брат Приама Троянского, любовник богини Зари (Эос, Авроры). Она дала ему бессмертие, но позабыла сохранить ему молодость. Дряхлый и ветхий, он мучился жизнью, пока божественная любовница не сжалилась над ним, обратив его в цикаду (Hymn, homericum in Venen 3. 219 ff).

26. (Феб) им песней ворожить и счастье пророчить: cantuque juvat, gaudetque futuris —

помогает пением и радуется будущему веку.

27. Так, в чарованье восторженном брата кифары и песен. *Duamque nimis citharam, fraternaque carmina laudant.* Толкователи в этом *nimis* видят лесть Нерону: парки «слишком» хвалят игру на кифаре и песни брата, потому что, дескать, не слышали они Нерона, который поет и играет лучше. Мне это толкование кажется слишком тонким.

28. Эру блаженства он даст и уста законам развяжет.

l'elicia lassis

Saecula praeestabit tegumque silentia rumpet:

«и нарушит молчание законов».

29. *Lucifer* и *Hesper*: вечерняя и утренняя звезда.

30. Колесницу из тьмы воздымая: *et primos e carcere concitat axes.* И выкатывается из (ночной) тюрьмы первыми оборотами колес.

31. От чела его тихие светлы: *flagrat nitidus fulgore remiisso vultus.*

32. Стих из «Кресфонта», утраченной трагедии Еврипида.

33. Бульбулькнула его душонка: *animam ebulliit*, испустил душу, как пузырь.

34. Перестал надуть публику и пр. *Desiit vivere videri*. См. примечание 17.

35. «*Vae, me, puto, consacavi me*». *Quid autem fecerit, nescio: omnia certe consacavit*. Этот раблэвский эффект особенно силен, в немедленном контрасте с только что декламированной поэмой.

36. *Nec periculum est, ne excidant, quae memoriae publicum gaudium impressit*: принятие принципата Нероном.

37. Кто-то длинный: *quemdam bonae staturae*.

38. В качестве всемирного путешественника и землепроходца: *quia totum orbem terrarum pererraverat*.

39. А так разве тюлени ревут: *qualis (vox) esse marinis belluis solet* — голос, какой бывает только у морских чудовищ.

40. Уж, конечно, как свойственно греченку: *quod facillimum fuit Graeculo*. Ненависть памфлетиста к грекам прорывается часто. Ради ее он не щадит даже такого популярного и любимого старо-римского бога, как Геркулес.

41. *Τις ποδεν* etc.: Одиссея. I. 170. Далее сатирик издевается над бездарным педантизмом

Клавдия, как филолога и историка. Следующие греческие стихи — Одиссея. IX. 39. 40.

41а. Пустил пыль в глаза гомеровским стишком. Клавдий усердно занимался греческой литературой и, при каждом удобном случае подчеркивал любовь свою к ней и выхвалял достоинства греческого языка. Один варвар, защищая перед ним дело свое, говорил то по-латыни, то по-гречески. Клавдий начал свой ответ ему словами: «Так как ты владеешь обоими нашими языками». Говоря перед сенатом в пользу провинции Ахай, он заметил:

— Я особенно люблю ее, потому что связан с нею общением науки.

Часто, в заседаниях сената, принимая посольства, он отвечал на их представления длинными греческими речами. Даже во время судебных заседаний он то и дело цитировал Гомеровы стихи. Всякий раз, что он решался отомстить врагу своему либо заговорщику, то, когда трибун дворцового караула приходил к нему, по обыкновению, спросить очередной пароль, — он обиняком выдавал план свой, потому что назначал один и тот

же стих из Одиссеи (XVI. 72.):

«Α ελαμυνασθαι, δε τε τιζ προτεροζ χαλεπηνη.
(Suct. Claudius. XLII).

Жуковского: (Не пытался)

**Дерзость врага наказать, мне нанесшего
злую обиду.**

42. «Найти каких-нибудь читателей». Собственно говоря: «куда-нибудь пристроить» (sperat fututum aliquem historiis suis locum). Но, так как по высокому положению Клавдия, об издателях ему не приходилось заботиться, то полагаю восторг Клавдия лучше объяснить горечью против ленивых читателей и холодных критиков скучного труда его, от которых авторское самолюбие принцепса страдало на земле.

В молодости, ободренный советами Т. Ливия, а того паче помощью Сульпиция Флава, Клавдий начал заниматься историей и написал довольно много исторических работ, из которых отрывки очень любил читать публично. Главный свой труд, политическую историю своего века, он начал было с убиения Цезаря-диктатора. Но строго следившие за ним мать и бабка опасались, чтобы Клавдий,

в наивности своей, не компрометировал династию какой-либо бестактностью, и мучили его своим контролем, покуда злополучный историограф не догадался наконец, что под такой цензурой о таком смутном времени нельзя писать свободной правды. Тогда он начал сочинение свое сызнова — от замирения междоусобных войн, то есть обратил его в хронику августовых славных дел. От первого плана клавдиевой истории осталось ко времени Светония две книги, от второго 41. Кроме того Клавдий написал свою автобиографию в восьми томах, «magis inepte, quam ineleganter», «не столько безвкусную, сколько бестактную», и полемический труд: защиту Цицерона против критических нападок Азиния Галла, в которой обнаружил хорошую эрудицию. По-гречески он написал в 20 книгах историю тирренов и в восьми — историю карфагенян. Выход в свет этих произведений дал ему повод основать в Александрии второй музей, получивший его имя, с тем, чтобы ежегодно, в определенные дни, в обоих музеях читались в виде публичных курсов, обе его истории: в одном тирренская, в другом карфа-

генская. Это была такая тощища, что обязанные к ней должностными отношениями покорялись ей, как студенты слушают скучных профессоров, — по дежурству.

42а. Демону Лихорадки (Febris) были посвящены в Риме три умиловительные святилища: на Палатинском холме; на Эсквилине вблизи Monumenta Mariana; и в конце Длинной улицы (Vicul Longus) : в области Квиринала. Длинная улица начиналась у нынешней церкви св. Доминика и Сикста, шла, минуя церковь Св. Агаты в Субуре, пересекала Via Nazionale выше Выставки изящных искусств и, все по прямой линии, выходила на Via Torino, незадолго до впадения ее в Via 20 Settembre. В эти часовни больные малярией, искони свирепствовавшей в Риме, приходили освящать амулеты и так называемые *periclitia*, quae corporibus aegrorum adnexa fuerant — талисманы, носимые верующими на собственном теле их. Таких храмов, то есть, собственно говоря, мистических лечебниц и аптек и сейчас много в христианской Италии. В Москве подобный характер приобрела, напр., знаменитая часовня св. Пантелей-

мона на Никольской, всегда осажденная толпой страдающих зубной болью.

43. Lugdunum при слиянии Родана и Арара (Роны и Саоны), главный город гальского племени амбарров, обращен в 43 г. до Р. Х. в военную колонию *Copia Claudia Augusta* и сделался административным центром *Galliae Lugdunensis*. Ныне Лион. Мунаций Планк — основатель колонии — легат Ю. Цезаря в Галлии, хороший солдат, но весьма неважная и зыбкая политическая фигура. Vienna, ныне Вьен, на левом берегу Роны, главный город аллоброгов в Нарбоннской Галлии, позднее римская колония большого культурного значения.

44. Ограбил Рим. Собственно, взял: *Roman cepit*, но по-русски глаголом «взять» не передается исторический каламбур, заключенный в этой фразе.

45. Из нескольких Лициниев, наместничавших в Галлии, здесь имеется в виду, вероятно, вольноотпущенник Ю. Цезаря, сделавший при Августе большую государственную карьеру.

Послан был в опальную Галлию Августом

в качестве procurator'a едва ли не с нарочной целью ее ограбить, что он и исполнил без жалости и не без «каторжного» остроумия: изобрел для поборов год в 14 месяцев и на запрос Августа, по жалобе обобранных галлов, отвечал будто бы: Я нарочно их обираю, чтобы у них не осталось средств для революции. (Dio L. LIV.)

46. Ты сам и т.д. Русский переводчик «Отыквления», г. В. Алексеев, относит эту фразу к Клавдию, как упрек многими напрасными путешествиями. По-моему это, просто, шуточное обращение к вечному бродяге Геркулесу, что и подтверждается дальнейшим монологом последнего. См. примечания 39 и 51.

47. Ксанф или Скамандр, прославленный в эллинском эпосе (Илиада, XXI), поток близ Илиона, происхождением откуда похвалился было Клавдий, в качестве Цезаря, потомка Энея, тогда как он — лугдунский галл с Роны.

48. Putares omnes illius esse libertos etc. О подчиненности Клавдия вольноотпущенникам см. предшествующие главы.

49. Venisti huc, ubi mures ferrum rodunt. Ты пришел туда, где мыши грызут железо. Эту

спорную поговорку я в переложении своем толкую по Фромону. *Genthe* думает, что это значит — попал ты, как мышь в мышеловку.

50. *Naes clava reges saepe mactavit feras.* Взгляд на Геркулеса, как врага свирепых дикарских царей-деспотов, проходит через все века античной цивилизации. «Правосуднейший убийца» (Пейзандр). «Он стирал с лица земли тиранов» (Лизий). «Он прошел мир из конца в конец, чтобы покарать беззаконных и зверских тиранов, которые умерщвляли чужеземцев» (Плутарх). «По личному почину и великодушию цивилизовал он землю, освободив ее от людей- чудовищ» (Эврипид). См. *Welcker*. II. 762.

51. Трехтельный царь — *tergeminus rex* — Геррион, мифологический властелин острова Эритии — по Аполлодору, Иберии (Испании) — по Диодору, часть Эпира — по Гекатею. Сатира принимает диодорово толкование. Геркулес, в десятом своем подвиге победил это чудовище, состоявшее из трех тел, связанных только общим животом, и угнал несметные стада его в Инахов град, т.е. в Аргос. Три тела Герриона эвгемеристы XVIII века

толкуют, как федерацию трех народов Гериона, по-финикийски, значит «три армии». Абат Банье предполагал союзное царство Гериона на островах Майорке, Минорке и Эбузе.

52. *Hisperium mare* — Атлантический океан или юго-западная часть Средиземного моря.

53. Солнце напротив его утром зарю зажигает: *Quod Phoebus ortu semper observo videt* — Феб, при восходе, всегда глядит (обращает взор) прямо к нему.

54. Ты уже не в том ли краю и пр. *Estne illa tellus spriritus altrix tui?* Не та ли земля питательница твоего гения?

54а. С достаточным апломбом и зычным голосом: *haec satis animose et fortiter.*

55. Подобной лафы не дожидаться: *illic non habere se idem gratiae.* Каламбур о петухе пропадает по-русски. *Galium in suo sterquitinio plurimum posse. Gallus* по-латыни — 1) петух и 2) галл. Памфлетист опять колет Клавдия мнимо-галльским его происхождением.

56. В переводе В. Алексеева: «перед твоим храмом в Тибуре». В трех латинских текстах, имеющих у меня, нет этого слова: «*qui tibi*

ante templum tuum jus dicebam totius diobus mense julio et augusto». Но у Светония в биографии Клавдия, 34, читаем: «Он был свиреп и кровожаден от природы и являл себя таковым, как в важных обстоятельствах, так и в мелочах. Восстановил пытки при допросах и древнюю казнь самоубийц и свершал ее публично. Однажды в Табуре он непременно хотел присутствовать при зрелище казни по древнему обычаю; но, хотя осужденные были уже привязаны к столбу, не находилось палача. Клавдий имел терпение дожидаться до позднего вечера, пока палача не привезли из Рима.

О страсти Клавдия к судейской роли см. в главах 1—3-й.

57. Привык действовать со взломом: nihil tibi clusi est. Для тебя нет ничего запертого.

58. Бог стоической школы. Опять недоуменное место. Издеваться над стоической школой для Сенеки значило смеяться над собой и ближайшим кругом друзей своих, «порядочных людей сената (boni)».

Nec cor nec caput habet. Отто считает половицей ритуального происхождения. Если у

жертвенного животного не оказывалось сердца или головы (?) либо печени, это было дурным предзнаменованием. Бюхелер думает, что памфлетист просто приводит здесь старую остроту Катона.

59. *Saturai mensem toto anno celebravit.* Старинное толкование, будто стих этот намекает, что Клавдий весь год был в таком послушании у рабов своих, как древний обычай позволял только во время Сатурналий, — кажется мне натянутым. Это значит просто: круглый год масленица!

60. О Л. Силане см. в 3-й главе этого тома и, подробно, во втором томе. Предпочел ту, которую все звали Венерой, произвести в Юноны: подобно Юпитеру, влюбился в собственную сестру.

61. В Афинах допускался брак со сводной сестрой (единоутробной), в Египте (известный пример Птолемея и Клеопатры) также и с родной.

62. *Romae, inquit, mures molas lingunt:* в Риме, сказал он, мыши лижут муку... Из многочисленных попыток (Бюхелера, Genthe и др.) истолковать связь этой пословицы с последу-

ющим текстом ни одна не кажется мне правдоподобной. Естественнее других старинная комментировка Фромона, общий смысл которой внушил мне мое переложение.

63. Что он проделывает и пр. *Quid in subiculo fa ciat, nescio*. Другие переводят: «не знает, что делается у него в спальне», и понимают это, как намек на разврат Мессалины. Так как сплетнями окружена была и вторая жена Клавдия, Агриппина, и связь ее с Паллантом уже выплывала на чистую воду под усилиями интриги Нарцисса, то мне кажется, фраза такого содержания звучала бы в памфлете агриппианца опасным двусмыслием. Сенека, сам подозреваемый в старой связи с дочерьми Германика, вряд ли решился бы написать такой наглый вызов общественному мнению. Сверх того, ниже мы увидим, что автор относится с сожалением к Мессалине и жертвам ее процесса и злобно высмеивает Нарцисса, виновника ее гибели.

64. Выбираю это чтение Розуара, Шарпантье и Леметра, как наиболее осмысленное из четырех, сдобренных более или менее той же крепкой солью.

65. *Rarum est quod templum in Britannia habet.* В городе *Camulodunum*, обращенном в римскую колонию, ныне Кольчестер.

66. Загалдели как на базаре — *vos megaralia fecistis*, устроили совершенный табор.

67. Пародия на сенатское заседание была бы совсем не с руки Сенеке, тем более в начале «золотого пятилетия» (см. следующую главу и 2-й том). В период смутного времени и под громом государственного переворота, первый министр не может говорить таким тоном о высшем правительственном учреждении, в котором он нуждается, которое хочет возвысить, на опоре которого строит свою конституционную политику. Как бы то ни было, не только Сенека, но никакой неронианец не мог написать «Отыквления» уже в декабре 54 г., как датируют, опираясь на Лемана, Кання и Гуайо.

68. *Janus pater.* Любопытно, что в дальнейшей пародии памфлетист, хотя и ненавистник «гречат» (*graeculorum*) и, вообще, инородцев, рядит в шуты основные и заветнейшие римские божества: *Janus pater, Dispiter, Vica Pota.*

69. Designatus erat in kal, julias postmeridianus cos: «после дождика в четверг», «когда рак свистнет», — в каникулярные месяцы, после полудня, вся правительственная жизнь замирала.

Тип «отче Януса», лукавого δμα προσω και οπισω (Илиада, III, 109), очень напоминает Л. Вителлия. Гомеровская цитата:

Старец же, взявшись за дело, грядущее с прошлым обсудит.

Как бы его для обеих сторон наилучше устроить.

Пер. *Н.М. Минского*.

Старец, меж ними присущий, вперед и назад прозорливо Смотрит, обеих сторон соблюдая взаимную пользу.

Пер. *Н.И. Гнедича*.

70. Стенограф — notarius.

70а. Почести этой грош цена. Jam fama minimum fecistis. Другое чтение: jam fabam (vel famam) minimum fecistis: вы сделали из этого фарс, ребячью забаву. Это противоположение апофеоза фарсу целиком взято памфлетистом у Цицерона: Cic. ad att. I, 16, 13.

71. «Αρουρηζ et. Два гомеровы полустиха,

первый из Илиады, I, 142, второй из Одиссеи, IX, 357, совершенно одинакового значения, только один в действительном, другой в страдательном обороте. Как почти все греческие цитаты, введены автором сатиры ради пародии, в данном случае, на эллинизацию и водотолчение сенатского красноречия.

Если же смертный ты муж и земные плоды поедает...

(Н.М. Минский.)

Если же смертный ты муж и вскормлен плодами земными.

(Н.И. Гнедич.)

71a. Qui... deus factus fictus pictusve erit. Ни в фигуре, ни в скульптуре. Пословица. Те же рифмованные соединения встречаются впоследствии у Лактанция и ранее у Цицерона: neque pictam, neque fictam imaginem. Ad familiam V. 12, 7. (Отто).

72. В качестве гладиаторского ученика — inter novos auctoratores: Как еще негодного к бою на военном оружии, выпускать его в пробном бою на палках.

73. Dispiter, Vicae Potae filius, nummulariolus. Хтоническое божество седой

римской древности. См. выше в 4-й главе о секулярных играх. Dis-dives-Πλούτων, Плутон, бог подземных богатств земли, отсюда — образ богатства вообще и, в частности, богатства прижимистого, потайного, скряжнического. Вика Пота — Victoria, Победа-Добычица. Dispiter — сын Вики Поты, толкуется, как мифологическая метафора богатства, наживаемого захватом или наследством от захватчиков. По-моему, вероятнее, в связи с профессией менялы, которую приписывает памфлетист отче- Диту, что его родство с Викой Потой — просто намек на изображение Победы на мелких монетах римских.

73а. Приторговывая дипломниками на право гражданства. Потому он любезен так к Клавдию. См. примечание 20 и мнение Амедея Тьерри в 1-й главе.

74. Обожествленная Клавдием Августа — вдова О. Августа, — Ливия.

75. Ferventia gara vocare: культурный декаданс века прекомично обращает в оперетку еще недавно столь модные (Т. Ливий) лицемерные восторги перед первобытной простотой древних дней мужицкого Рима.

76. Почуяв успех и пр. — *qui videret feruum suum in igne esse*: видя, что его железо плавится. Фромон понимает это место в том смысле, будто Геркулес так хлопочет потому, что сам попал, выскочкой, из людей в боги.

77. Мессала Корвин, 69—4 до Р. Х. Ближайший сотрудник Августа, один из замечательнейших людей его эпохи. *Praecidit jus imperii!* Обрезал, оскопил, исказил право повелительства. У Розуара: «*il a coupe les nerfs de l'empire*». Это все не то. По-моему: убил, остановил, упразднил действие государственных законов, то есть, как я и перевожу — «лишил государство всех прав».

78. Как собака etc. Я выбираю толкование Бюхелера. По другим, начиная с Фромона: как часто игроку в кости выходит «собачка», — несчастный бросок на кон.

79. Пропущенные строки: *Etiamsi Phormea graece nescit, ego scio. Ευταίμονονυιηνδιηζ senescit*.

Phormea читают *φορμίδειν* (Фромон), *sorogmea* (Bucheier) и т.п., но все это одинаково дает чепуху. Чувствуется только какая-то угроза: если он не знает, я знаю — и, следовательно-

но, расскажу.

80. О ссылке Юлии Ливиллы, жертвы Месалины, см. во 2-й главе. Юлия, дочь Друза, была казнена в 43 г. по Р. Х., по доносу Суиллия. О ней еще будет речь при характеристике последнего во 2-м томе «Зверя из бездны.»

81. Ριψε и пр. Илиада, I, 591.

За ногу взял и швырнул от порога небесного дома.

(Н.М. Минский.)

Ринул, за ногу схватив, и низвергнул с небесного Прага.

(Н.И. Гнедич.)

82. Iratus fuit uxori et suspendit illam: Илиада, XV, 18. ff. Или не помнишь тот день, как с высокого неба повисла? и т.д.

(Н.М. Минский.)

83. Messalinam, cujus aequae avunculus major erat, quam tuus: это неверно, потому что Месалина одной степенью родства дальше от Августа, чем Клавдий. 84. Из жертв Клавдия, перечисляемых Августом, за исключением Силанов, о которых уже было говорено и еще будет говорено в главе 7-й и втором томе, никто не оставил серьезного следа в историче-

ских памятниках.

84а. Он был такая дубина и пр. *Crassum vero tam fatuum, ut etiam regnare posset.* См. прим. 5.

84b. *Tristioniam assaeionem.* Бюхелер читает *tris homines assarios*, трех людей, которым грош (*as*) цена. (Otto).

84с. Там *similem sibi quam ovo ovum.* Старая пословица. Цицерон дополнял ее еще сравнением — «как пчела на пчелу»: *ut sibilint et ova ovorum et apes apulum simillimae.* Acad. pr. XVII, 54.

84d. *Tria verba cito dicat etc.* Пословица (Отто).

85. Составить по делу его обвинительный акт и т.д. *Placet mihi in eum severe animadverti*: строжайше его наказать. Или — из старого русского юридического и полицейского языка — взять его под сомнение? взять его под строжайшее замечание? оставить его в подозрении?

86. Сентенцию Августа приняли с овацией: *pedibus in hanc sententiam itum est.*

87. *Syllenius*: Килленийский бог — Гермес, Меркурий, от горы Киллене, в Аркадии.

88. Illue unde etc. Стих Катутлла в «Плаче на смерть воробья» (III, 12). Перевод Фета.

88а. Смотри, Юпитер, и т.д. *Videris, Jupiter, an in causa mala, certe in tua.* Сдается мне, Юпитер, что за великую ли, нет ли — вину казнен Силан, но во всяком случае она — твоя.

89. *Via Sacra* — центральная улица Форума.

89а. Все были в духе, всюду звенел смех: *omnes laeti, hilares.*

90. *Agatho et pauci causidici plorabant.. Jurisconsulti e tenebris procedebant.* Об адвокатуре см. главу 2-ю.

91. Нения, — похоронная песнь, исполняемая родней и близкими людьми покойника или плачами, причитания, «завойки» русских народных похорон.

92. Как наддаст бежать и пр. Клавдий и ходить то едва мог с парализованной ногой своей.

93. Отношениях Рима к парфянам, победы Клавдия, над которыми иронически оплакивает нения, см. в 3-м томе главу «Восточный вопрос».

94. Хоть не очень-то тем поранил он удира-

ющих мидян-ворогов, пестрохалатников:

Qui precipites
Velnere parvo
Figeret hostes,
Pictaque Medi
Terga fugacie

Кто поражал малой раной стремительных врагов и раскрашенные спины убегающих мидян.

95. И бригантов злых синеглазый люд и т.д.

Et caeruleos
Scuta Brigantas
Dare Romuleis
Colla catenis
Jussit, et ipsum
Nova romanae
Jura secures
Tremere Oceanum.

Он заставил голубоглазых щитоносцев Бригантов склонить выи под иго потомков Ромула и даже самый Океан — трепетал перед новыми законами римского топора.

Бриганты — могущественное британское племя, обитавшее ныне графства Йорк-

шир, Ланкашир, Дургэм, Вестморлэнд, Кумберлэнд и южную часть Нортумберлэнда. Главный город их Eburacum, ныне Йорк. (Lubker.)

96. Тебе место отдаст, сам в отставку подаст мертвецов судья.

Tibi jam cedit
Sede relictā,
Qui dat populo
Jura silenti...

Ужо тебе уступит место, покинув судейские кресла, владыка ста городов критских, судья молчаливого народа.

То есть — Минос.

97. O causicide, venale genus. См. 2-ю главу, об адвокатуре.

98. И поэтики желторотые.

Vosque poetae
Lugete novi.

Клавдий покровительствовал начинающим стихотворцам, особенно тем, которых в наши дни стали звать «стилизаторами»: декадентам, пытавшимся воскресить архаический язык и древнейшую литературную манеру.

99. А уж паче всех шулерам рыдать и т.д.

Vosque in primis

Qui concusso

Magna parastis

Lucra fritillo.

А прежде всех восплачьте те, которые нажили большие богатства, тряся игральный стаканчик.

О страсти Клавдия к азартной игре в кости см. Светония, Клавдий, 33. Он даже сочинил руководство игре этой.

100. Талфибий богов: Илиада, I, 320—348.

Но обратился (Агамемнон) к Талфибию и к Эврибату — Оба глашатаи были они и проворные слуги.

(Н.М. Минский.)

Меркурий уводит Клавдия, как рассыльные Агамемнона увели у Ахиллеса Бризеиду. За то он и Талфибий.

101. Там между Тибром и Крытой улицей (via Tecta) провалился он в ад. См. в 4-й главе о секулярных играх — урочище Тарент.

102. Вольноотпущенник Нарцисс, через какую-то кратчайшую лазейку и т.д.
Antecesserat jam compendiaría via Narcissus

libertus, ad patronum exsipiendum. Нарцисс был убит по смерти Клавдия, — стало быть, чтобы упредить господина своего в аду, пришлось воспользоваться временем, покуда боги судили Клавдия на небе, и каким-то потайным дворцовым ходом.

103. Nitidus, ut erat a balneo. Ш. Розуар и Алексеев переводят это — «frais et parfume comme un homme sortant de bain», «чистый, сейчас из ванны». Я полагаю, что balneum здесь напоминает о Синуессе, где Нарцисс был умерщвлен. См. выше главу 3-ю и ниже 8-ю. Также во втором томе. Этот смысл оправдывает и дальнейшая заметка вскользь — quamvis podagricus esset. Характер Нарцисса, как органически льстивого холопа, старого барского слуги, насквозь лакея, написан в немногих строках с яркостью, обличающей в памфлетисте недюжинный беллетристический талант. Это — «образ».

103а. У врат Адовых — ad januam Ditis.

Dicto citius. Отто переводит: kaum gesagt, не успел сказать.

104. Ut ait Horatius. Оды. L. II. In arborem etc.:

Quid mirum, ubi illis carminibus stupens
Demittit atras bellua centiceps Aures...

105. Claudius Caesar venit — дворцовая формула доклада о выходе государя к ожидающим его приема.

106. Отбивая такт в ладоши и т.д. — cum plausu procedunt cantantes.

Речь идет о ритуальном пении под аккомпанемент ритмического хлопания в ладони. Мастеров таких размеренных аплодисментов впоследствии Нерон выписывал из Греции и Египта.

107. Ευρησαμεν, ουχαρωμεν — «мы его нашли, возвеселимся, братие!». Ритуальный хор из таинств Изиды: нашли Озириса, умерщвленного и растерзанного Тифоном.

Христианский апологет Афинагор в «Прошении о христианах», будто бы поданном Марку Аврелию и Коммоду, говорит:

— Сами вы лучше знаете, что писатели думали... об Изиде, которую считают сущностью века, из которой все произошли, и через которую все существуют. Или об Озирисе, который умерщвлен братом Тифоном и которого члены Изида искала, вместе с сыном Ором, и

нашедши украсила гробницей, доселе называемой Озиридской. Вращаясь туда и сюда около видов вещества, они отступают от Бога, созерцаемого разумом, а обоготворяют стихии и их части, давая им разные названия: посев хлеба называют Озирисом (потому-то, говорят, в мистериях при обретении членов его или плодов, они восклицают к Изиде: «нашли мы, радуемся»); виноградный плод — Дионисом, а само дерево — Семелой; свет солнечный — молнией.

108. *C. Silius cos. design.* Тот самый, за которого Мессалина вышла было замуж от живого Клавдия. Этот странный роман, принадлежавший к наиболее знаменитым и поэтическим страницам Тацитовой летописи (XI, 12, 26—36), кончился кровавым разгромом двора Мессалины. См. выше в 1-й и 3-й главе, а подробнее во втором томе «Зверя из бездны». Остальные лица, упоминаемые вместе с Силием, жертвы того же разгрома. О Веттии Валенте см. выше в 5-й главе, о медицине.

109. Дирижировал Мнестер. *Medius fuit in hac cantantum turba etc.* Невольный любовник Мессалины. См. о нем в третьем томе главу

«Театр и толпа». Напрасная и жалкая смерть этого несчастного — трагикомический эпизод в бойне, которой Нарцисс и другие вольноотпущенники истребили Мессалианскую партию. Taciti Ann. XI, 31.

109a. По эстетическим соображениям — *decoris causa*.

110. Секст Травл (Монтан). Там же. «Не была принята защита и Травла Монтана, римского всадника. Это был скромный юноша, но замечательной красоты. Он был приведен к Мессалине помимо своего желания и в течение одной ночи прогнан ею, так как она была одинаково капризна в сладострастии и в отращении». Пер. В.И. Модестова.

111. Полибий — один из влиятельнейших вольноотпущенников Клавдия, товарищ его ученых трудов. Его громадное придворное значение выясняется льстивой статьей *Consolado ad Polybium*, которую в форме послания адресовал ему Сенека из ссылки своей на о. Корсику. Также Suet. Claud. 28.

112. Παντα φίλων πληρη — всюду, (куда ни взгляни) друзья.

113. Я тебе покажу, где раки зимуют. Ego

tibi hic sellas ostendam. Я покажу тебе место здешнего судебного присутствия. Я перевожу эту фразу угрожающей половицей, потому что чувствую в ней усиление предшествующего in jus eamus.

114. Lex Cornelia de sicariis et veneficiis. О преступлениях против жизни, включая сюда не только человекоубийство открытой или тайной грубой силой: ножом, ядом и т.п., но и ложное обвинение кого-либо в преступлении, наказуемом смертной казнью. Обвиняемый по этому закону имел право выбора — желает ли он приговора открытой или тайной подачей голосов (palam an clam). Adam, I, 294.

114а. С большим азартом: accusat magnis clamoribus, обвиняет сильным воплем.

115. *δσα φαυδοζ τε ιονιζ τε. Илиада, IX, 385.* Пер. Н.М. Минского. У Гнедича: «сколько песку здесь и праху».

116. P. Petronius. Имя совпадает с именем крупного государственного человека времен Тиберия и Калигулы. Но, в качестве наместника Малой Азии и Сирии, П. Петроний явил там много ума, политического такта и гуманности (в еврейском вопросе), что странно бы-

ло бы встретить этого Петрония обруганным шутком гороховым в памфлете Сенеки. Впрочем, при Клавдии П. Петроний, должный быть уже не молод, кажется, жил не у дел и на покое, хотя при дворе и в великом уважении. (Luebker.) Мы еще встретимся с этим П. Петронием в 4-м томе «Зверя из бездны.»

116а. Который в суде своем руководствуется лишь законом высшей справедливости: homo justissimus.

117. Ει ιε παροι etc. Формула Эака принадлежит, собственно, другому судье, Радаманту. Она взята из одного потерянного сочинения Гезиода.

118. Si uni dii laturam fecissent. Гроновус толкует — laturam gratiam: если боги окажут льготу одному из страдающих мучеников преисподней.

119. Жестокое обращение Кая Цезаря с Клавдием засвидетельствовано историками. Suet. Caligula. XXIII. Побои, наносимые им Клавдию, в глазах здравомыслящего римлянина, доказательство от противного, что Клавдий — его, Калигулы, собственный раб. Нельзя бить безнаказанно свободного челове-

ка: он позовет обидчика к суду; нельзя бить чужого раба: потянет к суду его господин и взыщет убытки.

120. *Adjudicatur C. Caesari: ilium Aeacus donat. Is Menandro etc.* Некоторые, в том числе В.И. Модестов, переводят: «Клавдий присуждается К. Цезарю, он дарит его Эаку. А тот Менандру, своему вольноотпущеннику» и т.д. Мне кажется это натяжкой, цель которой — непременно приплести к делу афинского-комедиографа Менандра. Нечего и говорить, что последний никак не мог быть вольноотпущенником Калигулы, который жил 400 годами позже, но с какой стати он и Эака-то вольноотпущенник? Я прежде тоже поддался было соблазну этого омонима (в «Антиках»), но теперь пришел к убеждению, что греческому комику решительно неоткуда здесь вынырнуть. Речь идет просто о каком-то греке-вольноотпущеннике, служившем при Калигуле начальником одного из отделений собственной канцелярии принцепса. *Menandros a cognitionibus* такой же греческий чиновник государев, как *Pallas a rationibus*, *Eraphroditas a libellis etc.* Об организации высочайшей кан-

целярии при римском принципате будет подробно говориться во втором томе «Зверя из бездны». Правда, первую надпись, свидетельствующую об отделении а cognitionibus, мы имеем от эпохи Клавдия, но это не доказательство, чтобы его не было уже во времена Калигулы. Чиновник же Клавдия adjutor а cognitionibus) — подобно Менандру — носит греческое имя: Феодот. Считать того Менандра афинским комедиографом мы имеем не больше прав, чем этого Феодота — одноименным учеником Сократа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КТО ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ?

I

Сатире на смерть Клавдия мы обязаны весьма поэтическим портретом семнадцатилетнего Нерона. Юный император изображен писанным красавцем. Даже парка Лахеза очаровалась им. Он подобен Аполлону обликом и красотой, не уступая ему ни в искусстве пения, ни голосом. Он Люцифер, Геспер и даже утреннее Солнце. Светлый лик его блистает кроткими лучами, густые кудри падают на прекрасную шею. Напротив, Светоний оставил потомству описание наружности Нерона в чертах, гораздо менее привлекательных. По его рисунку, Нерон не имел отнюдь ничего общего ни с Солнцем, ни с Утренней и Вечерней Звездой. Заурядный человек среднего роста (*statura prope justa*), он, однако, по-видимому, умел не теряться в ряду других мужчин и казался выше, чем был на самом деле. Выручали его в этом отношении хорошая посадка крупной и мощной головы, широкие плечи

и сильно выпуклая, настоящая теноровая, грудь. Склонный к ожирению, к тому же большой охотник выпить, он рано отрастил себе двойной подбородок (*servise obesa*) и толстый живот, который выдавался еще больше от контраста с тонкими ногами (*ventre projecto, gracillimis cruribus*). Это тонконожие Якоби считает типическим признаком наследственности от Юлиев. Август, его прапрадед, прихрамывал на левую ногу — в результате, судя по лечению горячим песком, запущенного в детстве рахитизма. Друг Старший, Германиков отец, которого Якоби считает добратно зачатым сыном Ливии от Августа, умер от перелома ноги. Обстоятельство, правду сказать, еще не достаточное для установления кровного родства. Знаменитый герой и любимец Тацита, Германик-сын, *divus Germanicus*, имел ноги тонкие и слабые и укреплял их ежедневной верховой ездой. Младший брат его, Клавдий Цезарь, — мы только что видели, — подвергался посмеянию за свою шаткую походку и слабые, подгибающиеся колени: он с трудом передвигал ноги. В следующем поколении рахитический при-

знак этот еще ярче выражен. Кай Цезарь отличался, при громадном росте, поразительно тонкими ногами и часто страдал в них такими ломотами, что не мог ни ходить ни стоять.

Тело Нерона природа щедро усыпала родинками и пятнышками (*corpore maculoso*), — вероятно, как большинство рыжеватых и голубоглазых людей с нежной кожей, он был подвержен веснушкам. На нежность же кожи указывает способность Нерона легко краснеть лицом, уже от природы слишком румяным, отмеченная в памфлете лже-Лукиана на прорытие Коринфского перешейка. Лицо Нерона — в общем, как признает и Светоний, красивое, — имело неприятное выражение (*vultu pulchro magis, quam venusto*). Будучи очень близорук (*oculis caesiis et hebetioribus*), Нерон носил, по указанию Плиния Старшего, в помощь своему дурному зрению, нечто вроде монокля — изящно отшлифованный изумруд. Если же он вглядывался в предмет без этого инструмента, то должен был щурить глаза, что и обратилось у него в дурную и очень характерную привычку, отразившуюся в его статуарных и монетных изображениях.

Волосы Нерон имел с золотистым отливом (*sufflavo capillo*) ; борода же у него росла, по наследству от Домициев Аэнобарбов, рыжая. Стыдясь ее цвета, а может быть, чтобы не напоминать ею, как фамильной уликой, Аэнобарбов, что он в династии Юлиев-Клавдиев не более как чужак-приемыш, император рано перестал носить бороду. Обыкновенно римляне не брились наголо до сорокалетнего возраста (Нерон умер на тридцать втором году); изящная стрижка бороды (*barbati bene*) вошла в моду для молодежи в веке Цицерона и держалась крепко, окончательно восторжествовав над обязательным бритьем лишь в эпоху Антонинов, от которой сохранились в искусстве наикрасивейшие римские бороды Люция Вера и Коммода. Однако безбородие — отнюдь не необходимый признак Нерона. На одной медной монете уже от 64 года, когда Нерону было 27 лет, в эпоху великого римского пожара и предполагаемого гонения на христиан, император увековечен с легкой бородкой. Это одно из наиболее реалистических монетных изображений Нерона, — тем не менее он здесь очень хорош собой, а выражение

сытого лица его, вопреки Светонию, беспечно и добродушно. Судя по одному стиху сатирика Персия о козлоподобных свитских офицерах (*gens hircosa centurionum*), борода не была редкостью при палатинском дворе Нерона; а известно, что придворные и военные всегда и везде стараются подражать в манерах и наружности своему государю. Кудрями своими Нерон гордился и ухаживал за ними, сочиняя себе эффектные прически. Обычно он носил волосы круто завитыми в лесенку, но когда, обращаясь из государя в артиста, впадал в питический восторг, то распускал локоны по плечам, на подобие Аполлона Кифарэда, как то описано и в сатире на смерть Клавдия. В таком виде, например, Нерон совершил свое пресловутое артистическое путешествие по Греции. В дополнение своей, довольно типической, картины вырождения, Светоний упоминает еще об одной, очень противной черте Нерона: от него дурно пахло (*corpore foetido*).

Примирить идеальный образ Нерона в сатире с грубыми паспортными приметам в книге лаконического Светония довольно мудрено, однако не невозможно. Нельзя не дове-

рять Светонию — добросовестнейшему из компиляторов, но, с другой стороны, было бы ошибкой отнести всецело за счет придворной лести и портрет в сатире. Разумеется, Сенека, если он автор *Aprocolokynthosis*'а, мог и даже должен был преувеличить обаяние наружности юного государя, с целью тем ярче оттенить, противопоставленное ему, физическое безобразие покойного Клавдия, — однако, не до такой же степени. И Сенека был слишком умен, чтобы обращаться к уроду с лестью его красоте, и Нерон, а тем более Агриппина, его мать и соправительница, были не настолько наивны, чтобы с удовольствием принимать похвалы, грубо противоречащие действительности и через то более похожие на злую насмешку. Нерон неловкой лести не любил и очень ею обижался. Стало быть, заключенный в сатире, портрет Нерона, если и польщен, то не до нелепости, и молодой цезарь был в самом деле достаточно хорош собою, чтобы сравнение его с небожителями и звездами не обратило панегирика в карикатуру, вроде той, которую для Клавдия создает похвальная нения или мнение сенатора Диспи-

тера в «Апоколокинтозе». К тому же явлением прекрасным и величественным изображает юного Нерона, из его современников, не один Сенека. В «Фарсалии» Лукана мы встречаем еще более восторженный гимн цезарю, повторяющий Сенекино сравнение с Аполлоном. Из Тацитовой летописи известно, что семилетним мальчиком, выступив на детском турнире троянского праздника, Нерон очаровал римлян своей красотой и искусством в верховой езде. Вообще, выступая публично, он всегда затмевал своего младшего брата по усыновлению, Клавдиева сына, наследного принца Британика. В отрочестве мать усиленно показывала Нерона народу — на празднествах, перед войсками, на ораторской трибуне. Подобной выставки такая умная, холодно расчетливая и далеко не ослепленная материнским пристрастием, интриганка, конечно, не допустила бы, если бы мальчик был неказист и антипатичен. Ренан, который определяет Нерона, как «чудовище, но не вульгарное», справедливо отмечает, что цезарь был любим женщинами, при том очень недюжинными, не только за сан его, но и за

личную обаятельность. Тем не менее, сам Ренан, воображая Нерона по Светонию, Плинию Старшему и четырем бюстам — ватиканскому, капитолийскому, палатинскому и луврскому — написал его в одной из глав своего «Антихриста» пугалом из старинной мелодрамы. По рассказу Тацита, Поппея Сабина, в своем кокетстве с Нероном, поддразнивала его именно тем, что, при красивой наружности, он лишен шика, в высокой степени свойственного мужу ее, лысому Отону.

Большинство романистов, драматургов, а также историков-романтиков, не исключая Ренана, для которых фигура Нерона была нужна, как чудовищное воплощение разврата эпохи, уродливый символ беспутного, пьяного, полного эффектными миражами, но отравленного самой горькой и жестокой действительностью «конца века», гримируют своего Нерона по Светонию. Можно противопоставить этому тенденциозному пристрастию, кроме монументальных данных, несколько отвлеченных соображений. Как бы ни были льстивы Сенека и Лукан, они — все-таки, современники Нерона и, даже прикра-

шивая, писали с натуры. Тацит, родившийся при Нероне, издал свою хронику почти пятьдесят лет спустя по смерти императора (между 115 и 117 годами), но должен был его видеть и помнить из своих детских лет. Ненависть Тацита к режиму Юлио-Клавдианской династии и к памяти Нерона беспредельна. Все, что можно сказать дурного о Нероне, Тацит сказал. Но он историк совестливый и хотя иногда бывает пристрастным, однако не до открытой распри с истиной. Ясно, что ни в своих воспоминаниях, ни у очевидцев эпохи Нерона Тацит не нашел дельных и достоверных показаний о физических недостатках этого принцепса, иначе — он не забыл бы отметить их остро и злобно, как сделал это для столь же ненавистного ему Тиберия, как, наконец, и для самого Нерона отметил жестокое выражение лица (*torvitas*). Затем необходимо принять во внимание, что по смерти Нерона являлось много самозванцев, принимавших его имя, при чем об одном из них известно, что относительную удачу его обусловила исключительная красота волос, напоминавшая покойного принцепса, и сходство с ним в го-

лосе и манере пения.

Что касается примет Нерона у Светония, не следует упускать из вида, что писатель этот принадлежит возрастом к поколению уже значительно по-нероническому (приблизительно к 75—160 гг. по Р. Х.); кроме того, он царедворец аристократической и философской династии, при которой не только имя Нерона, но и память всей Юлио-Клавдианской фамилии была не в фаворе. Сам Светоний, как образцово добросовестный компилятор чужого материала, неспособен к тенденциозной предвзятости описания. Но материал, которым он пользовался, легко мог не отличаться тем же беспристрастием. В настоящее время можно считать доказанным, что Светоний очень мало знал, а быть может, и вовсе не знал Тацита, хотя пользовался некоторыми его источниками. При этом Светоний, как талант несравненно меньшего размера, безразличный и доверчивый, заносил в свои жизнеописания из старых антинеронианских памфлетов многое, чего Тацит не принял вовсе или что принимал с критическим выбором и оговорками. Флавианская реставрация госу-

дарства гнала память Нерона, очень популярную в простом народе, не только политически, но и через искусство и литературу. Иосиф Флавий, в девяностых годах первого века, прямо заявляет, что не хочет писать о Нероне, ибо хотя со смерти императора прошло всего тридцать лет, однако, по противоречивости известий о нем, Нерон уже потерял историческую достоверность, успел стать существом сомнительным, как бы баснословным. «Многие повествовали о Нероне; одни из них, которым он оказывал благодеяния, из признательности к нему извращали истину, другие из ненависти и вражды настолько нагнали на него, что не заслуживают никакого извинения». При антипатии к имени Нерона сперва Флавиев, потом Нервы, Траяна и тесно согласной с их правительством, покровительствуемой литературно-философской аристократии, вполне понятно и естественно, что — из сплошь тенденциозной литературы о Нероне — панегирики ему забывались, терялись, исчезали, не возобновляясь изданиями за давностью интереса и ненужностью новым поколениям, — может быть даже, нако-

нец, уничтожались преднамеренно. Наоборот, памфлеты были в чести, сохранялись, переиздавались, пока сила долгого обращения в публике не придала им авторитета как бы летописных неопровержимых свидетельств. Тацит, хотя и озлобленный против Нерона, не доверял памфлетическому материалу и пользовался им еще с осторожностью. К временам же Светония памфлеты уже приобрели повелительный авторитет давности, и он черпал из них сведения без разбора. Редкий политический памфлет обходился без того, чтобы ненавистный автору деятель не был осмеян в своих физических недостатках или хотя бы только в особенностях. Усы Петра Великого, а в наше время Вильгельма II, брюшко Наполеона, тучность Изабеллы Испанской либо Эдуарда VII, грушевидное лицо Луи Филиппа, лысина Бисмарка, нос Фердинанда Болгарского, монокль Чемберлена нашли себе преуродливое зеркало в политической карикатуре двух столетий новейшей истории. Вообразите себе историка, который, за неимением других источников, вынужден был бы описать Петра Великого по намекам старообрядческой карик-

катуры «Как мышцы кота хоронили», либо Бисмарка по пресловутым трем волоскам «Кладдерадача».

Видемейстер и Латур Ст. Ибар, на основании флорентинских бюстов Нерона, представляющих цезаря в разные эпохи жизни, полагают правыми обоих — и Светония, и Сенеку: то есть, — что от природы Нерон был хорошенький мальчик, но затем, параллельно с нравственным падением, разрушилась и его телесная красота. Самый ранний из флорентинских бюстов представляет Нерона кротким ребенком, с улыбкой, полной невинной прелести. Таким он был, когда восхищал римлян, как крошка-всадник троянской карусели. Второй бюст — Нерон-отрок — доверчивое, открытое лицо; славный жизнерадостный мальчик, который вкусно наслаждается зарей своего бытия: любит всех и вся вокруг себя и привязывается к людям по инстинкту первой симпатии, не разбирая — к кому и за что. Это — здоровый и веселый кадет в отпуску на летние каникулы: баловень ласковой тетки Лепиды, ученик Бурра и Сенеки, далеко не замученный ни маршировкой с первым,

ни научными классами второго. Таким был Нерон, когда вступил в дом Клавдиев и был объявлен женихом Октавии. Третий бюст изображает Нерона в период ранней возмужалости. Перед нами великолепное лицо умного, энергичного юноши-энтузиаста, озаренное светом могучих помыслов, сверкающее царственной гордостью, — однако, уже не без капризной надменности. Заметно, что терпение — не в числе добродетелей этого красавца, что он вспыльчив до бешенства и не привык считаться ни с препятствиями, ни с противоречиями. Это — страстный любовник Акты, восторженный поклонник певца Терпноса, строптивый сын Агриппины, либеральный правитель-говорун золотого пятилетия, веселый, буйный бурш Фламиниевой улицы и Мильвиева моста и, в то же время, пожалуй, уже убийца Британика, а в близком будущем — убийца Агриппины и Октавии. Образ четвертого бюста — тот сатанический Нерон, которого все знают по Тациту, Светонию, Диону Кассию и вдохновленным ими новейшим историкам, романистам, драматургам, живописцам и актерам-трагикам. Толстолицая ка-

менная маска, искаженная до животной тупости пороками, человеконенавистью, распутной роскошью, бесхарактерным сластолюбием, изнеженным потворством всем страстям и похотям зажирелого и с жиру беснующегося тела. Это уже — он, живой Антихрист, апокалипсический «Зверь из бездны», олицетворенное озлобление плоти против духа, материи против силы. В чертах Нерона на флорентийском бюсте столько лицемерия, запечатлена такая сатанинская гордость, такое неукротимое чванство собой и глубокое презрение ко всему остальному миру, что невольно ищешь в этом последнем чувстве демонического презрения — разгадки таинственному характеру странного цезаря и объяснений его легендарной жестокости.

Под четыре флорентинские категории Латур Ст. Ибара, принимаемые и Видемейстером, легко подвести все известные скульптурные портреты Нерона. Их разбросано по художественным галереям Европы очень много. Для детского возраста цезаря интересна капитолийская группа Агриппины с малюткой Нероном, — у него здесь еще булла на шее, —

а также бюст в Ливорно. Впрочем, Герман Шиллер считает оба мрамора сомнительными и, во всяком случае, очень прикрашенными. Для юношеского возраста необходимо отметить безымянный медальон латеранского музея; личность оригинала не установлена, но Бенидорф и Шене, а за ними Герман Шиллер полагают, что это Нерон.

По справедливому замечанию Видемейстера, попытки к характеристикам римских императоров по древним мраморам, на основаниях физиономики и френологии, удаются только в том случае, если наверное известно, кого и в какие годы изображает статуя: тогда очертания головы и склад лица искусственно подгоняются под исторические данные о психической жизни оригинала, и податливые науки Лафатера и Галля как будто торжествуют. Но если экзаменовать мрамор без предвзятого желания найти шишки таких-то, заранее известных, пороков и линии таких-то, прославленных летописями, добродетелей, он остается нем. Потерпели фиаско и антропометрические исследования. Трудно положиться на сходство дошедших до нас импера-

торских голов, хотя бы и Нерона. Почти все сомнительны.

Во-первых, огромное большинство — весьма посредственной работы: ремесленные копии с неведомых, исчезнувших шедевров, имевшие в быту Неронова Рима такое же значение, как в современном европейском быту — олеографические или дешевые красочные портреты царствующих монархов, помещаемые в школах, присутственных местах, украшающие квартиры небогатых патриотов и т.п. Это скорее символы гражданского подчинения, — иконы власти, а не портреты облеченного ею лица. Иногда они совсем первобытны, так что нечего и думать руководиться их декоративным сходством. Таковы бюсты провинциального происхождения: венский и испанские. Одна статуя, ныне находящаяся в мадридском музее, была извлечена из глухой арагонской деревушки после того, как в течение более чем тысячи лет ей поклонялись там, как чудотворному образу местного святого.

Во-вторых, при реставрации, одни статуи были подкрашены, другие искажены, третьи

сделаны почти заново и совершенно произвольно. Так, например, знаменитый капитолийский бюст, который вдохновил к характеристике Нерона не одного писателя, а между прочим и Ренана, оригинален только в нижней части лица и в шее: характерно выдающийся подбородок и дал идею считать найденный обломок остатком статуи Нерона, остальное приделано реставратором. Таков, по квалификации Гюбнера, Нерон музея Despuig Montenegro, с новой и дурной работы головой на античном бюсте.

Третье условие, затемняющее путь психологических определений по мраморам, — слишком заметная тенденциозность многих бюстов, рассчитанных то на преувеличенное впечатление злости, фальши, скотской чувствительности (таковы четвертый флорентинский бюст, а в особенности, знаменитейший из всех бюстов Нерона, луврский, в лучистой короне), то, наоборот, — поэтического благородства, поэтического вдохновения. Последним особенно усердно льстят Нерону статуи в честь его побед на греческих играх. Некоторые из этих скульптурных идеализа-

ций так ловко приближают черты Нерона к божественному типу Аполлона, что ими буквально оправдываются четыре стиха, которыми Огюст Барбье когда-то презрительно бросил в пластическое искусство:

Que leur importe Pordre? Aux yeux du statuaire,

Pour l'amant de la forme et des contours du jeu,

Le tyran est un homme et le tailleur de pierre
Peut du corps d'un Neron tirer le corps d'un dieu...

Таков, в особенности, ватиканский Кифаред, около имени которого уже не один исследователь поставил в скобках знак вопроса: Аполлон это или Нерон? Другой мрамор, в мюнхенской глиптотеке, принимают то за юного Нерона, то за Меркурия.

Ампер пытался разобраться психологически в триумфальных статуях Нерона по мраморам Капитолия и, преимущественно, Ватикана. На одних у Нерона толстое жирное лицо без всякого признака злости. На других он гораздо худее и имеет недовольный вид. Ампер объясняет эту разницу тем, якобы первые

изображают Нерона еще слепо влюбленным в свои таланты, счастливым своими успехами, искренно верующим в их действительность и правдивость. Вторые же портреты — Нерона, уже втайне разочарованного посредственностью своих дарований и свирепого оттого, что он не в силах примирить сознание своей посредственностью с громадно требовательным тщеславием. Там — Нерон, наивно счастливый аплодисментами, ему гремящими. Здесь — Нерон, заметивший, что публика, явно рукоплещая ему из страха и лести, мысленно освистывает его по требованиям здравого смысла и трезвого вкуса; Нерон, прочитавший намеки в сатирах Персия, памфлет Антисия Созиана, язвительное предсмертное письмо Петрония, эпиграмму Лукана. Мне психологические претензии толкований Ампера представляются чрезмерными. Только что было говорено, как мало доверия заслуживают именно те римские бюсты Нерона, которые дают французскому историку материал для предположения. Да и нельзя считать безусловно непогрешимыми дурные аттестации артистических данных Нерона у античных

писателей. И, наконец, самое главное и общее: по априорным схемам субъективного психологического рассуждения можно много наговорить о любом мраморном истукане, но не следует забывать великолепный афоризм Достоевского, что «психология есть палка о двух концах».

На юношеских бюстах облик императора напоминает общий изящный тип фамилии Юлиев. По всей вероятности, в это время, помимо очень возможного большого сходства природного, скульпторы, работавшие бюсты императора, преднамеренно подчеркивали его юлианские черты и, наоборот, затеняли родовой облик Домиция Аэнобарба: народ, созерцающий портреты своего молодого государя, должен был видеть его как можно теснее связанным, по физическому типу, с династией Августа и отнюдь не вспоминать об узурпации. На золотой монете 55 года, первого в правлении Нерона, тенденциозная идеализация императора в юношеский юлианский облик поразительно искусна. Просматривая галерею портретов Нерона, трудно верится, что хрупкий, тонкий, как бы прозрачный про-

филь молодого принца, украшающий эту монету, и тяжеловесная туша луврского бюста хотят передать черты одного и того же человека, Та же прелестная, но уже более возмужалая и, в полном смысле слова, артистическая, голова, с немножко капризным выражением лица, ярко отмеченного печатью таланта, видна на медной монете, выбитой в год первых Нероний, когда цезарь впервые появился перед публикой в качестве кифарэда. Здесь Нерон, так же, как и на луврском бюсте, в лучистой короне, символе бога-Солнца, которую он первый из императоров присвоил себе при жизни: ранее она придавалась только изображениям покойных государей, как знак апофеоза. На обороте монеты изображен Аполлон с лирой — юная, грациозная, воздушная фигурка, прекрасно дополняющая поэтическое впечатление головы цезаря-кифарэда. Из мраморов, сохранивших Нерона с юлианским типом, любопытен мюнхенский, взятый из виллы Альбани.

Позднейшие головы Нерона отмечают его болезненную, отечную одутловатость. В этом отношении характерны бюсты — опять-таки

луврский и capitoлийский, базальтовый флорентинский и один из мюнхенских из палаццо Русполи. На них — шея жирная, бычачья, сильно развился второй подбородок (напоминаю сказанное выше о находке capitoлийского бюста), глаза заплыли жиром и как-то сузились, — быть может, под влиянием дурной привычки щурить их, по слабому зрению. На большинстве бюстов-портретов, которые представляют Нерона без идеальных прикрас, близорукость императора ясно обозначена. Со своими, тяжело сдвинутыми к переносью, бровями и напряженным выражением лица, слегка устремленного вперед, справа налево, Нерон производит впечатление, будто он вглядывается в подходящего зрителя, хочет рассмотреть его насквозь и не может. Так оно и было в действительности. Стоя на натуре для скульптора, Нерон, конечно, не мог прибегать к своему моноклю и оставался полуслепым. Вот почему у него напряженный вид человека, разбившего очки или потерявшего *pinse-nez*. Отсюда, может быть, и недовольство, подмеченное Ампером на лицах некоторых артистических статуй

императора. Для актера близорукость — чрезвычайно мучительный порок, развивающий застенчивость и, в борьбе с нею, раздражительность. Иметь перед собой толпу и не видеть ее лиц — значит инстинктивно бояться ее массы и втайне враждовать с нею. Близорукий актер, обыкновенно, вместе с костюмом надевает и дурное расположение духа. Тацит свидетельствует, что Нерон был отчаянным трусом на сцене, мучительно волновался перед спектаклями. Красивая медная монета позднего периода — уже после армянского мира, потому что на обороте ее изображен символически запертый храм Януса, а он был заперт в половине 66 г., — тоже обличает сильную близорукость Нерона. Этот гордый и благородный профиль под лавровым венком можно рекомендовать трагикам и оперным певцам, исполняющим роль Нерона, к особому вниманию, так как он и очень красив, и в то же время с отличной реальностью воспроизводит характерные черты Нерона: жирную шею, выдвинувшийся вперед подбородок. Замечательный случай атавизма: на этой монете, а также на луврском и капитолийском бю-

стах нижняя часть Неронова лица являет заметное сходство с прадедом Нерона, знаменитым триумвиром Марком Антонием — как по монетным профилям последнего, так и по колоссальному бюсту в флорентинский Uffizi.

Нет решительно никаких оснований вообразить и изображать Нерона расслабленным, павшим на ноги, чуть не табетиком, как то делают иные современные актеры. Напротив, он был одарен завидным здоровьем (*valetudine prospera*). За четырнадцать лет своего правления, он болел (*languit*) только три раза, да и то причина одного из его недугов свалила бы в постель даже Геркулеса: Нерон вздумал купаться в ледяных ключах, питавших Марциев водопровод (*Aqua Marcia*). Светоний отмечает при том, что, выздоравливая, Нерон смеялся над диетой, пил и развратничал, как всегда. Разгул скользил по его железному молодому телу, не причиняя ему острого вреда. Алкогольное отравление и полая распущенность начали разрушать Нерона не извне, но с внутренней стороны: к тридцати годам жизни они совершенно исказили его психику, но тело оставалось еще

могучим и неутомимым. Нерон усиленно предавался атлетическому спорту, привил моду на него большому римскому свету, до весталок включительно, учреждал гимназии, то есть турнферейны с гимнастическими залами, на греческий лад, постоянно упражнялся в борьбе, председательствовал на атлетических состязаниях. Римская знать опасалась даже, что, не довольствуясь своими сценическими успехами, влюбленный в греков, цезарь пожелает выступить на Олимпийских играх в качестве атлета. В последние дни своего правления, Нерон мечтал, говорят, повторить на арене подвиг Геркулеса: убить палицей или задушить голыми руками льва, и, будто бы, был уже выдрессирован лев на этот редкостный случай. Трудно вообразить себе столь совершенную дрессировку царя зверей, чтобы он позволил убить себя без малейшего сопротивления. И кошку задушить руками не легкое дело, не то, что льва. В современных зверинцах когда дают свои представления укротители диких животных, зверей часто одурманивают предварительно наркотическими снадобьями. Но и пьяный, полуотрав-

ленный лев — страшная сила; чтобы пережить хоть несколько враждебных мгновений с глазу на глаз с ним, человек должен обладать большим мужеством, стальными мускулами, ловкостью и, — может быть, главное, — уверенностью в себе, твердым сознанием, что он и силен, и ловок. А некоторое, хотя бы самое короткое и слабое, подобие борьбы было необходимо. Иначе появление Нерона-Геркулеса на арену вышло бы смехотворным, а он видеть себя в глупых и комических положениях очень не любил, попадать в них остерегался, и когда, все-таки, попадал, то потом жестоко мстил. При том он вовсе не был охотником до номинальных побед, взятых условно чужими руками, и хотя держал на жалованье армию клакеров, хотя страшно ревновал к успеху других артистов и старался сбывать опасных соперников с рук всеми способами, не исключая убийства, — тем не менее и был, и слыл классиком и педантом своей программы и всегда настаивал, чтобы формы публичных конкурсов, состязаний, игр соблюдались с строжайшей точностью. Так что, если он, в самом деле, собирался бороться со львом, то,

стало быть, надеялся на себя; а, если то была только легенда народной молвы, то, значит, атлетическая репутация Нерона стояла в Риме не худо, и его считали способным рискнуть на Геркулесову охоту. В Греции Нерон вызвал к себе старого атлета Памменеса, оставившего карьеру не побежденным, чтобы, победив его, иметь право опрокинуть его статуи. Конечно, борьба была шуточная, и Памменес поддался атлету-государю. Но — развинченный, слабый на ногах, пшютт не выдержал бы даже примерных приемов профессиональной борьбы с таким грозным чемпионом, не говоря уже о том, что, выступая против богатыря, Нерон, будь он тщедушен, опять, значит, напрашивался на публичное сравнение в самом невыгодном контрасте.

О физической силе и ловкости говорит и наследственная страсть Нерона к наездничеству на бегах, в котором он упражнялся с самого раннего возраста. Быть может, он был неважный наездник, хотя, начав практику чуть не с пеленок, нет ничего мудреного выработаться к годам зрелости и в хорошего. Но уже для того, чтобы вообще-то быть наездни-

ком, при условии бешеного колесничного бега античных ристалищ, нужны были человеку очень крепкие ноги, умелые, сильные руки, присутствие духа, проворство. Нерон хвастался, что он ездит, как само Солнце. Во всех своих увлечениях Нерон никогда не довольствовался обыкновенным, средним, обязательно хватался за *tours de force*. Так и в беговом деле. Вместо обычной четверни рысаков, он — *incredibilium cupitor* — выехал в Олимпии на десяти. Дерзость не прошла ему даром: кони сбросили его с колесницы, а когда он, оправившись, опять занял кучерское место, то почувствовал себя так дурно, что не мог кончить бега. Но, раз жизнелюбивый и болебоязненный человек, как Нерон, рисковал жизнью, надо думать, что опять-таки имел он основания, чтобы в столь опасной игре надеяться на себя. А его ночные похождения на Фламиниевой улице и у Мальвиева моста? Вечные потасовки, драки с неизвестными, кулачные бои *incognito*? Все это уличное ухарство говорит о сильном и грубом бурше-забияке, у которого молодые, здоровенные мускулы горят нетерпением помериться

энергией с другими мускулами: «раззудись плечо, размахнись рука».

Мужчина слабого или дурного сложения старается обыкновенно скрыть свои физические недостатки, насколько то возможно, тщательностью в костюме. О Нероне, наоборот, известно, что, подражая модам и манерам артистов не только на сцене, но и в частном быту, цезарь доводил поэтический беспорядок в туалете до неприличия: одевался, как попало, лишь бы не надеть два раза одного и тоже же платья, интересничал распущенностью и даже на официальные приемы сенаторов выходил в цветном балахоне, без пояса, босой, имея на шее небрежно повязанный платок. Увлекаясь гимнастическими упражнениями, цезарь не боялся обнажаться для них публично. Филострат сообщает, будто знаменитый философ — чудотворец неопифагорейской секты, Аполлоний Тианский, встретил Нерона в трактире при гимназии совершенно голым, лишь с поясом на бедрах, «точно молодец из публичного дома». В предполагаемой борьбе со львом, — говорит Светоний, — Рим ожидал увидеть своего повели-

теля также совсем нагим.

Как большинство близоруких людей, Нерон был мало способен к танцам. Но, перепробовав себя во всех видах театрального искусства, он, в последний месяц жизни, готовился выступить и в балете — на сюжет Вергилия «Турн». Однако балет ему не дался. Правда, что и учиться он начал слишком поздно, уже отяжелев, нажив брюшко и утратив юную гибкость ног. Тем не менее, неудача его очень огорчила, и с досады он, будто бы, приказал убить своего танцмейстера и друга Париса, великого римского хореографа. Дион Кассий это утверждает. Светоний только отмечает с сомнением. Герман Шиллер, допуская возможность казни Париса, справедливо называет ребяческой мотивировку ее у Диона. В Риме было много великолепных танцовщиков, — например, иудей Алитур, тоже приятель Нерона и благодетель Иосифа Флавия. Следовательно, убив Париса, лучшего из них, Нерон, тридцатилетний начинающий дилетант, все-таки никак не мог бы удовлетворить тем свою аристократическую ревность и тщеславие: ведь, все равно, не он ока-

зался бы на месте умерщвленного Париса, но Алитур или, за ним, еще целый ряд других светил профессионального балета. Парис легко мог погибнуть из-за причин, не имеющих ничего общего с театром. Гениальный артист был одержим опасной страстью вмешиваться в придворные интриги. Столкновения высших дворцовых сфер неоднократно грозили уничтожить самонадеянного вольноотпущенника, но Нерон, страстный поклонник дарований Париса, всякий раз выручал его{16}. В тяжелые последние месяцы Неронова правления, когда атмосфера была полна действительными и подозрительными заговорами, Парис, вероятно, оказался или был выставлен причастным к одному из них, а тогда было время казней, испуга и гнева, не знавшего милости, — и злополучный танцовщик-политикан расстался с жизнью. Неспособность к балетным танцам еще не отказывает Нерону в грации. Лже-Лукиан, в памфлете своем на греческие гастроли Нерона, отзывается с похвалой об его театральных манерах: он — де мастер жеста и позы и, вообще, знаток сцены — даже в мере гораздо большей, чем то

прилично государю.

«Божественный» голос Нерона — историческая загадка. Из лже-Лукиана видно, что о достоинствах пения Нерона спорили ожесточенно уже при жизни цезаря. Одни находили, что он никуда не годный певец, другие — что превосходный. В числе последних ценителей — автор сатиры на смерть Клавдия. Тацит, говоря об уже помянутом выше самозванце, который принял имя Нерона, объясняет его успех, помимо физического сходства, еще тем, что он был мастер петь и играть на кифаре (*citharae et cantus peritus*). Но о качествах Неронова голоса отзыва у него нет. Опять скажу, что если бы голос был уж очень плох, то при том негодовании, с каким Тацит рассказывает о сценических беснованиях Нерона, он не удержался бы отметить, что мало было цезарю унижать себя в роли оперного певца, но еще и в певцы-то он не годился. Светоний утверждает, что голос Нерона был слабый и глухой (*exigua et fusca*), не пригодный для большой сцены, к которой он стремился, подстрекаемый похвалами льстецов. Самую подробную рецензию о вокальных

данных Нерона дает, не раз уже цитированная, стоическая сатира против прорытия Коринфского перешейка, которая прежде приписывалась Лукиану и включается в собрание его сочинений. По лже-Лукиану, Нерона, что касается голоса, не за что было ни особенно хвалить, ни особенно порицать: голос не феноменальный, но и не дурной; отрицательным его качеством являлась деланность звука: по-видимому, Нерон злоупотреблял фальцетом. Владел голосом он хорошо, аккомпанировал себе на лире тоже удачно, о хороших сценических манерах было уже говорено. Промахом Нерона-певца лже-Лукиан почитает его стремление равняться с первоклассными артистами: тут, как ни опасно слушателю смеяться, когда поет Нерон, а трудно удержаться от смеха. Потому что тогда ярко определяются естественные недостатки Нерона: он раскачивается в ритм; набирая дыхания, подтягивает живот и поднимается на цыпочки; от усилия и рвения спеть как можно лучше, он, слишком румяный уже от природы, наливается в лице кровью; и, тем не менее, — так как и голоса, и дыхания у него немного, —

то очень часто ему, по необходимости, недостает ни того, ни другого. Из рецензии Лже-Лукиана следует, что артистическая ошибка Нерона состояла в обычном для певцов-дилетантов заблуждении, будто искусство их, — в частном круге ценителей, при комнатных условиях, иногда, действительно, даже более приятное, чем пение настоящего оперного певца, — годится и для большой публики. Если подобному самообольщенному дилетанту удастся осуществить свою заветную мечту — спеть в театре, то, каков бы ни был исход спектакля, бедняга-дебютант почти непременно впадает в манию величия и, если ему не везет, исполняется уверенности, что его не понимают, что ему все завидуют, что он окружен врагами, — а в то же время втайне постоянно трепещет от инстинктивного недоверия к своему дару и к своим силам. Из всех сценических деятелей эти непризнанные и полупризнанные вокальные гении — самые несчастные люди и самые несносные, потому что мало-помалу из них вырабатываются надоедливые и злобные театральные интриганы, Каким, по единодушному свидетельству

античных историков, был и Нерон. Что пел он искусно, есть обмолвка и у Светония, в рассказе, как циник Исидор обозвал Нерона хорошим певцом, но плохим дельцом. Нерон снес эту грубую выходку равнодушно. Гораздо опаснее было хулить его пение: неуважение к его голосу погубило Британика, Тразею, ввело в немилость Веспасиана. Нерон очень спокойно принял известие о восстании Виндекса, но вышел из себя, когда — в своих революционных прокламациях — вождь галльских инсургентов обругал его плохим кифарэдом. Известно, что цезарь очень берег свой голос, хотя смешные анекдоты о предосторожностях, которые заставляли его проделывать медики, плохо вяжутся с рассказами о пьяной и распутной жизни, которую он вел и которой долго не выдержал бы даже самый прочный тенор. Что-нибудь одно из двух: либо Нерон не так уж повседневно пьянствовал, либо не так педантически берегся. Сохраняя голос для сцены, в частном быту своем цезарь остерегался говорить громко — настолько, что даже, будто бы, перестал здороваться со своим почетным караулом и поручал другим произно-

сить за него приветствия к войскам и народу.

В романах и пьесах о Нероне принято выводить его на сцену в одеждах аметистового цвета. Основой тому служит рассказ Светония, что Нерон запретил частным лицам ношение аметистового и тирийского пурпура и тем как бы монополизировал эти цвета для себя. В действительности, его запрещение — не более, как одна из мер против роскоши, какие принимались и ранее Нерона — Юлием Цезарем и Августом, и многими императорами после него. Фунт пурпурной шерсти высших сортов, которые впоследствии технически назывались *blatta*, стоил в век Юлия Цезаря от трехсот до тысячи марок. В веке непосредственно по-нероническом Марциал оценивает плащ из лучшей пурпурной шерсти в десять тысяч сестерциев, что равняется 2.175 маркам — тысяче рублей. Название аметистового пурпура, крашенного в смеси черного сока пурпурной улитки с соком улитки *visinum*, само говорит за свой цвет. Что касается тирийского и лаконского пурпура, особенно дорогого по двойной окраске сперва в соку пурпурной улитки (*pelagium*), потом в

bucinum, он был темнокрасный, со способностью отливать на солнце в разные цвета (couleurs changeantes; vestes versicolores). Светоний отметил, что на Нероне был пурпурный плащ и хламида, усеянная золотыми звездами, при триумфальном въезде в Рим после греческих гастролей. Но по такому высокоторжественному случаю, конечно, нельзя выводить общего заключения, что Нерон, с его хвастливой манерой не надевать одного и того же платья дважды, всегда щеголял в аметистовом и тирийском пурпуре. У того же Светония находим укор Нерону за его пристрастие в домашнем обиходе к халату с цветами (synthesis). На последнем своем новогоднем приеме цезарь явился драпированный в плащ, тканый золотом по белому. Плащу этому суждено было, пять месяцев спустя, послужить саваном, в котором положили Нерона на погребальный костер. После греческих гастролей, Нерон приказал изображать его на статуях в костюме кифарэда и увековечил себя в этом же виде на монетах.

Нерон не обладал военными и государственным талантами, но был бесспорно неглуп, а память имел блестящую. Иначе ему не удалось бы в четыре года завоевать образованность — настолько разностороннюю и эффектную, что впоследствии порицатели стихов цезаря ставили ему упрек, будто бы в его поэзии ученость идет в ущерб вдохновению. Мы видели: одиннадцати лет отроду Нерон был едва грамотен, а пятнадцати лет с небольшим он уже адвокатствовал по-латыни и гречески. Какой бы кучей льстецов и клакеров ни был окружен юноша при этом своем дебюте, все равно: выход, в качестве оратора, перед римский форум, бесстрашный и безжалостный, требовал полной уверенности и Нерона в себе, и Сенеки с Агриппиной в Нероне. Этот страшный, насмешливый, безбоязненный зубоскал-форум, не стесняясь, хохотал над Клавдием, когда тот принимал участие в судебных делах, издевался, свистал, — какой-то грек обругал бедного старика в глаза дураком. То же ждало и Нерона, если бы не понравились его речи или манера произношения. Не забудем, что дебюты Нерона в ад-

вокатуре были орудием политической пропаганды, в которой он если имел друзей, готовых его поддержать, то и, наоборот, богат был врагами, охочими его провалить при первой возможности к провалу. Нерон, в публичных своих выступлениях имел блестящий успех, значит, он заслуживал хоть некоторого успеха.

Тацит отказывает Нерону в ораторском таланте, потому что он — первый из цезарей — нуждался в чужом красноречии, заставляя сочинять за себя речи Сенеку. Однако, впоследствии, тот же Тацит приводит превосходную речь Нерона, сказанную экспромтом в ответ Сенеке, когда последний просился в отставку. Экспромт этот начинается словами: «То, что я тотчас могу отвечать на твою обдуманную речь, есть первое, чем я обязан тебе, который научил меня говорить не только на предвиденные, но и на внезапные темы». Это искреннее признание, справедливость которого немедленно доказана последующей речью, конечно, не опровергает тайного участия Сенеки в ораторских успехах Нерона, но дает ему иное толкование. Речи Нерона составля-

лись Сенекой не по недостатку у молодого цезаря способностей, но по отсутствию охоты к риторству — по той лени, которая охватывала Нерона непобедимым отвращением всякий раз, когда требовалось его непосредственное участие в военном, государственном или внешне-политическом деле. А красноречие в тот век было делом государственным и политическим. При том же, в году, под которым Тацит делает пометку, неблагоприятную для красноречия Нерона, цезарю минуло всего шестнадцать лет. Мыслимо ли было допустить мальчика-оратора к самостоятельному сочинительству столь важных и ответственных речей обще-имперского значения, как надгробное слово усопшему государю, произносимое к народу с трибуны форума, и политическая программа нового правления, возвещаемая сенату? Между тем именно первым вызван упрек Тацита.

Предполагаемый автор превосходной сатиры на Клавдия, Сенека, превосходно сочинил и похоронный панегирик Клавдию, но, — может быть, не без злобного умысла, — вставил в него несколько фраз в похвалу предусмотр-

рительности и мудрости покойного принцепса. До тех пор народ слушал речь внимательно, с удовольствием, и серьезен был высокопоставленный оратор. Но, когда он принялся прославлять Клавдия, этого чудака с куриными мозгами, как мудреца и тонкого политика, никто на форуме не мог удержаться от смеха, и, первый, кажется, расхохотался сам Нерон,

Правительственная программа, развитая юным цезарем перед сенатом, весьма примечательна. Нерон с особенной энергией подчеркнул то обстоятельство, что он — государь по праву избрания, волей народной, провозглашенный единодушно армией и утвержденный сенатом. Он отметил свой нравственный союз с партией «порядочных людей» (*boni*), сделав намек на мудрое руководство (*consilia*) к правлению, которое он рассчитывает иметь от Сенеки и Бурра. Образцом для своего принципата он объявил старую Августову конституцию, попорченную Каем Калигулой и временщиками-вольноотпущенниками Клавдия. От него, Нерона, лично, эта исконная и любимая конституция может ждать только охраны и развития. — Я чело-

век молодой, мирный; мой характер свободен от впечатлений гражданских войн и домашних ссор, которые, — намекали Нерон и говоривший устами его Сенека, — омрачали державные мысли и волю Августа. Я приступаю к власти без предвзятых антипатий; в моем прошлом никто меня не оскорблял, — душа моя незнакома с жаждой мести.

Резко, хотя и косвенно, осудив грубый деспотизм, продажность, мелочность предшествовавшего принципата, фаворитизм и клезуничество, разъедавшие под ним республику, Нерон дает обещания, весьма близкие к современной конституционной формуле: «*Je roi régne, mais ne gouverne pas*». Моей фамилии, говорит он, не позволено будет вмешиваться в государственные дела: республика — не личная вотчина, приписанная к моему дворцу. Я не допущу взяток и происков и решительно уклоняюсь от судебных дел. Сенат пусть охраняет свои древние обязанности и, через трибуналы консулов, ведает Италию и провинции римского народа. Самому же себе я оставляю лишь управление государевыми провинциями, находящимися на военном по-

ложении (*se manatis exercitibus consulturum*).

Столь утешительно-либеральным манифестом началось правление Нерона. Дух, которым внушен этот акт, продолжает веять, почти не переставая и не уклоняясь в сторону, в продолжение целых пяти лет, оставшихся незабвенными в летописях римского народа, под именем золотого «пятилетия», *Quinquennium augeum*. Впоследствии император Траян называл эти годы счастливейшими для римской республики, под державством всех, бывших в ней, принцепсов. Обыкновенно, превосходное управление республикой в период «пятилетия» приписывают мудрости лиц, деликатно снявших правительственную опеку с плеч государя и разделивших между собой почти регентские полномочия, тогда как Нерон совершенно не вмешивался в государственный распорядок. Сдав империю на руки Агриппине и Паланту с одной стороны, Бурру и Сенеке с другой, он, будто бы, без труда и забот, наслаждался своей юностью, как только было доступно молодому, богатому и знатному римлянину того века. Память о верховном сани, им носимом, и сопряженных с

саном обязанностях едва мелькала ему сквозь розовый туман постоянного веселья, молодого, резвого счастья. Отбыв, как скучную повинность, официальное представление народу и сенату, с необходимыми на сей случай речами, цезарь осыпал богатыми дарами, почестями и пожалованиями друзей своего отчества, выказав при этом щедрость, которой привлек к себе и новых приверженцев. Затем — воспользовавшись правом счастливить людей, как единственной интересной привилегией власти, — Нерон забыл и думать о государстве. Он, говоря стихом поэта, «пьет из чаши бытия с закрытыми глазами», махнул рукой на все, кроме песен, вина и женщин.

Действительно, частная жизнь юноши Нерона, в течение (Quinquennium'a, это — неукротимый вихрь сумасбродства, дурачества, мальчишеского буйства. Но, строго разбирая, шалости его, в данном возрасте, не показались бы нелепыми и предосудительными, будь автором их не владыка мира, но какой-либо его ровесник, в возрасте между 15 и 20 годами из простых смертных. Это обыкно-

венные студенческие проделки германских или наших дерптских буршей «доброго, старого времени». Вот — Нерон, в компании таких же сумасбродов-сверстников, Отона, Се-нециона, Петрония, крадется задними ходами из дворца. На шалунах — поярковые колпаки вольноотпущенников или мужицкие меховые треухи, подвязанные бороды, грязное рубище. С царственного Палатина, из аристократических Карин, они бегут веселой и буйной толпой в предместье, чтобы там, в кабаках и публичных домах низшего разбора, в толпе пьяных рабов, отпущенников, солдат и матросов, искать сильных ощущений, зрелищ и дел человеческого порока. Под покровом ночи, с полными кошельками на поясах, они устраивают сотни глупостей, десятки скандалов. Отчисляя известную долю грубости этих забав на счет распущенных нравов эпохи, нельзя, однако, видеть в них что-либо из ряда вон странное или, тем более, безумное. Побить филистера, поцеловать встречную бюргершу, опрокинуть все скамейки на бульваре, перевесить вывеску парикмахера на банкирскую контору или конского манежа

на пансион благородных девиц, устроить ко-
шачью музыку непопулярному обывателю,
стучать и звонить в полночь в чужие подъез-
ды, — в подобных шалостях убивало свои до-
суги, еще в сороковых годах XIX столетия, сту-
денчество Бонна, Гейдельберга, Иены, Дерпта;
так дурачились многие, впоследствии весьма
значительные люди, и, в числе их, напр., да-
же такой «сверхчеловек», как Бисмарк.

Трофеи уличных и трактирных побед: лос-
кутья от плащей, подвязки, снятые с прости-
туток, бутылки и шкалики, краденые с кабац-
ких стоек, свинец и бетон разломанных водо-
сточных труб, вывески, снятые с гостиниц и
магазинов, оторванные ставни, пологи от
кроватей в публичных домах, — милая ком-
пания с триумфом несла во дворец, где для
этого хлама имелась нарочно устроенная кла-
довая. На завтра играли в аукцион. Добыча
вчерашнего разбоя пускалась с молотка, а вы-
ручку делили между участниками ночных
похождений. Надеясь на свою силу и под-
держку товарищей, Нерон был большой заби-
яка, и не было для него забавы милее, как по-
колотить ночного сторожа, столкнуть мирно-

го прохожего в помойную яму, сдернуть плащ с чужих плеч, дать, ни с того, ни с сего, подзатыльник уличному зеваке. Если обиженный вламывался в амбицию и начинал ругаться, его хватали, бросали на плащ и затем качали в воздухе, как утопленника, покуда у бедняги не займется дух. Забава эта была столь распространена в Риме, что для нее выработали даже особый термин — *sagatio*, плащевание, от *sagum*, военный плащ; она до сих пор процветает в «шинельных» военно-учебных заведениях и, конечно, изобретена не цезарем Нероном. Сагация родственна всем южным народам. Пятнадцать веков спустя после Нерона, Сервантес уморительно описал в «Дон-Кихоте», как освирепевшие погонщики мулов плащуют Санчо-Пансо.

Конечно, не все удача; иной раз «попадало на орехи» и цезарской шайке, и сам Нерон нередко возвращался домой с синяками на теле и разбитым носом. Настолько нередко, что аккуратный Плиний даже сохранил для любопытствующего потомства рецепты мазей и притираний, которые император употреблял на другое утро, чтобы скрыть следы ночных

побоищ. Удовольствие, казалось бы, невеликое, но в юном, а правильнее будет сказать: подростке, — Нероне жила какая-то неутомная потребность бить, быть битым, смотреть, как бьют. Он любил драки до смешного. На общественных играх он не раз отсылал прочь полицейский наряд преторианцев, поставленных для охраны порядка, а затем, подзадоривая актеров-соперников и партии их поклонников, доводил публику до рукопашной. В таких случаях, император спешил официально отбыть из театра, но потихоньку приказывал перенести себя инкогнито, в глухих носилках, в потайную ложу верхнего яруса, над аванс-сценой, — что называется на русском театральном жаргоне: в «кукушку». Оттуда цезарь, никем не зримый, созерцал дикую ссору мимов, начальников хоров и восторженных слушателей. Когда же дело доходило до кулаков, а в воздухе начинали летать камни и ножки скамеек, Нерон, увлекаясь потасовкой, сам швырял сверху в народ чем и куда попало, и даже однажды тяжело поранил в голову претора.

Вне тайных своих походов, Нерон уби-

вал время пением, живописью, скульптурой, стихотворством, спортом: вел жизнь молодого, независимого вельможи, любителя искусств, который и сам забавляется ими, как дилетант, и не прочь от красивой роли доброжелательного Мецената, покровителя и советчика художников. Первым приказом юного императора было привести к нему Терпноса, знаменитейшего кифариста эпохи. Вдохновенные концерты и уроки Терпноса как бы посвятили Нерона в жрецы и рыцари искусства. Он просиживал ночи напролет подле художника-музыканта, изучая его игру, вне себя от звуков, отрешенный от мира, тяжело дыша, как в отчаянии, жадно впитывая гармонию другого мира, раскрытого перед ним обаянием великого артиста. (Ренан). Это начало определило всю программу дальнейшей жизни Нерона: пение, танцы, пластика, игры, любительские спектакли, охота, виршеплетство и распущенность студента-бурша и артиста-богемы заполнили целиком все время и весь ум цезаря.

А, между тем, бесспорно, Quinquennium внесло много поправок в ход римской государственной машины, и вряд ли справедливо, подчиняясь выше изложенному господствующему мнению, относить блеск этот целиком на счет императрицы-матери и «добродетельных» министров Нерона. По всей вероятности, надо отчислить значительную долю и на личное настроение, а во многом и на практическое вмешательство самого цезаря. Что касается императрицы-матери, ее надо сразу же и категорически устранить из числа добрых гениев золотого пятилетия, хотя такое и принято кончать датой ее смерти. Союз ее с «добрыми», boni, был случайный и порвался, как только «добрые» вывезли Нерона, а в лице его, — думала Агриппина, — и ее, к заветной цели долгих планов: к принципату. Тут она расторгла союз с самой бестактной поспешностью и ужаснула своих недавних помещиков, явив себя в настоящем свете — жестокой деспоткой старого палатинского закала. Немногие казни, омрачившие начало правления Нерона, — дело ее личной злости. Вмешательства ее в управление государ-

ственным кораблем, в новом его курсе, выходили неловкими и чересчур высокомерными. Агриппина оказалась одной из тех женщин, которые гораздо лучше умеют достигать своей цели, чем пользоваться ею, когда достигнут. Гениально построив и проведя интригу своего возвышения, она оказалась ужасно не ко двору и совершенно недостойной той огромной, всеобъемлюще-государственной власти, на высоту которой эта женщина взобралась по честолюбию положения, ради красивых внешних признаков власти, а не по историческому честолюбию ее глубокого внутреннего влияния и смысла. Агриппина Младшая — это — женское отрицание Августа, полная половая его противоположность. Август жаждал всех действительных полномочий и презрительно жертвовал всеми показными, он был господином политических будней и, исходя из них, определял свои победные праздники. Агриппина имела все фактические власти, но жаждала только показных. Она все время думала только о красованиях политических праздников и, в поверхностной и тщеславной борьбе за них, проиграла

основу политики — будни своего века. Рим ждал от переворота новых веяний, нового режима, а перед ним опять стояла женщина старого Палатина, дворцовых интриг, преступлений, скандалов и заговоров, совершенно неспособная сочувствовать новому правительственному курсу, в который двинули империю, пользуясь добрыми чувствами главы государства, Бурр и Сенека. Я понимаю, что Агрипина могла дозволить и даже одобрить либеральный манифест Нерона к сенату; она понимала: мало ли чего не обещали прежние принцепсы на первых порах вступления во власть, и ни одному из них подобные посулы не помешали впоследствии перейти к самому откровенному деспотизму, к самому бесцеремонному обращению республики в свою вотчину, а сената и всадников — в толпы раблепной дворни. Но проведению идей манифеста в действительную правительственную практику она не могла сочувствовать. Для сестры Калигулы, жены Клавдия, любовницы и политической ученицы Палланта, конституционализм Августа, которому нравственно присягнул Нерон, должен был казаться запад-

ней, где неминуемо погибнет династия, а династия, в глазах ее, значила — принципат, а принципат женщина ее закала должна была понимать не в идее, но в наглядности: не только как империю, но даже — как абсолютную восточную монархию восточного тона, как деспотию. Греческие писатели, ровесники принципата, не умели и не хотели разобрать его конституционных основ. Вряд ли разбирала и понимала их Агрипина. Во всяком случае, мы не имеем права требовать от нее политической тонкости, которой гораздо позже ее не сумели явить такие люди, как Плутарх или Дион Кассий.

Как уже отмечено, сенат учредил официальный культ божественного Клавдия. Верховной жрицей нового бога назначена была Агрипина, вдовствующая по нем императрица. Она воздвигла покойному супругу великолепный храм, развалины которого давно уже стерлись с лица земли, но место еще можно указать на Целийском холме, близ Коллизея, в ограде монастыря пассионистов. Чахлые кипарисы, растущие здесь ныне, остроумный Ампер называет как бы символом

притворного траура Агриппины по муже и недолгой памяти о Клавдии. Что касается притворства, шутка справедлива, но вторая половина ее мало основательна. Агриппина, в правление Нерона, сразу повела себя истинной клавдианкой, убежденной преемницей взглядов отравленного ею принцепса и защитницей его авторитета. Если вспомнить, что взгляды Клавдия диктовались Паллантом, и умом того же вольноотпущенника создавался весь строй предшествовавшего принципата, легко понять источник странного, на первый взгляд, клавдианства Агриппины. Вступаясь за традиции Клавдиевых постановлений, она и Паллант вступались, собственно говоря, за самих себя. Впрочем, и помимо того, Агриппина — не исключительный пример высокопоставленной вдовы, которая, когда на долю ее выпало хотя не царствовать, но управлять, считает нужным окружать имя своего незначительного супруга, легендой, опираться на его авторитет, оберегать его институты. Чтобы не разбрасываться в сравнениях, напомним лишь Екатерину Медичи: могущественная более королей, от нее рожден-

ных, она оставалась при них только «вдовой Генриха II», будто бы лишь охранявшей его заветы и правила.

Обращаясь к остальным двум добрым гениям «пятилетия», чьего влияния на Нерона уже никак нельзя отрицать, то есть к Бурру и Сенеке, замечу вот что. Если бы Нерон был только пассивным и привычным исполнителем их внушений, то непонятным становится: почему же внушения эти сразу стали так бессильны, едва доброе настроения Нерона изменилось, и понадобились ему кровь, казни, пытки? Ни Бурра, ни Сенеки мы не встретим в деятельной оппозиции Нерону, когда настанет пора террора, ссылок и политических убийств. Напротив, весьма нередко они — его соумышленники и соучастники, не исключая даже самых мрачных преступлений. В трагической гибели Агриппины добродетельные Бурр и Сенека, если верить Тациту, явились при Нероне настоящим «советом нечестивых». Вообще — что эти господа были образцами мудрости и доблести, в том мы должны верить древним авторам и, в числе их, самому Сенеке больше на слово. Если бы

Сенека не оставил нам своих талантливых литературных и философских трудов, а историки древности не свидетельствовали дружно, что Бурр с Сенекой имели одну душу в двух телах, — и если бы, следовательно, нам пришлось составлять их характеристику только по их отношениям к дворам Клавдия и Нерона, — картина получилась бы более чем сомнительной красоты. За светлую теоретическую мысль, за «идейность» политической программы, потомство отпустило министрам Нерона грехи практического бессилия, слабовольной податливости, нравственных компромиссов. Последних было так много, что читателю Тацита, Светония и Диона Кассия, не предубежденному в пользу Сенеки и Бурра, столпы стоической добродетели представляются скорее трусливыми рабами и льстивыми предателями, переметными сумами, готовыми исполнить решительно всякую мерзость, какой ни потребует от них верхняя власть, лишь бы уберечь свою собственную кожу. Потворство порокам Нерона, как частного человека, со стороны Бурра и Сенеки было безгранично. Сенеку обвиняли да-

же, — конечно, ложно, — в том, будто он при-
страстил своего державного ученика к содом-
скому греху. Некоторым, хотя очень слабым,
извинением министрам-воспитателям Неро-
на может служить разве лишь то соображе-
ние, что они видели в юном цезаре несрав-
ненно могучее орудие для конституционной
реформы принципата. Движимые этой огром-
ной целью, они шли на какие угодно жертвы
и уступки личности государя, лишь бы дове-
сти до конца свою задачу в режиме государ-
ства. Работа была тем более трудна и тем ме-
нее благодарна, что оба знали, что строят зда-
ние на песке, оба постоянно дрожали за нрав-
ственную неустойчивость капризного, попор-
ченного мальчика-правителя.

Известно, что Сенека сравнивал Нерона с
молодым львом, который кроток, покуда не
попробовал крови, а потом возвратится к
природной свирепости. Накануне того дня,
как дать Нерону первый урок, Сенека видел
во сне, будто призван воспитывать Кая Цеза-
ря (Калигулу). Вторая половина Неронова
принципата вполне оправдала тяжкие ожи-
дания Сенеки, а часто и вечное правило, что

служить большой и чистой идее нельзя средствами мелких и грязных компромиссов.

Но что касается золотого пятилетия, то, отдавая полную справедливость благородству планов Бурра и Сенеки, все-таки нельзя не признать, что и орудие было в их руках не слепое, а весьма толковое и благодарное к действию. Уже одно то обстоятельство, что, имея возможность выбирать между деспотической программой матери и Палланта и конституционной Бурра и Сенеки, Нерон, при всей привычке послушания и страха перед Агрипиной, все-таки решительно стал на сторону своих министров и конституционного порядка, — громко говорит в пользу ума и сердца молодого цезаря. Даже Тацит отмечает, что свою конституционную программу Нерон объявил сенату не популярности и громких слов ради: *pec defuit fides*, — и слова были оправданы фактами. Легендарное ночное буршество Нерона не препятствовало ему днем очень усердно заниматься государственными делами. Тацит отмечает частые речи его к сенату и хвалит его милосердные обещания, хотя и говорит, что устами молодого го-

сударя хвастливо ораторствовал Сенека. Если и так, учил же когда-нибудь юноша эти речи (а Сенека писал велеречиво и пространно), — значит, не все он бездельничал и бражничал. А главное: имел охоту учить, — значит, ему нравилось направление, которое они возвещали, и он держался союза с Сенекой не по какому-либо дурному расчету, но по искреннему уважению к идеям философа, по юной отзывчивости на его светлое слово. Было и сказано, и сделано множество хорошего, истинно гуманного. В течение *Quinquennium*'а, юноша проявляет себя дурным или глупым правителем только в тех случаях, где поперек дороги становится ему его политическое невежество, плод поверхностного образования, завершенного, однако, под руководством тех же Бурра и Сенеки. Вне этих промахов, мы видим Нерона щедрым и милостивым государем, рассыпающим дары войску и республике, всегда готовым на великодушную амнистию, скромным, не требовательным на знаки верноподданничества, осторожным в суде и санкциях государственных установлений, рассудительным и справедливым в распреде-

лении ответственных должностей. Два дела о государственной измене он просто и коротко прекратил. Когда Бурр поднес Нерону на конфирмацию смертный приговор двум преступникам, осужденным за разбой, цезарь подписал роковой лист лишь после долгих колебаний, а подписывая, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать! — *Quam vellem nescire litteras!*» Прекрасные исторические слова эти даже смутили Сенеку, не впадает ли его воспитанник в чрезмерную сентиментальность, — и философ поспешил написать и посвятить Нерону политико-этический этюд об истинной природе милосердия («*De dementia*»). Из уст злейшего врага Нерона, знаменитого Тразеи Пета, мы знаем, что смертная казнь и ужасы пыталного застенка были фактически отменены. Светоний свидетельствует, что воспрещено было доводить до убийства гладиаторские игры, хотя бы при участии преступников, и высшей мерой уголовного наказания остались в государстве каторжные работы. Закон об оскорблении величества безмолвствовал. Были предприняты меры к упорядочению податной системы; на-

логи сделаны гласными. Лично Нерон проектировал вовсе отменить всякие косвенные налоги и тяжелую откупную систему, с ними сопряженную. Он собирался сделать тем «прекраснейший подарок роду человеческому»: от слов и намерения веет скорее XVIII, чем первым веком по Р. Х., — дух Сенеки заговорил в державном ученике его тем же языком, как дух энциклопедистов в либеральном абсолютизме Фридриха Великого, молодой Екатерины II и Иосифа II. Сенат воспротивился осуществлению проекта: ново уже то, что он теперь опять смел противиться после десятков лет раболепства и формального поддакивания. Тацит приводит несколько сенатских постановлений, состоявшихся не только свободно, но даже наперекор воле и к сильному неудовольствию императрицы-матери. Нерон сдержал слово, что не допустит свою фамилию распоряжаться государством, как вотчиной. Но он же воспользовался своим государевым правом, чтобы парализовать гонение, которое сенат объявил было сословию вольноотпущенников. Таким образом, и в этом вопросе, как в проекте откупной реформы, мо-

лодой цезарь явил свободы и благородства мысли больше, чем его правящая коллегия. Характерно замечание Тацита, что при преемниках Нерона потеряли силу многие дельные его податные предписания, — однако, некоторые дошли до Траяновых времен. Симпатичнейшая черта Нерона этих дней — гражданское мужество в служении общему благу. Он ободрил провинции рядом судебных процессов против губернаторов, злоупотреблявших своими полномочиями, насильников и взяточников. Некоторым из них удалось оправдаться, другие потерпели должное или предупредили приговор самоубийством. Единственный случай в этих преследованиях, когда цезарь покривил душой, преднамеренно затянув процесс наверное виноватого подсудимого, покуда естественная смерть от старости не отняла его у судебной расправы, — это дело П. Целера, римского всадника, наместника Азии, одного из опричников Агриппины. Так что спасло Целера или влияние последней или опасение, что, будучи причастным к одному из важнейших преступлений императрицы-матери, дряхлый палач может

компрометировать ее разоблачениями. Когда возгорелась армянская война, римское общество ждало назначения главнокомандующего, как экзамена беспристрастию молодого государя и порядочности его советчиков. Двор поддерживал кандидатуру наместника Сирии, Уммидия Квадрата, генерала бездарного, но честолобивого; чтобы получить назначение, он сорил деньгами на подкупы. Тем не менее, к бурному восторгу сената и народа, Нерон назначил главнокомандующим Гн. Домиция Корбулона, общего любимца, лучшего полководца своего времени. В Риме выбор Нерона приветствовали и праздновали, как победу. Признательный сенат сделал ряд льстивых постановлений во славу молодого принцепса: устроить ему триумф, воздвигнуть статую из благородного металла, перенести праздник новогодия на день его рождения. Однако, Нерон отклонил все эти почести — и статуарные, и календарные. Известен красивый отказ его от благодарности сената: *quint meguero* — когда заслужу. Таким образом, Нерон не только сохранил, по завету Августа, уважение к высшему правительствующему

щему учреждению, но еще старался поднять его упавшую нравственность, искоренить из него, въевшуюся за три последние принципта, привычку к холопству. Он напомнил государству о верховном значении консульской власти, не допустив к присяге на верность Л. Антистия Ветера, своего товарища по консульству в 808 (55) г. Он возвратил в сенат любимого и талантливое Плавтия Лютерана, исключенного Клавдием за прелюбодеяние с Мессалиной. Когда партии конституционная и деспотическая перешли в открытую борьбу, он умел сломить могущество Палланта, который, в момент его пришествия к власти, был несомненно сильнее его самого, — и очень ловко и с несомненным тактом отстаивал как престиж, так и самостоятельность — личные и своих либеральных министров — против властолюбивых покушений императрицы-матери.

Итак — перед нами чрезвычайно молодой властитель, не только юноша, но еще полу-ребенок, — подросток, — очень сумасбродный и шаловливый, — вроде принца Гарри, из которого потом вышел великий воин Ген-

рих V, — совершенно, конечно, негодный к власти по возрасту, но с недурными задатками и намерениями по воспитанию и природе. Пусть они рождаются в нем не самобытно, пусть внушены со стороны, — в государе, если он не гений, послушание доброму внушению и выбор хороших внушителей есть уже великое качество. В Нероне течет отравленная кровь, воспитание его дико и грязно, но душа еще чиста и мягка, как воск. В благоволении к людям и любви к человечеству не было недостатка. Он желал идти по доброму пути и, в условиях более благоприятных, мог бы его найти и на нем остаться. В крупную политическую силу, в «великого государя» Нерон никогда бы не выработался: для этого он был слишком ленив участвовать в процессе власти и слишком любил наслаждаться ее плодами. Он — не политическая фигура. Он — барин и аристократ, властный богач и дилетант, которому его усадьба, дворец, конюшня и театр всегда милее, нужнее и ближе государства. Это — правитель белоручка, избалованный, мечтательный, капризный сибарит. Но при дворе, менее мрачном, менее окровав-

ленном и сладострастном, менее опутанном сетью смрадных интриг, из Нерона вышел бы, может быть, просто государь посредственных дарований и распутного образа жизни, каков, напр., был хотя бы Август Саксонский. Политический скептик, не лишенный остроумия, равнодушный к судьбам империи и народа, он прожил бы век в свое удовольствие, немножко слишком дорогое для государственной казны и тяглых людей, ее питающих, и умер бы, не оставив по себе ни вечных благословений, ни вечных проклятий. И весьма скоро от него сохранились бы в истории только имя да хронологическая дата, фигуру же его совершенно заслонил бы от памяти потомства какой-либо дельный министр. Хотя бы тот же Сенека или Бурр, но не взятые им, а его умевшие взять в руки, чтобы управлять от его имени государством. Так Ришелье заслонил Людовика XIII, Борис Годунов — Федора Иоанновича, Бисмарк — Вильгельма I и Фридриха III. Но ни Ришелье, ни Годунова, ни Бисмарка не нашлось. Мальчик-государь чувствовал себя среди правительства бесхарактерных стариков, которые более его образова-

ны, но не сильнее его, что — в молодом впечатлении — несправедливо, но часто отражается, как «не умнее». На своем государственном пути Нерон не встретил истинно государственной личности — авторитета, облеченного в повелительную волю. Не узнал ни одного ни человека, ни коллектива, который — к благу ли, худу ли — мог бы заговорить с ним, как могучий сознательный или инстинктивный представитель нужд и воли страны, как единственный возможный посредник между лицом государя и лицом силы народной. Ни одного человека, который сознавал бы за собою эту силу и твердо верил бы в свою историческую миссию, и смотрел бы в будущее понимающими глазами благородного исторического честолюбия. Громадная работа по созданию принципата частью истребила, а частью переутомила и выродила племя великих римских государственных людей. Поколение «августовых орлов» оскудело давно и надолго. Тиберий, при всех громадных недостатках личного характера, был едва ли не последним человеком этой, когда-то столь обильной, породы. Ужас Нерона — не в том,

что он родился с дурной наследственностью, воспитался на улице и в дворне, образовался искусственно, на скорую руку, попал к власти нечаянно, чужой интригой и не без преступления. Не этим всем обусловилась позднейшая его тирания, растянувшаяся в длинную историческую поговорку вот уже близко двухтысячелетней давности. Было много государей, приходивших к власти и с худшими задатками и не лучшими путями, — однако, из них не выходили Нероны: ни Нероны истории, ни Нероны легенды. Я уже напоминал обстоятельства восшествия на престол Екатерины Второй. Александр I вырос в условиях печальнейшей распри между Зимним дворцом и Гатчиной и вступил на престол через труп отца, павшего, как и Клавдий, жертвой дворцового заговора. Однако с именем его связана репутация одного из наиболее мягких и благожелательных русских государей. Ужас Нерона сложился тем, что, когда властный мальчик, на предельной вершине мирового величия, поднял голову и осмотрелся, он увидел себя владыкой океана неслыханно безвольной и бесполезной посредственности.

Личности не создают истории, но зато ее выражают. Нерон родился в веке умников без гения, которым диалектика заменяла волю и компромиссы — действие. Ему не на кого было споткнуться своей мальчишеской волей, не на кого было смотреть снизу вверх истинным, не отравленным уважением. Он был введен в историю сомнительными и сомневающимися людьми, которые уже сами себя несколько не уважали, но насильно, по теории, еще заставляли уважать, и себя в человечестве, и человечество в себе, красноречивой риторикой Музония Руфа или Сенеки. Никто в древности не наговорил столько добродетельных слов, как Сенека, никто не обязывался перед миром более требовательной этикой, увы, ежеминутно терпевшей злобные, истинно опереточные крахи в плачевной практике самого ее несчастного автора. И несколько неудивительно, что, напитанный атмосферой взаимного неуважения, режим Нерона, когда молодого принцепса постигли разочарования и в людях и в фразах, оказался именно тем, который единственно мог развиваться на этой отравленной почве и в этом душном воздухе:

режимом неистощимого капризного эгоистического самодурства и совершеннейшего, убежденно последовательного, не только целиком покорившего себе мысль, но глубин инстинкта достигнувшего, неуважения. Век Нерона — век высшего неуважения. Век неуважаемых и неуважающих. Никого: ни человека, ни человечества.

Конец первого тома.

С.-Петербург. 1898

Caví di Lavagna. 1910. VII. 20.

Таблица семейных отношений дома Цезарей Юлио-Клавдианской династии

(Сокращения: Ус. — усыновлен. Сопр. — со-
правитель. Aug. — Augustus, Augusta.
Изг. — изгнан. Caes. — Caesar. Д — дочь.
Жен. — женат. Разв. — разведен. Fil. Aug. —
Filius Augusti. Зам. — замужем. Ж. — жена.
С. — сын.)

1. К. Октавий. с. К. Октавия и Ации — К. Юлий Цезарь Октавиан. Август 27 до Р. Х. (16 янв.)	19 авг. 14 по Р. Х. После 2 до Р. Х.
а) ЖЕНА (43 до Р. Х.): Клавдия. Разв. в 41 Р. Х.	
в) « (38 до Р. Х.): Ливия Друзилла, д. М. Ливия Друза Клавдиева, разв. жена Тиб. Клавдия Нерона. После смерти (1) получила имя Юлии Августы	29 по Р. Х.
г) СЕСТРА: Октавия, зам. за К. Марцеллом (ранее 54 до Р. Х.), М. Антонием (40 до Р. Х.), с которым разв. в 32 до Р. Х.	11 до Р. Х.
д) ДОЧЬ (б). Юлия, зам. за Марцеллом (е) в 25 до Р. Х., Агриппой (ж) в 21 до Р. Х., Тиберием (2) в 11 до Р. Х., разв. и изг. во 2 до Р. Х.	14 по Р. Х.
е) ЗЯТЬ: М. Клавдий Марцелл, с. (г), жен. на (д)	23 по Р. Х.
ж) « М. Випсаний Агриппа, жен. на (д)	12 до Р. Х.
з) ВНУК (д и ж): К. (Юлий) Цезарь, ус. в 17 до Р. Х., жен. на Ливии (2 и к)	21 фев. 4 по Р. Х. 20 авг. 2 по Р. Х.
и) « Л. (Юлий) Цезарь, ус. в 17 до Р. Х.	
й) « М. (Випсаний) Агриппа (Постум), ус. в 4 по Р. Х. (позже получил имя Агриппы Юлия Цезаря), изг. в 7 по Р. Х.	авг. 14 по Р. Х.
к) ВНУЧКА (д и ж): (Випсания) Юлия, зам. за Л. Эмилием Пав- лом, изг. в 9 по Р. Х.	28 по Р. Х.
л) « Випсания Агриппина (Старш.) зам. за Германиком (2 в) в 5 по Р. Х. (?) изг. в 29 по Р. Х.	18 окт. 33 по Р. Х.
2. Тиб. Клавдий Нерон, с. Тиб. Клавдия Нерона и (1 в) — Тиберий (Юлий) Цезарь, ус. (1) в 4 по Р. Х. Авг. в 14 по Р. Х. (Август)	16 мар. 37 по Р. Х.
а) БРАТ: Нерон Клавдий Друз (Старш.) Германик, жен. на (б) около 16 до Р. Х.	Сент. 9 до Р. Х.
б) ЖЕНА БРАТА: Антония (Младшая) д. М. Антония и (1 г), зам. за (а). Получила титул Августы в 37 по Р. Х.	37 по Р. Х.

в) ПЛЕМЯННИК (а и б): Германик Юлий Цезарь, ус. в 4 по Р. Х., жен на (1 л)	19 по Р. Х.
г) ПЛЕМЯННИК Тиберий Клавдий Нерон Германик — (4)	31 по Р. Х.
д) ВНУЧ. ПЛЕМ. (в, 1 л): Кай Цезарь — (3)	
е) « Нерон Юлий Цезарь, жен. на (р) в 20 по Р. Х.	
ж) « Друз Юлий Цезарь (Друз Юлий Германик)	33 по Р. Х.
з) ВНУЧ. ПЛЕМ-ЦА (в, 1 л): Юлия Агриппина (4 г)	
и) « Юлия Друзилла (3 в)	38 по Р. Х.
й) « Юлия Ливилла — (3 е)	42 по Р. Х.
к) ПЛЕМЯННИЦА (а, б) (Клавдия) Ливия (Ливилла) зам. за (1 и) и (2 и)	
л) ЖЕНА: Випсания Агриппина, д. (1 ж) и Помпонии, разв. в 11 до Р. Х., зам. за Азинием Галлом	20 по Р. Х.
м) « (11 до Р. Х.) Юлия — (1 д)	
н) СЫН (л): Друз Юлий Цезарь (Млад.) жен. на (к)	23 по Р. Х.
о) ВНУК (н, к): Германик (Юлий) Цезарь	23 по Р. Х.
п) « Тиберий (Юлий) Цезарь (Нерон?)	37 по Р. Х.
р) ВНУЧКА (н, к): Юлия, зам. за (е) в 20 по Р. Х.	43 по Р. Х.
3. Кай (Юлий) Цезарь (Калигула) — (2 в) Aug. 18 марта 37 по Р. Х.	24 янв. 41
а) ЖЕНА (33 по Р. Х.): Юлия Клавдилла (Клавдия)	до 37
б) « (38): Ливия (Корнелия) Орестилла. Изг. в 38	
в) « (38): Лоллия Паулина. Разв. в 39	49
г) « (39): Милония Цезония	
д) СЕСТРА: Юлия Друзилла — (2 и)	38
е) « Юлия Ливилла — (2 й)	41
	12/13 окт.
4. Тиберий Клавдий Нерон Германик — (2 г) Aug. 25 янв. 41	54
а) ЖЕНА: Плавтия Ургуланилла	
б) « Элия Петина	
в) « Валерия Мессалина	48
г) « (49): Юлия Агриппина (Млад.) — (2 з). Раньше (28 по Р. Х.) зам. за Кн. Домицием Аэнобарбом. Aug. 50	19/22 мар. 59
д) СЫН (а): (Клавдий) Друз	20
	около 13
е) « (в): Тиб. Клавдий Цезарь Германик Британик	фев. 55
ж) ДОЧЬ (а): Клавдия	
з) « (б): (Клавдия) Антония зам. в 41 за Кн. Помпеем Великим и (после 46/47) за Фавстом Корнелием Суллой Феликсом	65/68
и) « (в): Клавдия Октавия — (5 а)	62
5. Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик с Кн. Домиция Аэнобарба и (4 г): Ус. (4) в 50. Aug. 13 окт. 54	9 июн. 68.
а) ЖЕНА (53): Клавдия Октавия — (4 и). Разв. в 62	9 июн. 62 кон. лета 65
б) « (62): Поппея Сабина. Aug. в 64	
в) « (66): Статилия Мессалина	
г) ДОЧЬ (б): Клавдия Августа	63

Список некоторых книг, читанных автором при сочинении этого тома

Alexandre Adam. Antiquités romaines ou
Tableau des moeurs.

usages et institutions des romains. P. 1818/
Maurice Albert. Le Culte de Castor et Pollux
en Italie. P. 1883. Paul Allard. Les esclaves
chrétiens depuis les premiers temps de l'église
jusqu'à la fin de la domination romaine en
Occident. P. 1876.

A. Allmer. Les Gestes du Dieu Auguste d'après
l'Inscription du Temple d'Andre avec restitutions
et commentaires, extraits du Monumentum
Ancyranum 1865—83 de M. Mommsen. Vienna
1889.

J.J. Ampere. L'Empire Romain a Rome. Tomes
I. II P. 1867.

О. Базинер. Ludi Saeculares. Древнеримские
Секулярные игры. Варшава. 1901.

G. Baracconi. I rioni di Roma. Citta di Castello.
1889. Baumeister. Denkmäler des Klassischen
Altertums zur Erläuterung der Griechen und

Römer in Religion, Kunst und Sitte. Lexikalisch bearbeitet von B. Arnold, N. Blummer u. a. 3 Bände. München und Leipzig. 1884.

Bruno Bauer. Christus und die Caesaren Der Ursprung des Cluistenthums aus dem römischen Griechenthum. Zweite Auflage. Berlin 1879.

Адольф Бэр. История всемирной торговли. Перевод с немецкого Э. Циммермана. М. 1876.

Emile Belot. Histoire des chevaliers romains. P. 1867.

Е. Белогруд. Источники, История, институции. Киев 1894.

Herman Bender. Rom und romisches Leben im Aiterthum. Tubingen 1880(?).

M. Beule. Le Procès des Césars. Quatre volumes: I. Auguste et ses Amis. II. Tibere et l'Heritage d'Auguste. III. Le Sang de Germanicus. IV. Titus et sa Dynastie: 4-me, 2-me, 1-re Ed. P. 1870.

Beurlier. Essali sur le culte rendu aux empereurs romains. P. 1890.

Н.М. Благовещенский. Восьмая сатира Ювенала. (Оттиск из Ж.М.Н. Пр.)

J.A. Blanchet. Le Titre de Princeps Juventutis

sur les monnaies romaines. Bruxelles. 1891.

Gaston Boissier. Promenades archéologiques. Rome et Pompei. 6-me Edition. P. 1898.

Gaston Boissier. Nouveles promenades archéologiques. Horace et Virgile. 3-me Ed. P. 1895.

Гастон Буасье (Boissier). Римская Религия от Августа до Антонинов. Пер. Марии Корсак. М. 1878.

Гастон Буасье (Boissier). Падение язычества. Исследование последней религиозной борьбы на Западе в четвертом веке. Перевод с французского под редакцией и с предисловием М.С. Корелина. м. 1892.

A. Bouche-Leclerc. Manuel des Institutions Romaines. P. 1886.

A. Bouche-Leclerc. Les lois démographiques d'Auguste.

L'Astrologie dans le monde romain.

Rene Briau. Un Médecin de l'Empereur Claude. Extrait de la Revue Archéologique Avir 1882. P.

D-r Rene Briau. Du service de Santé militaire chez les romains. P. 1866.

D-r Rene Briau. l'Assistance medicale chez les

romains. P. 1870. C-te Franz de Champagny. Les Césars. 2 tomes. Deuxieme édition. P. 1853.

Граф Франц Шампаньи. Цезари. Перевод Д. Киреева. СПб. 2 тома. 1882.

Commentationes Philologicae. Сборник статей в честь И.В. Помяловского к 30-летию годовщине его уч. и педаг. деятельности. СПб. 1897. (Tablifer М.И. Ростовцева.)

Edouard Cuq. Le Conseil des Empereurs d'Auguste a Dioclétien. P. 1884.

Ch. Daremberg et Edm. Saglio. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'apres les textes et monuments. P. 1873.

Daremberg Ch. La Medecine. Histoires et doctrines. P. 1865.

Ch. Dezobry. Rome au siecle d'Auguste ou Voyage d'uu gaulois a Rome etc. Tomes I—IV, 3-me ed. P. 1870.

М.П. Драгоманов. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. Ч. I. Киев. 1869.

Edmond Dupouy. Medecine et moeurs de l'ancienne Rome d'apres les poetes latins. P. 1885.

Dureau de la Malle. Economie politique des Romains. 2 tomes. P. 1840

Duruu. De Tiberio Imperatore. Lutetiae. 1853.

«» Etat du monde romain vers le temps de la
fondation

de L'Empire. P. 1853.

Edon. Ecriture et prononciation du latin
savant et du latin populaire, suivi d'un appendice
sur le chant dit des Freres Arvales. P.

«» Restitution et nouvelle interprétation du
chant dit des

Freres Arvsles. P.

«» Nouvelle etude sur le chant Lemural, les
freres Arvales et

l'écriture cursive des latins. P. 1884.

В. Ефимов. Очерки по истории древне-рим-
ского родства и на

следования. СПб. 1885.

В. Ешевский. Сочинения Т. I. М. 1870.

Guglielmo Ferrero. Grandezza e Decadenza di
Roma. Volumi I—V. Milano. 1906—8.

Ludwig Friedlaender. Darstellungen aus der
Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis
zum Ausgang der Antonine. 6 Auflage. I—II. I Th.
Leipzig. 1888.

Fustel de Coulanges. La Gaule romaine. P.
1891.

B. Garzetti. *Délia storia e délia condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani.* 3 vol. Milano. 1838.

Эдуард Гиббон. *История упадка и разрушения Римской империи.* Издание Джорджа Белля 1877 года. С прим. Гизо, Венка, Шрейтера, Гуго и друг. Перев. с английского В.Н. Неведомский. 7. I—VII М. 1883.

Georges Goyau. *Chronologie de l'empire Romain.* (Sous la direction de R. Cagnat.) P. 1891.

И.М. Гревс. *Очерки из истории римского землевладения.* (Преимущественно во время империи.) СПб. 1899.

Э. Гримм. *Исследование по истории развития римской императорской власти.* Том I. *Римская императорская власть от Августа до Нерона.* СПб. 1900.

Guhl und Koner. *Leben der Griechen und Römer.* Sechste Aufl.

Herausgegeben von R. Engelmann. Berlin 1893.

Eberhard Graf Haugwitz. *Der Palatin. Seine Geschichte und seine Ruinen.* Mit einem Worwort von Pr. Dr. Chr. Huelsen. Rom 1901.

Emst Herzog. *Geschichte und System der Römischen Staatsverfassung.* B. I. II. Leipzig 1891.

Hertzberg G.F. Geschichte des römischen Kaiserreiches. (Oncken's Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen.) Berlin 1880.

F. Hill. A Handbook of Greek and Roman coin. London 1899. Otto Hirschfeld. Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte. Erster Band. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis Diocletian. Berlin 1876.

P. Hochart. De l'authenticite des Annales et des Histoires de Tacite. P. 1890.

Ингрэм. История рабства от древнейших до новых времен. СПб. 1896.

E. Jacobi. Dictionnaire mythologique universel, ou Biographie mithique des dieux et des personnages fabuleux. Traduit de Tallemand etc. par Th. Bernard. P. 1854.

Paul Jacoby. Etudes sur la selection chez l'homme. 2-me ed. P. 1904.

Jordan. Topographie der Stadt Rom im Alterthum. 2 B. 3 Theile. 1878.

Михаил Капустин. Институции римского права. М. 1880.

Th. Keim. Rom und das Christenthum. B. 1881.
Kiepert et Ch. Huelsen. Formae Urbis Romae antiquae. Berolini 1896.

Josephus Klein. Fasti consulares a Caesaris nece usque ad imperium Diocletiani. Lipsiae 1881.

Владимир Кожевников. Нравственное и умственное развитие римского общества во II веке. Козлов 1874.

М.С. Корелин. Падение античного мирозерцания. (Культурный кризис Римской империи). СПб. 1893.

П. Кудрявцев. Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту. М. 1875.

Lacombe. La Famille dans la société romaine. P.

Mary Lafon. Rome ancienne et moderne depuis sa fondation jusqu'à nos jours. P. 1853.

André Lefevre. Les dieux champêtres des latins. Orléans 1896.

Lombroso. Genio e Folia in rapporto alla medicina legale, alla critica ed alla storia. Quarta edizione. Torino 1882.

G. Lombroso. L'Uomo delinquente in rapporto

all'antropologia, giurisprudenza e aile discipline carcerarie. 2-a ediz. Torino 1878.

Friedrich Lubker. Reallexikon des klassischen Alterthums für Gymnasien. Siebente verbesserte Auflage, herausgegeben von Pr. Dr. Max Erler. Leipzig 1891.

Д.Г. Льюис. История философии от начала ее в Греции до настоящих времен. Пер. (древней истории философии) под редакцией В. Спасовича. СПб. 1865.

Joachim Marquardt. Le culte chez les romains. Trad par. M. Bris saud. 2 tomes. P. 1899—1890.

Joachim Marquardt. Das Privatleben der Römer. 2 Theile. Leipzig 1886 (2-te Aufl. besorgt von A. Mau.)

Th.H. Martin. Mémoire sur l'histoire des hypothèse astronomiques chez les Grecs et les Romains. P. 1879.

Th.H. Martin. La Foudre, l'électricité et le magnétisme chez les anciens. P. 1866.

Orazio Marucchi. Foro Romano. Roma. 1896.

Alfred Maury. La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge ou Etudes sur les superstitions païennes qui se sont perpetuees jusqu'à nos jours. 4-me édition. P. 1877.

G.R.S Mead. Frammenti di una fede dimenticata. Brevi studi sugli Gnostici, principalmente dei primi due secoli. Ecc. Trad. di M.L. Kirby e B. Fantoni 2-a edizione. Milano 1909.

Charles Merivale. Histoire des Romains sous l'Empire. Traduction de l'anglais par Tr. Henneberg. (Edition autorisée.) 4 tomes. P. 1865.

В.И. Модестов. Лекции по истории римской литературы, читанные в Киевском и С.-Петербургском университетах. СПб. 1888.

Т. Моммсен. Римская история. Перевод Н.Д. Ахшарумова с шестого издания. Томы 1, 2, 3. М. 1878.

Theodor Mommsen. Römische Geschichte. Fünfter band. Vierte Auflage. Berlin 1894.

Моммсен. Римская история. Ч. 1 и 2. Перевод с немецкого С.Д. Шестакова. Москва 1891.

Th. Mommsen. De collegiis et sodaliciis Romanorum. Kiliae 1840.

Montesquieu. Grandeur et decadence des Romains. P. 1859. Napoleon III. Histoire de Jules César. 2 tomes. P. 1865.

M. Naudet. De la noblesse et des recompenses d'honneur chez les Romains. P. 1863.

Antonio Nibby. Viaggio antiquario ne contorni

di Roma. Tomi due. Roma 1819.

В. Низе. Очерк римской истории и источниковедения. Перевод с немецкого слушательниц высших женских курсов под редакцией Ф.Ф. Зелинского и М.И. Ростовцева. СПб. 1899.

A. Otto. Die Sprichwörter und sprichwörtliche Redenarten der Römer. Leipzig 1890.

Ettore Pais. Recerche storiche e geografiche sull' Italia antica. Torino 1908.

Hermann Peter. Die geschichtliche Literatur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius I. und ihre Quellen. 2 Bände. Leipzig 1897.

И. Помяловский. Марк Теренций Варрон Реатинский и Мениппова сатура. СПб. 1869.

Franz Reber. Die Ruinen Roms und der Campagna. Leipzig 1863.

Ernest Renan. Histoire des origines du christianisme:

Vie de Jesus.

II Les Apôtres.

Saint Paul.

L'Antéchrist.

Les Evangiles et la seconde génération

chrétienne.

L'Eglise chrétienne.

Marc Aurele et la fin du monde antique P.
1882.

A. Renda. Il Destino delle dinastie. L'Eredità
morboza nella storia. Torino 1904.

Альберт Шwegлер. История философии. Пе-
ревод с немецкого, с пятого издания, под ре-
дакцией П.Д. Юркевича. Выпуск первый.
Древняя философия. М. 1864.

Hermann Schiller. Geschichte der römischen
Kaiserzeit. I. Band (2 Teile). II. Band. Gotha 1883.

Hermann Schiller. Geschichte des römischen
Kaiserreichs unter der Regierung des Nero.
Berlin 1872.

Ф. Шлоссер. Всемирная История. Переведе-
но под редакцией Н.

Чернышевского. Т. III и IV. СПб. 1862.

Константин Зедергольм. О жизни и сочи-
нениях Катона Старшего. Рассуждение по гре-
ческим и латинским источникам. М. 1857.

G.R. Sievers. Studien zur Geschichte der
römischen Kaiser Aus dem Nachlasse des Vaters.
Herausgegeben von Gottfried Sievers. Berlin
1870.

Umberto Silvagni. L'Impero e le donne dei Cesari. 2-a ed. Torino 1909.

Сокольский. Пособие при изучении внешней истории рим

ского права. Ярославль 1877.

Frzncesco Tarducci. La Strega, l'Astrologo e il Mago. Milano 1886. Ф. А. и С. А. Терновские. Греко-восточная Церковь в период Вселенских соборов. Киев 1883.

A. Terquem. La Sciene romaine a l'epoque d'Auguste. Etude historique d'apres Vitruve. P. 1885.

W.S. Teuffels. Geschichte der römischen Literatur, Neu bearbeitet von Ludwig Schwabe. Fünfte Auflage. 2 Bande. Leipzig. 1890. Henry Rhedenat. Le Forum Romain et les Forums Impériaux. P.

1898.

Amedee Thierry. Tableau de l'Empire Romain depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin du gouvernement imperial en Occident. 4-t édition. P. 1863.

Кн. С.Н. Трубецкой. Учение о Логосе в его истории. Т. I. М. 1900.

Ж. Уссинг. Воспитание и обучение у греков

и римлян. Пер. Н.М. Федоровой. СПб. 1899.

G. Vaccai. Le feste di Roma antica. Torino 1902.

Atto Vannucci. Storia d'Italia dall'origine di Roma fino all'invasione dei Longobardi. V. I—IV. Firenze-Genova 1861.

M. Villemain. Tableau de l'Eloquence chrétienne au IV-e siècle. 10-e Edition. P. 1867.

L. Visconti e R.A. Lanciani. Guida dei Palatino. R. 1873.

Wilhelm Wagner, Rom. Anfang. Fortgang, Ausbreitung und Verfall des Weltreiches der Römer. 3 Bände. Leipzig 1864.

Walion. Histoire de l'esclavage dans l'antiquité. 3 tomes. Deuxième édition. P. 1879.

Георг Вебер. Всеобщая история. Перевод со второго издания. Т.

Перевел Андреев (Н.Г. Чернышевский). М. 1892.

F.G. Welcker. Griechische Gotterlehre. 3 Bände. Göttingen 1862.

Wiedemeister. Der Casarenwahnsinn der Julisch-Claudischen Imperatorenfamilie geschildert an den Kaisern Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Hannover 1875.

Виндельбанд. История древней философии. Перевод слушательниц высших женских курсов под редакцией А.И. Введенского. СПб. 1898.

Р. Вишпер. Очерки истории Римской империи. М. 1908.

Ottavio Zanotti Bianco. Astrologia e astronomia. Saggi di astronomia. Torino 1905.

Jules Zeller. Les Empereurs romains, caracteres et portraits historiques. 5-me edition. P. 1883.

Издания античных писателей, которыми пользовался автор

Bibliotheca scriptorum graecorum et
Romanorum Teubueriana. Lipsiae:

L. Annaei Senecae. Tragoediae. Receuserunt
Rudolphus Peiper

et G. Gustavus Richter. 1902.

L. Annaei Senecae opera quae supersunt.
Recognovit etc. Frideri
eus Haase. 1898.

Dionis Cassii Cocceiani. Historia Romana.
Editionem primam curavit Ludovicus Dindorf,
recognovit Juannes Melber. Vol. 1,
1890.

Cornelii Taciti libri qui supersunt. Quartum
recognovit. Carolus Halm. Vo. 1, 2. 1886.

C. Suetoni Tranquili quae supersunt omnia.
Recensvit Carolus
Ludovicus Roth. 1886.

Bibliothèque Latine-Francaise, publiée par
C.L.F. Panckoucke.

Suetone. Traduction nouvelle par M. de
Golbery. 3 tomes. 1832.

Le Satyricon de T. Petron. 2 tomes. P. 1834.

Oeuvres complètes de M.T. Cicéron. 20 tomes.
1816.

Corpus poetarum latinorum uno volumine
absolutum cum selecta
varietate lectionis et explicatione brevissima.
Edidit Guilielmus Ernestum Weber. Frانسofurti
ad Moenum 1833.

Corpus Juris Civilis recognoverunt
adnotationibus que criticis instructum ediderunt
D.A. et D.M. fratres Kriegelii. D. Aem. Herrman, D.
Eduardus Osenbruggen. Impressio tertia. Partes
tres. 1844.

Сочинения древних христианских аполо-
гетов в русском переводе с введениями и при-
мечаниями протоиерея П. Преображенского.
Татиан. — Афинагор. — Св. Феофил Антиохий-
ский. — Ермий. — Мелитон Сардский. — Ми-
нуций. — Феликс. СПб. 1895.

Августин (Блаженный), епископ Иппоний-
ский. Творения. Части I—VIII. Издание второе.
Киев 1887—1901. (Библиотека творений св.
Отцов и Учителей Церкви, изд. при Киевской
Дух. Академии.)

Книга Еноха. Историко-критическое иссле-

дование, русский перевод и объяснение апокрифической книги Еноха. Сочинение свящ. Александра Смирнова. Казань 1888.

Героним (Блаженный) Стридонский. Творения. I—XVI. Киев 1893. (Б. Тв. св. О. и Уч. Ц. Зап., изд. при К.Д. Ак.)

Иосиф Флавий. Иудейские древности. Пер. с греческого Г.Г. Генкеля. В двух томах. СПб. 1900

M. Tullii Ciceronis opéra omnia quae extant. Ex vulgata Dion. Lambini recongition. Accesserunt praeterea Synopses generales et spéciales singulis libris adiectae: opéra et studio Dion. Gothofredi I.C. Sumptibus Francisci le Preux. 1954.

Aulu-Gelle. Oeuvres complétés. Traduction française de De Chaumont, Flambart et Buisson. Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin par M. Charpentier et M. Blanchet. Tomes

II.

Lucien, de la traduction de N. Perrot, sr. D'Ablaucourt. Avec de Remargues sur la Traduction. Nouvelle Editionne revue et corrigée. 2 tomes. A. Amsterdam 1709.

Caii Plinii Secundi historiae naturalis libri

XXXVII. Quos recensuit et edidit Gabri et Brotier. Parisiis 1779.

Suidae Lexicon ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Berolini. 1854.

Tacite. Oeuvres complètes, traduites en français avec une introduction et des notes par J.L. Burnouf. P. 1859.

Творения Тертуллиана, христианского писателя в конце второго и в начале третьего века. Четыре части. Перевод Е. Карне-ева. СПб. 1847.

Petrone. Le Satyricon. Traduction de Laurent Tailhade. P. 1902.

Petrone. Oeuvres complètes avec la traduction française de la collection Panckoucke par M. Huguin de Guerle et précédées de Recherches sceptiques sur le Satyricon et son auteur par LN.M. de Guerle. Nouvelle ed. P.

Plaute. (Theatre complet des Latins, par J.B. Levee et par l'abbé Le Monnier.) Tomes I—VII

Т. Макций Плавт. Казино. Комедия. С латинского Н.П. Котелов. СПб. 1896.

Ориген. Творения, Изд. Казанской Дух. Ак. Выпуск I. О началах.

(С введением и примечаниями.) Казань

1899.

Plutarchi. Chaeronensis quae exstant omnia, cum latina interpretatione Hermanni Crusarii, Gulielmi Xylandri et doctorum virorum notis. Francofurti, apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium et Joannem Aubrium, 1599. Pierre Bayle. Dictionnaire historique et critique. 4 tomes. Amsterdam 1740.

E.Q. Visconti. L'Iconographie grecque e romaine. P. 1811—1817.

Bouillet. Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. 5-me ed. P. 1847.

Antony Rich. Dictionnaire des antiquités romaines et grecques.

Traduit de l'anglais sous la direction de M. Cheruel. P, 186L R. Cagnat e G. Goyau. Lexique des Antiquités Romaines. 2-me ed. P. 1896.

Horace. Oeuvres complétés. Traduction de la collection Panckoucke. Nouv. ed. revue par M. Félix Lemaistre et precedee d'une etude sur Horace par M.H. Rigault. Paris 1883.

Л. Аннэй Сенека. Сатира на смерть императора Клавдия. (ЛлохоАсжиггсот£). С латинско-го перевел В. Алексеев. СПб.

1891.

L. Annaei Senecae philosophi opéra omnia. Accessita viris doctis ad Senecam an notatorum delectus. Lipsiae apud Thomam Fritsch. 1702.

Senèque le Philosophe. Oeuvres complétés avec la traduction française de la collection Panckoucke. Nouvelle édition très soigneusement revue par M. Charpentier et M. Félix Lemaistre. Tomes I—IV. P. 1860.

Гомер. Илиада. Пер. Н.И. Гнедича, редижированный Н.И. Пономаревым. Издание второе. СПб. 1892.

Гомер. Илиада. Перевод Н.М. Минского. Издание второе. СПб. 1909.

Hesiodé, Hymnes Orphiques. Theocrite, Bion, Moskhos, Tyrtee, Odes Anacreontiques, Traduction nouvelle par Leconte de Lisle. P. 1869.

Astronomicon di Marco Manilio. Tradotto da A. Covino. Torino 1895. Collection des auteurs latins avec la traduction en français, publiés sous la direction de M. Nisard.

Tacite. Oeuvres complétés. P. 1850.

II Les agronomes latins:

Caton, Varron, Columelle, Palladius. P. 1864.

Ovide. Oeuvres complétés. P. 1869.

Lucain, Silius Italicus, Claudien. Oeuvres complétés. P. 1837.

Horace, Juvenal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Properce,

Gallus, Maximien, Tibulle, Phedre, Syrus. Oeuvres complétés.

Salluste, Jules César, P. Velleius Patereulus et A. Florus, Oeuvres complétés. P. 1843.

Valere Maxime traduit du latin par Rene Binet. P. An IV de la Republique Française.

M.V. Martiali Epigrammata. M.B. Марциала Эпиграммы в переводе и с объяснениями А. Фета. 2 части. М. 1891.

Catulle, Tibulle et Properce. Traduction de la collection Panckoucke par Mm. Heguin de Guerle, A. Valatour et J. Genoille. Nouv. Ed. revue par M.A. Valatour. P. 1860.

Стихотворения Катулла в переводе и с объяснениями А. Фета. М. 1886.

Apulee. Oeuvres complétés, traduites en français par Victor Botolaud. Nouv. Ed. 2 tomes. P. 1891.

Золотой осел. Сочинение Луция Апулея. Перевод с латинского Е.И. Кострова. М. 1870.

География Страбона в семнадцати книгах. Перевод с греческого с предисловием и указателем Ф.М. Мищенко. М. 1879. Nouveau Dictionnaire Historique ou Histoire Abregee de tous les Hommes qui se sont fait un nom etc. Par une Société de Gens- de-Lettres. Quatrième Edition. Tome I—IX.

Зверь из бездны,
несущий на себе Великую Блудницу



Рисунок из рукописного латинского комментария на Апокалипсис XII века, приписы-

ваемого св. Беату, испанскому монаху бенедиктинского ордена, аббату монастыря Валь-Габато в Астурии. Найден в библиотеке графа д'Альтамира и описан А. Башеленом.

**Закон Корнелия Суллы, по которому убийца
ссылался на остров, а имущество его конфиско-
валось.**

[^^^]

Guglielmo Ferrero, «Grandezza e Decadenza di Roma», volumi I—V.

[^^^]

Sestertius, сестерций, римская монета, равная 2,5 ассам или 0,25 денария, — единица сестерциального счета (ratio sestertiaria). Стоимость ее на современные деньги определяется очень различно.

Bouche Leclereq, Cagnat et Gouau: республик, серебряный сест. - 25,3 сант.; императ. желтой меди сост. — 26,8 сант.

Lubker 17,54 пфеннига - 21,92 сант.

Antony Rich: «немного более двух су», т.е. свыше 10 сант.

Adam: 19,305 сант.

Dureau de la Malle: 19,5 сант.

Hultsch и Marquardt: в эпоху republ. серебряной валюты — 17 пфен. - 21,25 сант.; по императ. золотой валюте — 22 пфен. - 27,5 сант.

Вообще же, в круглом счете, Марквардт принимает сестерций в 20 пф. - 25 сант. Я буду пользоваться этим счетом, так как 20 пф. - 25 сант. - $\blacklozenge\blacklozenge$ франка $\blacklozenge\blacklozenge\blacklozenge$ золотого рубля - $6\blacklozenge\blacklozenge$ золот. коп. - приблизительно 10 копеек современного серебряного курса (9,47).

Sestertius (semis tertius) — прилагательное, обращенное в существительное из определения к *punius*, денежный знак. Во множественном числе, до тысячи, имеет именительный падеж *sestertii*; сто сестерциев — *centum sestertii*. Но тысяча сестерциев — *sestertium*, существ, среднего рода, возникшее из определения к *pondus*, металлический вес. Оно образует как бы новую высшую монетную единицу для дальнейшего счета. Во множеств, числе имеет имен, падеж *sestertia*, откуда взялась и неправильная, но часто употребительная русская форма женск. рода — сестерция, -ии; мн.: сестерции, -ий. *Vina sestertia* — две тысячи сестерциев. Родительный падеж множественного числа *sestertium* образует сходно с именительным единственного: *sestertium*. Предшествуемый кратными числительными наречиями: *bis*, *ter*, *quater* ит.д., этот родительный падеж предполагает опущение *centena milia*, то есть ведет счет на сотни тысяч: *quinquies sestertium* - *quinquies centena milia sestertium* - 500.000 сестерциев; *decies* - миллион; *centies* - деся-

тъмилионов; milies — стомиллионов; bis milies — двестимиллионовит.д.

[^^^]

Померий, pomerium (post murum), застенный участок: незастроенная полоса земли, окаймлявшая крепостные стены Рима, заклятая, т.е. отчужденная и неприкосновенная, как священный пояс «города», «Кремля». Пространство померия отчуждалось и с внутренней, и с внешней стороны стены, но, главным образом, с внешней. Ромулов померий окружал только подножие Палатинского холма. Разрастание Рима много раз вынуждало его правительство к последовательному расширению померия: при царе Сервии Туллии, диктаторе Сулле, императорах Клавдии, Нероне, Веспасиане, Траяне и Аврелиане. Расширение померия было важным государственным вопросом, так как оно расширяло и площадь компетенции выборных магистратов. Действуя под ауспициями, т.е. под вдохновением божественного откровения, только в освященных границах померия, в городе-храме, в жилище местных божеств, откровения дающих, магистраты теряли свои пол-

номочия, как скоро выступали за эти границы; наоборот, провинциальные про-магистры слагали свои полномочия, вступая в померий или приближаясь к нему.

[^^^]

Resulium, от *resus*, скот. Частное имущество, которое дозволялось рабу иметь не законом, но обычным правом соответствует рабской и холопской «собине» древне-русского права (Сергеевич, «Древности», I, 137) и имело то же происхождение: собина, по словарю Даля, — собь, животы, пожитки, нажитки, достояние; скот; приданое. Гуртовщики зовут собиной «скотину приказчика, которая, по уговору, гонится и пасется при хозяйском гурте». *Resulium* составлялось:

1) экономией, которую раб делал из своей месячины (*menstruum*) и дневного пайка (*diarium*) и частным приработком на сторону, если только и тут не эксплуатировал трудов его хозяин; 2) выделом части господского имущества в фиктивное владение раба с тем, чтобы он обратил ее в доходную статью по своему усмотрению. В теории, господин мог, когда ему угодно, отнять у раба выдел обратно, но практика была добрее, и раб, однажды выделенный на *resulium*, морально почитался пожизнен-

ным владельцем его, особенно в императорскую эпоху. По смерти раба, *rescūtium* вместе с прибылями, которые от эксплуатации его росли, поступал обратно к господину. В убытках же рабского хозяйства господин не участвовал, рискуя в нем лишь естественной потерей первоначально выделенного имущества. Таким образом, *rescūtium* есть не более, как господская ссуда рабу на разживу самостоятельным хозяйством. Отсуждать свой *rescūtium* раб не смел, равно как не имел права завещания, хотя сам мог наследовать по завещанию. Выделенные на *rescūtium* рабы обязаны были делать господам время от времени подарки. Обязательство это могло перейти в форму оброчного договора — с тем, чтобы, по истечении стольких-то лет и по выплате такой-то суммы, раб был отпущен на свободу. Или же, накопив операциями за счет *rescūtium*'а круглую сумму, раб сразу покупал у господина отпускную, по вольной цене. Цицерон утверждает что раб, знающий какое-нибудь ремесло и трезвый, в состоянии наверняка выкупиться на свободу по

истечении шести лет. Тут речь идет, по-видимому, о первом элементе *rescilium*'а — сберегательном. Приобретательный элемент *rescilium*'а мог вмещать все виды и роды имущества, как движимого, так и недвижимого, включительно до рабов, которых пекулиарии приобретали именем своих господ, но для собственных своих работ и надобностей. Эти, так сказать, под-рабы, второй категории рабы, рабы рабов, назывались викариями (*servi vikarii*), в отличие от прямых хозяев своих, рабов обыкновенных (*servi ordinarii*).

[^^^]

См. в III томе «Зверя из бездны» главу «Театр и толпа».

[^^^]

Численность рабов в Риме трудно поддается точному определению. В древнейшую эпоху государства, по Дионисию Галлинарисскому, один раб приходился на восемь, самое большое — на шесть свободных. Гиббон принимает количество рабов равным свободному населению. Кастильони полагает, что к началу империи один раб приходился на двух свободных, а позже — два раба на трех свободных. Белох держится первой пропорции Кастильони. Блэр считает трех рабов на одного свободного. Дюро де-Ла-Малл думает, что в пятом веке до Р. Х. один раб приходился на 25 свободных, а 250 лет спустя 22 раба на 27 свободных. Гек, определяя в веке Августа население Рима в 2.265,000 душ, считает в нем рабов 940,000.

[^^^]

Весьма неуклюжий перевод этот принадлежит Фету. Для знающих латинский язык предлагаю изящный оригинал:

Ah quoties pulchros ussit regina capillos,

Molliaque immittens fixit in ora manus!

Ah quoties famulam pensis oneravit iniquis,

Et caput in dura ponere jussit humo!

Saepe illam immundis passa est habitare
tenebris;

Vilem jejunae saepe negavit aquam.

**Juppiter, Antiopae nusquam succurris
habenti**

Tot mala? corrumpit dura catena manus.

[^^^]

Перевод г. Котелова. В оригинале резче:

Nunc vos aequom est, manibus mentis
meritam mercedem dare.

Qui faxit, clam uxorem ducat scortum semper,
quod volet.

Verum qui non manibus clare, quantum
poterit, plauserit,

Ei pro scorto subponetur hircus unctus
nautea.

[^^^]

Bulla aurea — детское украшение, обязательное для малолетних членов знатных фамилий. Состояла из двух золотых выпуклых створок, смыкавшихся эластическими, золотыми же пластинками в полый шар, внутри которого помещался талисман. **Toга praetexta** — тога, обшитая по краям широкой пурпурной каймой; ее носили все дети, как мужского, так и женского пола, из взрослых же — только магистры, как в Риме, так и в колониях.

[^^^]

Naruspices, гаруспики: ведуны этрусского происхождения в республиканскую эпоху — вольно-практикующие, в императорскую, в правление Клавдия — образовавшие жреческую коллегию, которая, однако, не была поставлена на один уровень с 4 главными жреческими коллегиями Рима (*summa collegia*). Специальностью гаруспиков были:

1. *Extispicina* (от *enspicere, consulere extra*): гадание по внутренностям жертвенных животных.

2. *Procuratio prodigiorum*: очистительные и умиловительные обряды в случаях необычных явлений или катастроф, которые принимались, как знамение гнева богов.

3. *Ars fulguratoria*: гадание по атмосферическим явлениям, главным образом, по молнии.

Как представители чужеземной этрусской дивинации, гаруспики долгое время не получали в Риме признания, сенат совещался с ними редко, но зато и в самых затруднительных случаях. *Naruspices ex Etruria aseiti* выступали на сцену, когда оказывалась бессильной

дивинация не только магистратов (консулов) и сената, но и жреческая (decemviri, pontifices), когда вопрос не находил разрешения в Сибиллиных книгах и неудовлетворительно отвечала коллегия 15 мужей (quindecimviri sacris faciundis).

Слово **haruspex** одни производят от греческого **ἱεραδοῦλοξ**, другие от **haruga hostia**, жертвенное животное, очистительная жертва.

[^^^]

Сериф (saxum Seriphos) — один из Цикладских островов, ныне Серфос или Серфанто. Богат магнитным железом. В позднейшую римскую эпоху — место ссылок.

[^^^]

Надо помнить, что древние считали планетами Солнце, Луну и пять планет: Венера, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн.

[^^^]

Отдельную главу о римском стоицизме читатель найдет в четвертом томе «Зверя из Бездны».

[^^^]

Auspicia: птицегадания. О способах их будет подробно говориться в главах о государственной религии Рима. Здесь я скажу лишь несколько слов о роли ауспиций в римском гражданском строе. В тесном смысле слова, ауспиции — знамения, посылаемые небом магистратам римским в знак благоволения к их начинаниям, а следовательно, и успешности последних. В обычном, более широком смысле, — привилегия магистрата наблюдать (*spectio*) и толковать знамения, как относящиеся к его личной инициативе в том или другом общественном деле. Право ауспиций — основной, характеризующий признак римской власти. Оно делилось на *auspicia maxima* (их имели консулы, преторы, промагистраты тех же названий, диктаторы и, может быть, начальники конницы). *Auspicia maxima*, таким образом, сопряжены с повелительством (*imperium*), подразумевают его и, в обиходном языке, часто его заменяют синонимически. *Sub auspiciis -sub imperio* — под главной командой, под главной ответственностью тако-

го-то. *Auspicia minora* имели курульные эдилы и квесторы. Ауспиции цензоров, по существу, *minora*, но, почета ради, также именовались *maxima*.

Так как *auspicia publica populi Romani* были учреждением патрицианским, то для плебейских магистратов это важное право отвоевано было народом только после многовековой борьбы (*lex Publilia Phlioni*, 339). Ауспиции трибунов были приравнены к *auspicia maxima*, но не отождествлены с ними; плебейские эдилы получили *auspicia minora*.

Третий вид ауспиций — *auspicia aliena* — предполагает лицо, которое само права на ауспиции не имеет, но производит их по поручению и доверенности третьего лица, правом облеченного. Когда императоры собрали в своей руке все ветви власти римского государственного строя, то, естественно, их ауспиции остались единственными самостоятельными. Все остальные, кроме, вероятно, сенатских (*auspicia patrum*), естественно превратились в *aliena*.

См. о том во 2-м томе.

[^^^]